

ДЕЛО

№...

Борис СОПЕЛЬНЯК

# Три ПОКУШЕНИЯ на Ленина

СЕНСАЦИИ МИНУВШИХ ЛЕТ

ТРИЖДЫ  
ОН БЫЛ НА ВОЛОСОК  
ОТ СМЕРТИ,  
И ТРИЖДЫ  
ЕГО СПАСАЛО ЧУДО...





СЕРИЯ «ДЕЛО №...»

---

Борис СОПЕЛЬНЯК

**Три**  
**ПОКУШЕНИЯ**  
**на Ленина**

Д Е И О М



Борис СОПЕЛЬНЯК

# Три ПОКУШЕНИЯ на Ленина



Трижды  
он был на волосок от смерти,  
и трижды его спасало чудо...



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2005

УДК 94(47+57)“19”(093)  
ББК 63.3(2)61-8  
С 64

*Серия основана в 2004 году*

*Серийное оформление  
ИГОРЯ СУСЛОВА*

---

## ЧАСТЬ I

# МИШЕНЬ — ЗАТЫЛОК ИЛЬИЧА

### *Глава 1*

### **Последняя война царской армии**

Февраль 1917 года... Вся Европа изрезана траншеями и опутана колючей проволокой. Миллионы солдат сидят в окопах, а по ним методично ведут огонь десятки тысяч орудий. Их бомбят сотни самолетов, их травят газами, рубят шашками, но на смену им приходят безусые юнцы и пожилые отцы семейств — и снова в дело идут газы, бомбы и снаряды. В российской армии, которая насчитывала шесть миллионов человек, в некоторых полках личный состав менялся по девять-десять раз. Всего же боевые потери России составили более десяти миллионов человек.

Между тем этих кровавых ужасов могло и не быть. Умнейшие люди России предупреждали царя, чтобы он не ввязывался в войну, они и говорили, и писали, что «борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует неисчислимых жертв, противника она врасплох не застанет, а вот нас... Кроме того, мы зависим от немецкого капитала и он выгоднее для нас, чем любой другой».

Увы, к такого рода предупреждениям царь был глух. А это привело к тому, что буквально через несколько месяцев после начала войны был израсходован почти весь запас снарядов, вместо винтовок в окопы присылали иконы, а вместо патронов — медали. Посетив передовую, председатель Центрального военно-промышленного комитета Александр Гучков, не скрывая ужаса, телеграфировал в Петроград: «Войска плохо кормлены, плохо одеты, завшивлены вконец, в каких-то гнилых лохмотьях вместо белья».

А ведь как все начиналось! Сохранилось довольно много воспоминаний о 1 августа 1914 года — дне, когда Германия объявила войну России. Русские — это понятно, русские были в таком патриотическом угаре, что вспоминали этот день как один из счастливейших в своей жизни. А как на это смотрели иностранцы, которые, конечно же, были куда объективнее? Мне удалось найти записки одного из высокопоставленных англичан, который волею судеб оказался в те дни в Москве. Вот что он, в частности, писал несколько лет спустя, пережив вместе с Россией все тяготы этих лет и чуть было не отдав Богу душу от русской пули:

«Снова и снова я вижу эти трогательные сцены на вокзале: войска, серые от пыли и тесно размещенные в теплушках; огромная толпа народа на платформе, серьезные бородатые отцы, жены и матери, бодро улыбающиеся сквозь слезы и приносящие подарки, цветы и папиросы; толстые священники, благословляющие счастливых воинов.

Толпа бросается вперед для последнего рукопожатия, последнего поцелуя. Вот раздается пронзительный свисток паровоза, затем, после нескольких неудачных попыток, перегруженный поезд, как бы нехотя отходящий, медленно уползает со станции и исчезает в сером полусвете московской ночи.

Я ухожу преисполненный надежды, которая заглушает голос рассудка. Такой России я никогда не знал, России, вдохновленной патриотизмом, корни которого, казалось, уходили далеко в почву. Кроме того, это была трезвая Россия. Продажа водки была прекращена, и волнуемое религиозное чувство заменило пьянство, которое в минувших войнах было характерным при отъездах русских солдат.

Среди буржуазии был тот же энтузиазм. Жены богатых купцов соперничали друг с другом в пожертвованиях на госпитали. В государственных театрах давались торжественные спектакли в пользу Красного Креста. Был как бы пир национального чувства. Каждую ночь в опере и балете оркестр императорских театров играл националь-



ные гимны России, Англии и Франции, выслушивавшиеся стоя. В эти великие недели 1914 года русскому патриотизму было чем питаться — война началась выступлением русских войск, при опубликовании сообщений о продвижении которых Москва во все горло выражала свою радость. Был в этом порыве и еще один подтекст: каждый либерально настроенный русский был уверен, что победа на фронтах принесет с собой конституционные реформы.

Что касается отношения народа к нам, англичанам, то оно было выше всяких похвал. Стоило нам появиться в публичном месте, например в кафе или ресторане, как на авансцену выходил дирижер и громогласно объявлял: «Сегодня вечером мы имеем среди нас представителей нашего союзника Англии». Оркестр играл английский гимн, вся публика вставала и аплодировала.

Как это ни странно, Москва не унывала даже тогда, когда пришла весть о разгроме русских армий у Мазурских озер. Тогда, под Танненбергом, русские потеряли 250 тысяч солдат и несчетное количество пушек. Патриотизм русских людей был настолько же высок, насколько и слеп: они не поняли самого главного — Танненберг был прелюдией русской революции. Для Ленина он был вестником надежды. За него ухватилась тайная армия агитаторов на заводах и в деревнях».

Между тем война продолжалась и стала затяжной. Побед становилось все меньше, а поражений — больше. А каких это стоило денег! Только суточные расходы на войну составляли от 24 до 55 миллионов рублей. Казна таких денег не имела — и пришлось залезать в долги. К 1917 году государственный долг России составил около 50 миллиардов рублей. Куда девались эти деньги, одному Богу ведомо, но, как я уже говорил, на фронте не хватало ни снарядов, ни патронов, ни шашек, ни винтовок.

О моральном духе и говорить нечего. На одном из секретных заседаний в августе 1915 года военный министр А. А. Поливанов, не скрывая горечи, сказал:

— На театре военных действий беспросветно. Отступление не прекращается. Вся армия постепенно продвигается в глубь страны, и линия фронта меняется чуть ли не каждый час. Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры. По-прежнему ничего отрадного, бодрящего. Сплошная картина разгрома и растерянности. Уповаю на пространства непроходимые, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мирикийского, покровителя Святой Руси.

И все же эта обескровленная и преданная командованием армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть половину всех сил противника. Порой она даже предпринимала наступательные операции вроде Брусиловского прорыва в Галицию или удара по Восточной Пруссии группировки Самсонова, но заканчивались они почему-то крахом и позорным отступлением. Вот что писал в своих воспоминаниях один из участников Брусиловской эпопеи генерал Деникин:

«Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изю дня в день кровавые бои, изю дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная... Помню сражение под Перемышлем в середине мая 1915-го. Одиннадцать дней жестокого боя, одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывающей целые ряды окопов вместе с их защитниками. Лилась кровь. Ряды редели, росли могильные холмы».

В еще более странном положении находился флот. Как известно, Ставка располагалась в Могилеве, поэтому ничего удивительного в том, что везде и всюду говорили, что «флотом командуют из болот Полесья, и командуют по-болотному». Например, Ставка запрещала какую бы то ни было активность Балтийскому флоту, и это несмотря на то, что всю войну в распоряжении русских моряков был германский морской шифр, благодаря чему все намерения командующего германским флотом принца Генриха были известны заранее. Немцы об этом не дога-

дывались, а наши адмиралы не нашли ничего лучшего, как передать этот шифр англичанам.

Так что Балтийский флот был заперт в Финском заливе, матросы от безделья начали бузить, а когда их попытались отправить в окопы, они мигом сообразили, что митинги с призывами прекратить войну куда лучше немецкого штыка.

Многие считают, что эти митинги и призывы воткнуть штыки в землю появились в результате стихийного недовольства масс. Глубочайшее заблуждение! Обратимся еще раз к воспоминаниям генерала Деникина.

«Наряду с аэропланами, танками, удушливыми газами и прочими чудесами военной техники, — писал он, — в последней мировой войне появилось новое могучее средство борьбы — пропаганда. Широко поставленные технически, снабженные огромными средствами органы пропаганды вели страшную борьбу словом, печатью, фильмами и валютой, распространяя эту борьбу на территории вражеские и нейтральные, внося ее в области военную, политическую, моральную и экономическую».

Назову только одну цифру: Германия потратила на эти цели 382 миллиона марок, причем большую часть в России. На что шли эти деньги? Да на те же газеты, журналы, фильмы и, конечно же, на миллионы листовок и прокламаций, которые распространялись в русских окопах с призывами к миру и прекращению войны.

Начальник германского Генерального штаба генерал Фангельгайн был по-солдатски откровенен и в одном из выступлений заявил:

— Пока Россия, Англия и Франция выступают вместе, мы не можем победить наших противников так, чтобы обеспечить себе достойный мир. Или Россия, или Франция должны быть отколоты. Прежде всего, мы должны стремиться к тому, чтобы вынудить к миру Россию.

Не дремали и немецкие дипломаты. Бывший германский посол в Петербурге Пурталес получил указание связаться с кем-нибудь из влиятельных лиц, чтобы с их помощью внести разлад между вдовствующей императри-

цей, царем и генералитетом. Задача: «Передать голубя с оливковой ветвью».

Первой работать на дело мира согласилась вдовствующая императрица Мария Федоровна, а вот жена ее сына повела себя иначе — она сделала все возможное и невозможное, чтобы царь принял на себя верховное командование. Николай II колебался, ссылаясь на сложности в Думе, на слабавольных министров. Но Аликс, прекрасно понимая, что полковник, который не командовал даже батальоном, не сможет вести к победе шестимиллионную армию, настаивала на своем.

«Будь еще более самодержцем, мой горячо любимый, — писала она мужу. — Прояви свою решимость. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом — сокруши их всех».

Восемь министров и несколько генералов, не побоявшись государева гнева, пытались отговорить царя от опрометчивого шага, но он внял настояниям императрицы, равно как и советам Распутина, и принял на себя верховное командование. Поговаривали, что царь пошел на это еще и потому, что в войсках с небывалой быстротой рос авторитет великого князя Николая Николаевича. Справедливости ради надо сказать, что один разумный шаг царь все же совершил: начальником штаба он назначил генерала Алексеева — и это успокоило офицерство, ведь командиры батальонов, полков и дивизий имели дело не с императором, а с начальником штаба.

Но императрица и ее окружение на этом не успокоились. Дело в том, что в Ставку изо всех сил рвался Распутин — он хотел навести там такой же порядок, как и в Петербурге. Императрица завела разговор об этом с Алексеевым, убеждая его, что Распутин «старец чудный и святой», что посещение им Ставки принесет счастье. Алексеев сухо ответил, что если Распутин появится в Ставке, то он немедленно подаст в отставку. Императрица резко оборвала разговор и ушла не попрощавшись. Несколько позже Алексеев писал: «Этот разговор повлиял на ухудшение отношений ко мне государя. Эти отношения не носили характера ни дружбы, ни даже исклю-

чительного доверия. Вопреки установившемуся мнению, царь никого не любил, разве только сына. В этом трагизм его жизни — человека и правителя».

Еще более определенно высказался по этому вопросу Николай Николаевич: он прямо заявил, что если Распутин попытается попасть в Ставку, то он его повесит.

Тогда же в армии зазвучало слово «измена». В воспоминаниях того же Алексеева есть поразительная фраза: «При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах — для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление: мало ли кто мог воспользоваться ею».

А в столице чрезвычайно популярным стал анекдот, который рассказывали как в казармах и на заводах, так и в роскошных гостиных.

Приехал будто бы с фронта на доклад к государю старый боевой генерал. Идет по коридору Зимнего дворца и вдруг видит за портьерой плачущего царевича. Остановился. А царевич то плачет, то не плачет, то плачет, то не плачет. Что с тобой? — удивился генерал. Почему ты так странно плачешь? А я не знаю, когда мне плакать, ответил мальчик. Потому что, когда бьют русских, — плачет папа, когда бьют немцев, — плачет мама. Когда же все-таки плакать мне?

Факты измены множились, столица гудела, армия роптала. Понимая, что надо что-то делать, председатель Государственной думы Родзянко решился написать государю о той огромной опасности, которая угрожает династии и трону в связи с активным участием в управлении государством Александры Федоровны.

Увы, царь был глух и слеп... Он не раз говорил, что если в ком и уверен, то это в человеке в шинели. Его даже не насторожил тот факт, что когда осенью 1916 года он прибыл в войска и попросил выйти из строя старослужащих солдат, то есть тех, кто вместе с полком начинал войну, то выходило по два-три человека на роту, а кое-где не выходил никто.

Потери среди офицеров были просто катастрофичес-

кие: в полку осталось по пять-шесть кадровых офицеров, остальные — бывшие приказчики, конторские служащие, недоучившиеся студенты, выходцы из отличившихся солдат. Иначе говоря, дворянско-офицерской касты практически уже не было, как не было и солдат, в силу многолетней выучки верных царю и отечеству. Пришедшие из тыла разночинцы и мобилизованные рабочие принесли в армию социал-демократические идеи единства пролетариев всего мира, необходимости конституции и, самое главное, разлагающие солдат лозунги «За что воюем?» и «Долой войну!».

Результат этой пропаганды был ужасающий: осенью 1916 года в войсках произошло несколько крупных восстаний, охвативших более десяти тысяч человек.

Нечто подобное было и во Франции: достаточно сказать, что военные бунты охватили 28 дивизий, что путь на Париж был фактически открыт. Но генерал Пэтен перехватил инициативу, приказал расстрелять зачинщиков — и на этом французская революция закончилась.

В России обстановка была куда более благоприятной. 22 февраля царь отбыл в Ставку. А 23-го на улицы Петрограда вышли 128 тысяч забастовщиков, в основном женщин — это был Международный женский день. С криками «Долой войну!» женщины ворвались в казармы запасного пехотного полка и... через некоторое время вышли оттуда в обнимку с солдатами, которые, конечно же, отказались разгонять демонстрацию.

В Петрограде был стотысячный гарнизон, да еще три с половиной тысячи городских, да жандармы, но... все имели строжайший приказ оружия не применять. И даже казаки, разгоняя толпу, не имели права использовать шашки или нагайки, а могли лишь вытеснять людей в переулки с помощью лошадей.

Все больше солдат переходило на сторону забастовщиков, все больше оказывалось у них оружия, все чаще вспыхивали перестрелки между ними и верными царю ротами. 27 февраля был разгромлен арсенал, разогнана полиция, сожжен окружной суд, выпущены из тюрем арестанты. Толпы восставших смяли оставшиеся вер-

ными трону войска. На следующий день был захвачен Зимний дворец, а потом и Петропавловская крепость. И хотя отряд полковника Кутепова, в котором было более тысячи солдат да еще орудия и пулеметы, решил стоять насмерть, великий князь Александр Михайлович велел им убираться прочь.

Вскоре был избран Совет рабочих и солдатских депутатов, который немедленно издал Приказ № 1, сыгравший роковую роль в развале армии. А пока что взбунтовавшиеся матросы залили кровью улицы Кронштадта, затем устроили дикую резню офицеров эскадры в Гельсингфорсе. Тогда же был убит командующий Балтийским флотом адмирал Непенин. Всего за эти дни погибло 1443 человека, в том числе 60 офицеров.

Между тем Приказ № 1 начал давать первые результаты. В соответствии с этим приказом во всех частях учреждались выборные комитеты, лишавшие офицеров дисциплинарной власти и отдававшие их самих под контроль комитетов. Иначе говоря, ни один командир не имел права ни послать в атаку, ни открыть огонь по наступающему противнику, не испросив на это согласие комитета.

Конечно же, немецкие войска не преминули воспользоваться этой бестолковщиной. Знаменательно, что именно в эти дни генерал Людендорф записал в своем дневнике вошедшую в историю фразу: «Я часто мечтал об этой революции, которая должна была облегчить тяготы нашей войны. Вечная химера! Но сегодня мечта вдруг исполнилась непредвиденно».

И как же на все это реагировал российский самодержец? Первый тревожный сигнал он получил от супруги, которая еще 26 февраля телеграфировала: «Я очень встревожена положением в городе». Затем ему телеграфировал Родзянко: «Положение серьезное. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». На следующий день Родзянко был более краток, но и более категори-

чен: «Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

И что же царь? Не приняв никакого решения, обеспокоенный лишь участью семьи, 28-го утром он поехал в Царское Село. Два дня бесцельной поездки, два дня без надежной связи и информации о ежечасно изменяющихся событиях привели к тому, что дальше Вишеры его не пустили — и царь повернул на Псков, в штаб Северного фронта, которым командовал генерал Рузский. Именно там, в штабе Северного фронта, император принял решение о создании так называемого ответственного министерства. Но 2 марта Родзянко сообщил, что это решение запоздало, что «династический вопрос поставлен ребром и умиротворить страну может только отречение государя от престола». К этой просьбе присоединились командующие фронтами и флотами.

Вечером, когда в Псков приехали Гучков и Шульгин, государь объявил:

— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До трех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со своим сыном не способен. Вы это, надеюсь, поймете? Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.

Мало кто знает, чего стоило царю это решение, ведь он принял его после мучительного разговора с доктором Боткиным, который, нарушив врачебную тайну, заявил, что Алексей безнадежно болен и царствовать никогда не сможет.

Вот он, текст этого манифеста об отречении от престола. До недавнего времени он был тайной за семью печатями. Комментарии, как говорится, излишни, но в том, что он написан кровью сердца, нет никаких сомнений.

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судь-



ба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорогого отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками может окончательно сломить врага. В эти решающие дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.

Да поможет Господь Бог России.

Николай II».

Казалось бы, все — Николай II теперь просто гражданин Романов, то есть обыкновенное частное лицо, а его сын — не больше чем безнадежно больной мальчик. Но в душе бывшего царя бушевали страшные бури, и, прибыв рано утром в Могилев, он заявил генералу Алексееву: «Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград».

Алексеев глянул — и обомлел. Государь писал о своем согласии на вступление на престол своего сына Алексея. Генерал ушел в свой вагон и... телеграмму отправлять не стал. Было слишком поздно — и стране, и армии объявили манифест об отречении.

Что касается нового императора Михаила II, то у него, судя по всему, была договоренность с руководителями Думы о том, что его правление должно быть более легитимным и скипетр он должен получить не из рук брата, а из рук полномочных представителей народа. Именно поэтому буквально на следующий день Михаил подписал манифест о своем отречении от престола. Текст этого до-

кумента весьма любопытен, поэтому стоит привести его полностью.

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа. Одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Михаил».

Судьба Михаила, как и судьба его старшего брата, трагична. В марте 1918 года его арестовали, затем сослали в Пермь и там, в семи километрах от Мотовилихи, зверски убили. Так сбылось старинное предсказание о том, что царствование Романовых Михаилом начнется и Михаилом же закончится.

## *Глава 2*

### **Тень огромной фигуры Ленина**

Но вот ведь незадача — пришедшее к власти Временное правительство и не думало прекращать войну и заключать сепаратный мир с Германией. Больше того, этого не хотела немалая часть солдат, и каких солдат — в самом прямом смысле слова прошедших огни и воды мировой войны. Сохранилось любопытное воспоминание одного из очевидцев малоизвестного события той поры. Вот что он, в частности, пишет:

«17 апреля в Петрограде состоялась грандиозная манифестация инвалидов, которая произвела большое впечатление на обывателей. Огромное число раненых из столичных лазаретов — говорят, что их было не менее 50 тысяч, — в повязках, безногих, безруких двигалось по

Невскому к Таврическому дворцу. Кто не мог идти, двигались в грузовых автомобилях, в линейках, на извозчиках. На знаменах были подписи: «Война до конца», «Полное уничтожение германского милитаризма», «Наши раны требуют победы».

Искалеченные люди, несчастные жертвы бойни шли требовать, чтобы еще без конца калечили их братьев и сыновей. Это было действительно страшное зрелище!»

Как это ни странно, такого рода демонстраций под лозунгами «Война до конца» было немало — и Временное правительство решилось на наступление. Оно началось 18 июня 1917 года на Юго-Западном фронте. Поначалу все шло прекрасно: артиллерия смела вражеские заграждения, передовые части бросились в штыковую, выбили пехоту из окопов, но после двух дней ожесточенных боев наступательный порыв иссяк, и, захватив семь тысяч пленных и сорок восемь орудий, русские полки сначала остановились, а потом отошли на старые позиции.

Такая непредвиденная активность не на шутку встревожила и кайзера Вильгельма II, и австрийского императора Карла I.

«Мир с Россией, — писал Карл I своему германскому союзнику, — ключ к ситуации. После его заключения война быстро придет к благоприятному для нас окончанию».

А деньги? Неужели миллионы марок, выделенные на организацию беспорядков в России, потрачены впустую?! Приуныл даже такой записной оптимист, как генерал Людендорф. «В возможность мира с Россией никто не верит, — писал он в эти дни. — Даже имперский канцлер высказался в том духе, что в настоящий момент не имеется никаких видов на сепаратный мир с Россией. Впрочем, не все потеряно! — встрепнулся генерал буквально через несколько дней, когда узнал, что министерство финансов выделило «на политические цели в России» еще пять миллионов марок. — Русские революционеры — вот кто нам поможет. Особенно те, которые выступают за поражение России в этой бесконечной войне».

Найти таких революционеров было проще простого, так как практически все они жили в нейтральной Швей-

царии, и наиболее радикальных из них возглавлял Ленин. Это он ратовал не только за поражение России, но и за превращение войны империалистической в войну гражданскую. Мудро, очень мудро поступили в свое время австрийцы, освободив его в самом начале войны из-под ареста в польском Новом Тарге и разрешив проезд через Вену в швейцарский Цюрих. Далеко, по-настоящему далеко смотрел австрийский социал-демократ Адлер, явившийся на прием к министру внутренних дел.

— Ульянов — решительный противник царизма, — со знанием дела заявил Адлер. — Он посвятил всю свою жизнь борьбе против русских властей, и, если бы он появился в России, с ним поступили бы по всей строгости. Возможно бы, даже казнили.

Министр был человеком дальновидным, просьбу Адлера понял с полуслова и тут же отправил телефонограмму в краковскую полицию: «По мнению д-ра Адлера Ульянов смог бы оказать большие услуги при настоящих условиях».

Ленина тут же освободили, и, как я уже говорил, через несколько дней он оказался в Цюрихе, где смог, ничем не рискуя, заняться борьбой сперва против царя, а потом и против Временного правительства. Но самое главное, он делал все возможное и невозможное для разложения русской армии и поражения России в войне. Нетрудно понять, что это было на руку прежде всего Германии, которая воевала на два фронта. На Западном фронте немцам приходилось очень и очень туго, особенно после вступления в войну Соединенных Штатов Америки. Тот же Людендорф считал, что если не удастся перебросить из России на Запад хотя бы 70 дивизий, война может принять непредсказуемый характер.

Итак, русские революционеры... В эмиграции их было немало. Среди них и умеренные социал-демократы, и анархисты, и сторонники террора, и националисты, и меньшевики, и большевики. Между собой они и спорили, и ссорились, и враждовали, но к власти рвались все. Наиболее последовательными и непримиримыми были, конечно же, большевики во главе с Владимиром Ульяновым, более известным под партийным псевдонимом Ленин.

Кто он, этот Ульянов-Ленин? Какого он роду-племени? Какая у него профессия? Почему он такой агрессивный? Почему желает зла России? На какие деньги он живет сам и содержит партию? Почему среди его окружения так много евреев? Эти и многие другие вопросы задавали не только журналисты и политические деятели, но и те, кого называют обывателями.

Как ни странно, ответы на эти вопросы удалось получить сравнительно недавно, когда приоткрылись массивные двери архивов. Начнем с происхождения... Одно время ходил слух, что Владимир Ульянов чуть ли не столбовой дворянин, то есть дворянин старинного рода. Это далеко не так. Передо мной письмо директора училищ Астраханской губернии Аристова от 31 мая 1850 года, адресованное управляющему Казанским учебным округом, в котором он уведомляет, что «ученик вверенной мне гимназии, сын астраханского мещанина Илья Ульянов просит моего ходатайства о помещении его на одну из стипендий в Казанский университет для дальнейшего образования. Он совершенно беден и круглый сирота».

Тут же документ на университетском бланке: «Илья Ульянов, из мещан, утвержден студентом I курса математического разряда».

Еще один любопытный документ. Называется он почему-то «ВЫПИСЬ из Метрической книги на 1863 год»:

«Старший учитель Нижегородской гимназии Илья Николаевич Ульянов, православного вероисповедания, первым браком.

Дочь надворного советника Александра Дмитриевича Бланк Мария Александровна Бланк, православного вероисповедания, первым браком.

Совершил таинство Юрий Алексеевич Соловод и дьячок Николай Люминарский».

Работал Илья Николаевич усердно, за что в 1882 году был удостоен ордена Святого Владимира III степени — это давало ему право на потомственное дворянство. А после его кончины симбирское дворянское депутатское со-

брание внесло в дворянскую родословную книгу его вдову Марию Александровну и их детей: Александра, Владимира, Дмитрия, Анну, Ольгу и Марию.

А вот Мария Александровна происхождения весьма любопытного. Мне удалось найти ее родословную, правда, на шведском языке, и в этом нет ничего странного — ведь по материнской линии она полушведка-полунемка. В ее роду были перчаточник и золотых дел мастер по фамилии Орстед, шляпочники Новелиус и Борг, купец Гросшопф, их жены из рода Нюман и Арнберг. А вот дочь прибалтийского немца Иоганна Гросшопфа Анна вышла замуж за врача Александра Дмитриевича Бланка. О нем в родословной — почему-то ни слова. От этого-то брака и родилась Мария Бланк — впоследствии потомственная русская дворянка Мария Александровна Ульянова.

История поиска этой родословной заслуживает того, чтобы рассказать об этом подробнее, тем более что до недавнего времени этот документ являлся одной из величайших государственных тайн и хранили его в самом прямом смысле слова за семью печатями и за стальными дверями одного из самых надежных сейфов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Как я до него добрался — разговор особый, тем более что документ был фильмокопирован и среди многих километров пленки найти нужные мне четыре кадра было очень и очень непросто. Но когда я их распечатал, а потом еще и ознакомился с оригиналом, честное слово, чуть было, подражая поэту, не воскликнул: «Ай да Сопельняк, ай да сукин сын!» Судите сами, какие чувства я испытал, когда на первой странице единицы хранения № 43 (так в архивах называют всякого рода документы) прочитал:

«Родословная Марии Александровны Ульяновой (урожденной Бланк), составленная в Швеции и переданная Н. С. Хрущеву во время его пребывания в Швеции летом 1964 года.

Машинописный текст (на шведском языке). Ксерокопия архивных материалов г. Любека (ФРГ)».

А чуть ниже — недвусмысленная приписка, причем

крупными буквами и дважды подчеркнутая: «НИКОМУ НЕ ВЫДАВАТЬ!»

Вот и не выдавали, и родословная матери Ленина, а стало быть, и самого Ильича, стала партийной и государственной тайной. Но почему шведы решили сделать Хрущеву такой странный подарок? Разве они не понимали, что не очень-то этим порадуют главу партии и правительства Советского Союза? Думаю, что понимали, — и именно поэтому ничего не рассказали об отце Марии Александровны. Сказано, что ее мать Анна Гросшопф вышла замуж за врача Александра Дмитриевича Бланка — и все. А кто он, что он, какого роду-племени — об этом ни слова.

С одной стороны, ввиду приближавшегося столетия со дня рождения Ленина эта родословная, если ее не расшифровывать до конца и публиковать в первоизданном виде, никакой угрозы для коммунистов Советского Союза не таила: ну были в роду Ленина шведы, ну были немцы — и что с того? Все эти Борги, Бланки, Гросшопфы вполне приличные люди, а то, что в жилах вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина текла шведская и немецкая кровь, так это же прекрасно — и шведы, и немцы этим гордятся.

Но Хрущев о заложенной мине догадался сразу: ему охотно рассказывали о шляпочниках и перчаточниках, а когда он расспрашивал о враче Бланке, шведы разводили руками — ничего, мол, о нем не знаем. И все же Хрущев кое-что узнал! А когда узнал, велел спрятать этот документ подальше и никому не выдавать.

И все же тайну происхождения Александра Бланка, который являлся дедом Ленина, раскрыть удалось. Первой к этой партийной и государственной тайне прикоснулась старшая сестра Ленина Анна Елизарова-Ульянова. Вскоре после кончины Ильича ей поручили заняться сбором материалов для биографии усопшего вождя. Анна Ильинична с энтузиазмом взялась за это дело и, прежде всего, обратилась к архивам бывшего Департамента полиции. Когда она с ними ознакомилась, то на долгие годы погрузилась в такое гробовое молчание, что близкие начали опасаться за ее здоровье. И лишь через восемь лет, в декабре 1932-го, она

решилась поделиться тем, что узнала, да и то всего лишь с одним человеком. Этим человеком был Сталин, которому она отправила взволнованно-тревожное письмо:

«Глубокоуважаемый товарищ!

Мне было поручено ЦК, помнится, еще в 1924 году, заняться собиранием материалов для биографии Ильича. Во исполнение этого поручения я пересмотрела имеющиеся в архиве бывшего Департамента полиции документы, касающиеся происхождения нашего деда — отца матери Александра Дмитриевича Бланка.

Для Вас, вероятно, не секрет, что исследование о происхождении деда показало, что он происходил из бедной еврейской семьи, был, как говорится в его документе о крещении, сыном житомирского мещанина — Мошки Бланка.

Этот факт, имеющий важное значение для научной биографии Владимира Ильича, для исследования его мозга, был признан тогда, при открытии этих документов, неудобным для разглашения: в Институте Ленина было постановлено их не публиковать и вообще держать этот факт в секрете.

В результате этого постановления я никому, даже ближайшим товарищам, не говорила о нем.

Но в последние годы я, слыша, что антисемитизм у нас проявляется опять сильнее, даже среди коммунистов, прихожу к убеждению, что вряд ли правильно скрывать от масс этот факт, который может сослужить большую службу в борьбе с антисемитизмом... Мне думается, что так же взглянул бы на это и Владимир Ильич. У нас ведь не может быть никакой причины скрывать этот факт, а он является лишним подтверждением данных об исключительных способностях семитического племени, что разделялось всегда Ильичом, и о выгоде для потомства смешения племен. Ильич высоко ставил всегда евреев.

В прошлом году я изложила свое мнение насчет опубликования этих материалов заведующему Истпартом тов. Ольминскому, и он согласился со мной. Прошу, глубокоуважаемый товарищ, Вашего ответа на этот мой вопрос.

С глубоким коммунистическим приветом

А. Ульянова-Елизарова».



Два года Анна Ильинична ждала реакции на это письмо, но «глубокоуважаемый товарищ» ответа ей не прислал, а на словах передал, что «в данное время это не момент» и распорядился «молчать об этом деле абсолютно».

Анна Ильинична написала Сталину повторное письмо, в котором уверяла, что, как и было велено, никому о своих изысканиях не говорила, кроме уже упоминавшегося Ольминского и, совершенно случайно, еще одного человека — доктора Вейсброта, того самого Вейсброта, который в 1918-м первым оказал помощь раненому Ленину.

«Доктор Вейсброт заинтересовался увиденным у меня старинным серебряным стаканчиком, — писала Анна Ильинична, — и сказал, что стаканчики такой формы и такого узора употреблялись на религиозных пиршествах евреев. Он спросил, каким образом этот стаканчик попал ко мне. Я сказала ему, что это стаканчик моей матери, полученный ею от деда, то есть ее отца...

Посылая Вам проект моей статьи, я надеюсь, что момент для ее опубликования настал, тем более что проявления антисемитизма в массах усилились и бороться с этим безобразным явлением надо всеми имеющимися средствами. Не говоря уже о том, что давно отмечена большая одаренность еврейской нации и чрезвычайно благотворное влияние ее крови при смешанных браках на потомство. Сам Ильич высоко ценил ее революционность, ее «цепкость» в борьбе, как он выражался, противопоставляя ее более вялому и расхлябанному русскому характеру. Он указывал не раз, что большая организованность и крепость революционных организаций юга и запада зависит как раз от того, что 50% их составляют представители этой национальности.

В личности Ильича получилось смешение нескольких национальностей: кроме еврейской, еще немецкой (со стороны бабушки по матери) и, вероятно, еще татарской со стороны отца, хотя этого никаким документом подтвердить не удастся. Об этом говорит просто тип лица и обилие этой народности в Астрахани, в месте родины отца Ильича...

Я прошу Вас еще раз обсудить вопрос о публикации и сообщить мне о Вашем решении».

Говоря о татарском типе лица и обилии этой народности в Астрахани, Анна Ильинична, если можно так выразиться, попала не в десятку, а в девятку, то есть совсем рядом. На самом деле уже после ее кончины в одном из астраханских архивов нашелся документ, позволяющий сделать практически бесспорное предположение, что бабушкой Ильи Николаевича была калмычка Н. Н. Смирнова. Отсюда и тип лица, и многое, многое другое...

Что касается решения о публикации, то оно было однозначным: не публиковать! Не помогло даже то, что Анна Ильинична прислала набросок статьи, в которой признавалась, что во время ее пребывания в Швейцарии под фамилией матери — Бланк, тамошние студентки настойчиво интересовались, не еврейка ли она, находя, что внешне она — типичная еврейка. Отметила Анна Ильинична и то, что сходство с евреем неоднократно находили у младшего брата Дмитрия.

«А вот деда, Александра Дмитриевича Бланка, я помню смутно, — писала она. — Помню только, что это был высокий, худой старик, с сильной проседью в черных волосах, с ясными и живыми черными глазами. В последнее лето, помню, как он поднялся по лестнице в мезонин дома в Кокушкино и как мать поднесла и показала ему нового внука, брата Володю, родившегося весной этого года».

А теперь вернемся к тому, что так сильно напугало Сталина и почему он запретил публиковать какие-либо подробности о происхождении Ленина. Прежде всего, выяснилось, что имя его деда вовсе не Александр, а Израиль, или, еще точнее, Сруль. Родился он в городке Староконстантинове в простой мещанской семье. Его отец был мудрым человеком и понимал, что детям надо дать образование, поэтому отправил Сруля и его брата Абея в Житомир, где они поступили в уездное училище. Учились братья хорошо и конечно же мечтали о получении высшего образования, но мешала так называемая черта оседлости — ни в один университет евреев не принимали. И тогда их дядя, известный столичный купец, посоветовал отречься от своей веры и принять христианство. Поразмыслив и

испросив согласие отца, братья крестились и стали православными христианами, а проще говоря, выкрестами.

Этого было достаточно, чтобы устранить какие бы то ни было препятствия для поступления в университет. Но Сруль, теперь Александр Бланк, решил стать врачом и поступил в Медико-хирургическую академию. По окончании академии Александр Бланк работал сперва земским врачом в Смоленской губернии, а потом в петербургской больнице Святой Марии Магдалины. Врачом он был хорошим и, по слухам, даже спас жизнь тяжело больному Тарасу Шевченко.

Итак, все надежды Германии на заключение сепаратного мира с Россией были связаны с наиболее экстремистски настроенными революционерами, то есть с большевиками. Предельно цинично, но зато откровенно эту точку зрения выразил германский посланник в Копенгагене Брокдорф-Ранцау, который направил в МИД весьма красноречивый меморандум:

«По отношению к русской революции мы можем принять, по моему мнению, одно из следующих исходных положений: если мы экономическими и военными средствами продолжаем войну до осени, то очень важно сейчас способствовать усилению хаоса в России, и любое явное вмешательство в ход русской революции не должно иметь места. Но скрытно, по моему мнению, нам надо способствовать углублению раскола между умеренными и партией экстремистов. В наших интересах, чтобы последние взяли верх, так как в этом случае драматические изменения станут неизбежными и могут принять формы, которые потрясут само существование Российской империи... Я считаю, что мы должны поддерживать экстремистов, так как именно это быстрее всего приведет к нужным нам результатам».

Сказано — сделано... Все знали, что партия экстремистов — это партия большевиков. А большевики — это Ленин. Значит, надо искать подходы к Ленину. И их нашли! В связи с этим настало время рассказать о весьма зага-

дочной и в то же время скандально известной личности — я имею в виду Израиля Лазаревича Гельфанда, больше известного как Александр Парвус.

Израиль Лазаревич Гельфанд родом из местечка Березино Минской губернии. Его отец был простым ремесленником, но правдами и неправдами устроил сына в одесскую гимназию. В те годы наиболее популярными людьми среди молодежи были народовольцы, и, конечно же, рискованный местечковый парнишка не мог не примкнуть к борцам за народное дело. Так Израиль Гельфанд стал Александром Парвусом. Понимая, что в России он рано или поздно попадет в руки жандармов, Александр уехал в Швейцарию и поступил в Базельский университет, по окончании которого получил звание доктора философии. Чем может заниматься человек с дипломом доктора философии, если, конечно, не хочет каждый день подниматься на кафедру и объяснять бестолковым студентам, чем отличается Гегель от Фейербаха? Конечно же политикой, и только политикой!

Парвус это понял довольно рано, сделал соответствующие выводы и из тихой Швейцарии перебрался в бурлящую, как котел, Германию. Там он вступил в социал-демократическую партию и стал таким активным ее деятелем, что за него всерьез взялась германская полиция. Парвус ударился в бег. Он мотался между Берлином, Дрезденом, Мюнхеном и Лейпцигом, ловко уходил от ищеек, при этом оставаясь главным редактором «Саксонской рабочей газеты».

В этой газете он печатал такие гневные статьи против всякого рода оппортунистов, что на него обратили внимание такие известные лидеры рабочего движения, как Плеханов, Мартов и Ленин. Владимир Ильич даже написал хвалебную рецензию на одну из публицистических книг Парвуса, назвав его «талантливым германским публицистом, который пишет под псевдонимом Парвус», и рекомендовал книгу «всем читателям, интересующимся отмеченными вопросами».

А в одном из писем Ленин писал: «Я не имею ни малейшего представления об его личном характере, но от-

нюдь не отрицаю в нем крупного таланта». Несколько позже состоялось их личное знакомство, оно было настолько результативным, что Парвус начал активно сотрудничать в «Искре» под псевдонимом Молотов.

О том, что Парвус был действительно крупным талантом, говорит хотя бы тот факт, что в 1904 году он предсказал поражение России в войне с Японией. Предсказал он и последовавшую затем революцию. Больше того, Парвус стал одним из основных идеологов так называемой перманентной, то есть непрерывной революции.

Но Парвус был не только пропагандистом и теоретиком, он жаждал настоящей, баррикадной борьбы. Именно поэтому в дни революционных событий 1905 года он примчался в Петербург, вошел в состав Исполкома Петербургского Совета рабочих депутатов и заявил о себе как о наиболее последовательном и решительном борце против царизма. Это не осталось незамеченным: Парвуса арестовали, осудили и сослали в Сибирь. Не будь дураком, Парвус быстренько оттуда бежал и снова оказался в Германии. Он пишет книги, публикует чрезвычайно острые статьи, анализирует причины неудачи первой русской революции. В эти годы его авторитет среди эмигрантов был, пожалуй, повыше, нежели у Ленина. Ильич на это реагировал довольно болезненно, он обвинял Парвуса в «полнейшем незнании русских политических вопросов» и даже позволил себе обозвать только что бежавшего из сибирской ссылки революционера пошляком.

Парвус понял, что первым среди борцов за рабочее дело ему не быть, а слыть вторым он просто не мог, поэтому махнул на всю эту подковерную борьбу рукой и занялся коммерцией. Несколько лет он был литературным агентом Максима Горького, причем настолько успешным, что только за пьесу «На дне» собрал более 100 тысяч марок, — вот только потратил их не по назначению, то есть не отдал в партийную кассу, за что его подвергли остракизму и русские, и немцы.

Парвус легко пережил эту неприятность и махнул в Стамбул. Там-то и началась, как многие тогда говорили, «самая сенсационная глава жизни этого человека». Дело

в том, что в октябре 1912 года начались так называемые Балканские войны. Их было две, и закончились они в августе 1913 года. Суть их в том, что Болгария, Греция, Сербия и Черногория, заключив союз, начали борьбу за освобождение от турецкого ига. Первыми начали Албания и Македония, потом к ним присоединились остальные. Союзники мобилизовали около миллиона человек, неплохо их вооружили, раздобыли более полутора тысяч орудий и двинулись на турок. С моря их прикрывали четыре греческих линкора, три крейсера и восемь эсминцев.

Поначалу дела у союзников шли более чем успешно: турки терпели поражение за поражением и на всех фронтах отступали, больше того — в конце года они запросили мира. В мае 1913-го в Лондоне был подписан мирный договор, по которому Турция лишилась почти всех своих владений в Европе. Но уже в июне началась вторая Балканская война. На этот раз она велась между Болгарией с одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией — с другой.

Лучше всех в этой неразберихе сориентировался Парвус. Как только раздались первые выстрелы, он тут же рванул в Стамбул в качестве военного корреспондента одной из германских газет. На самом деле никаких репортажей с полей боев он не писал, а был правой рукой немецкого военного атташе генерала фон Сандерса.

И это не случайно, ведь уже больше года Парвус был агентом германского Генерального штаба.

Отстаивая интересы Германии, Парвус ни на секунду не забывал о своих. Он прекрасно понимал, что война — это прежде всего оборот гигантских денежных сумм. Значит, надо торговать! И Парвус торговал. Например, туркам не хватало хлеба и они были готовы покупать его хоть втридорога. Парвус находит посредников в России, заключает чрезвычайно выгодный контракт и спасает Турцию от голода. Но это вовсе не значит, что он идейный сторонник Турции. Прекрасно зная, что болгарам, грекам и сербам катастрофически не хватает оружия и боеприпасов, Парвус продает им огромные партии уставшего немецкого оружия.

Деньги он на этом сколотил огромные! Когда началась Первая мировая война, возможностей делать деньги стало еще больше, но Парвус снова заболел политикой. А так как он оставался агентом германского Генерального штаба, то, естественно, употребил свои таланты на благо Германии. Уже в марте 1915-го он предоставил руководству детально разработанный план под названием «Подготовка массовой политической забастовки в России». В историю этот план вошел как «Меморандум д-ра Гельфанда».

Читая этот документ, невольно приходишь к выводу, что если и были у России по-настоящему злобные, коварные и сатанински вероломные враги, то одним из главных был, конечно же, Парвус. Он хорошо знал Россию, знал, каково ее внутривнутриполитическое положение, какова экономика и чем дышат люди. Поэтому он бил наверняка, бил по самым болезненным и уязвимым местам. Начать он предлагал с организации железнодорожной забастовки, которая прервет сообщение Центра с фронтом, и, стало быть, ни из Петрограда, ни из Москвы на фронт нельзя будет подвезти ни снаряды, ни патроны, ни хлеб, ни бинты. А чтобы подстраховаться, надо взорвать железнодорожные мосты. Кто это сделает? Специально обученные агенты, причем из русских социал-демократов, которых следует загодя переправить в Россию. Мосты надо взорвать и в Сибири, чтобы воспрепятствовать поставке оружия из Америки. Кроме того, необходимо не жалея денег «оказывать финансовую поддержку группе большевиков в российской социал-демократической партии, которая борется против царизма всеми доступными средствами; ее вожди находятся в Швейцарии».

На реализацию этого плана Парвус запросил 20 миллионов марок. Скупердяи-немцы для начала выделили 5 миллионов, оговорив, что деньги должны быть потрачены «на революционную пропаганду в России».

Но главное сошлось: большевики, то есть Ленин, желают того же, что и агент германского Генерального штаба Парвус, — поражения России в войне. А раз так, большевикам надо помогать! Сделав такой вывод, берлинские стратеги начали действовать. Для начала через третьих

лиц они организовали встречу Ленина и Парвуса. В мае 1915-го Парвус приехал в Швейцарию и повидался с Лениным. Но, судя по свидетельству самого Парвуса, она закончилась ничем. И это естественно. Не мог же Ленин ослабить и без того немногочисленную партию, отправив в Россию большевиков, чтобы взрывать мосты.

Хорошо, решил Парвус, значит, еще не время, и вернулся в Копенгаген, где на немецкие деньги создал «Общество социальных исследований последствий войны». Ни у кого не вызывало сомнений, что это «Общество» было своеобразным филиалом разведорганов. А хитрован Парвус, потерпев фиаско в деле привлечения к своей деятельности Ленина, решил действовать не напрямую, а через ближайших сторонников Ильича: он пригласил на работу в качестве сотрудников «Общества» таких известных большевиков, как Яков Ганецкий (Фюрстенберг), Моисей Урицкий и Григорий Чудновский.

Несколько позже этот ход Парвуса полностью себя оправдывает. А пока что он продолжал спекулировать всем, чем можно, — от консервов и лекарств до бинтов и карандашей, и наживался на войне.

А что же Ленин? Ленин метался, как затравленный зверь, и рвался в Россию. Но как туда пробраться, как? Он прекрасно понимал, что проехать через Англию или Францию — союзниц России в войне против Германии — невозможно: там хорошо знают о его пораженческой позиции. Арестуют — и вся недолга!

— Хорошо, — рассуждал он. — По морю — нельзя, по суше — тоже нельзя. А что, если по воздуху, на аэроплане?

— На аэроплане? — изумлялась Надежда Константиновна. — А где ты его возьмешь? И как будешь им управлять?

— Управлять буду не я, — отмахивался Ильич. — В Швейцарии немало безработных летчиков. Находим такого летчика, он — самолет, и через Германию, Швецию и Финляндию летим в Россию.

— А где будете правляться? — задавала коварный вопрос Крупская. — Или бочки с бензином возьмете с собой?

— М-да, вопросец! — досадливо морщился Ленин. —



Об этом я не подумал. А если сядем на территории Германии, тогда нам крышка.

На следующий день родился еще более дикий план. Что, если выдать себя за шведского туриста, возвращающегося домой? И нужно-то всего ничего — шведский паспорт. Кто его достанет? Да тот же Ганецкий. Ленин отправляет в Стокгольм свою фотокарточку, просит найти похожего на него шведа, оформить паспорт на какого-нибудь Свенсона — и под этим именем Ильич проберется в Россию.

Ганецкий двойника-шведа не нашел — и эта идея отпала.

Но Ленин не сдавался. Однажды ночью он растолкал Надежду Константиновну и ликующе зашептал:

— Я придумал! Потрясающий план! Никто ни о чем не догадается!

— Кто не догадается? О чем не догадается?

— Шведы. Полицейские, таможенники или черт их знает кто... А не догадаются потому, что я прикинусь... глухонемым. Да-да, глухонемым шведом. Каково, а?! — торжествующе воскликнул он.

— Отличная идея. Вот только... Ты ведь во сне иногда разговариваешь. Не дай бог, приснятся тебе меньшевики. Ты не удержишься и начнешь во сне ругаться, причем по-русски: сволочи, сволочи! И что тогда?

— Тогда пропала конспирация, — уныло согласился Ленин.

— Ну, меньшевики тебя, может быть, и не посетят, — пожалела его Крупская. — Но ведь шведские полицейские не дураки: они могут тебя заставить заполнить анкету или написать какое-нибудь заявление. Ты хоть по-шведски-то писать умеешь?

— Увы... Матушка не научила.

— Тогда придется прикидываться не только глухонемым, но и слепым.

— Так что же делать?! Как быть?! Нельзя же без конца сидеть в этой швейцарской клетке, — забегал он по комнате. — Мы должны во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад!

Выручил, как это ни покажется странным, лидер меньшевиков Юлий Мартов (Цедербаум). На одном из совещаний он предложил невероятно дерзкий, но в то же время реальный план легального проезда русских эмигрантов через воюющую Германию в порядке их обмена на германских пленных. Этот план так сильно понравился Ленину, что он тут же принялся за его разработку. В тот же день он отправил своему другу Владимиру Карпинскому своеобразную инструкцию.

«План Мартова хорош, — писал он. — За него надо хлопотать. Только мы (и Вы) не можем делать этого прямо. Нас заподозрят. Надо, чтобы кроме Мартова беспартийные русские и патриоты-русские обратились к швейцарским министрам... с просьбой поговорить об этом с послом германского правительства в Берне. Мы ни прямо, ни косвенно участвовать не можем: наше участие испортит все. Но план, сам по себе, очень хорош и очень верен».

После предварительного зондажа выяснилось, что швейцарские министры наотрез отказались вести такие переговоры: они боялись французов и англичан, которые могли усмотреть в этом нарушение нейтралитета. Тогда за дело взялся, причем в частном порядке, лидер швейцарских социал-демократов Роберт Гримм. Одним из условий, на которых он соглашался вести переговоры, было официальное согласие Временного правительства на эту необычную акцию.

Ленин понимал, что о таком согласии не может быть и речи, поэтому разразился гневной эскападой:

— Сидящие в Петрограде социал-патриоты заинтересованы в том, чтобы мы подольше здесь сидели и не мешали им вовлекать российский пролетариат в продолжение начатой царизмом империалистической войны. Наш долг — не допустить этого. Чего вы боитесь? Будут говорить, что мы воспользовались услугами немцев? Все равно и так говорят, что мы, интернационалисты, продались немцам... Откладывая поездку, мы нанесем вред рабочему движению.

У Мартова и возглавляемых им меньшевиков была другая, более близкая к жизни, позиция.

— Разве к лицу русским революционерам вступать в переговоры с представителями враждебной державы, используя ее территорию для проезда в Россию? — гневно вопрошали они. — Ну, допустим, Вильгельм согласится пропустить вагон с эмигрантами через Германию, пропустить в своих корыстных интересах, но Временное правительство ни за что не впустит их в Петроград и объявит изменниками.

Так оно и случилось. Позицию Временного правительства огласила парижская газета «Пти паризьен», которая сообщила, что министр иностранных дел России Миллюков недвусмысленно заявил: «Каждого русского политэмигранта, посмеявшего проехать через Германию, в России будут отдавать под суд как изменника родины».

Все хорошо знали, что во время войны изменников родины ждет расстрел, поэтому большая часть политэмигрантов от идеи поездки отказалась. И тогда Ленин открыто — в печати и на митингах — огласил свою позицию. Он произнес те слова, которые слетели с его уст во время ночной пикировки с Надеждой Константиновной:

— Мы должны во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад!

Это заявление не осталось незамеченным. Именно в те дни, прочтя это воззвание в газетах, британский премьер-министр Ллойд Джордж записал в своем дневнике: «Тень огромной фигуры Ленина начала подниматься над горизонтом».

### Глава 3

#### Вагон, решивший судьбу России

Тем временем Роберт Гримм вышел на германского посла в Берне фон Ромберга. Посол понял его с полуслова и тут же связался с Берлином. В министерстве иностранных дел были так рады неожиданному подарку, что в нарушение строжайших инструкций среди ночи подняли на ноги руководство Генерального штаба и потребовали, чтобы военные обеспечили беспрепятствен-

ный проезд русских эмигрантов. А уже утром в Берн ушла телеграмма: «Специальный поезд получит военное сопровождение. Передача произойдет на пограничной станции Готмадинген или Линдау ответственным сотрудником. Немедленно вышлите информацию о дате отправления и список отъезжающих».

Получив такой недвусмысленный карт-бланш, фон Ромберг развил бурную деятельность. Вскоре он понял, что Гримм для такого дела не подходит — уж очень он осторожен и рационалистичен.

Фон Ромберг начал искать выходы непосредственно на Ленина, но тот, боясь себя скомпрометировать прямыми контактами с немцами, на встречу с представителем воюющей с Россией державы не шел.

А из Берлина нажимали! Буквально через день оттуда пришла еще более категоричная телеграмма: «Согласно полученной здесь информации желательно, чтобы проезд русских революционеров через Германию состоялся как можно скорее, так как Антанта уже начала работу против этого шага в Швейцарии. Поэтому рекомендуем действовать с максимально возможной скоростью».

Не сидел без дела и Парвус. Он чуть ли не каждый день наведывался в Берлин и в конце концов смог убедить скептически настроенного Людендорфа в том, что «самое выгодное дело для Германии — это как можно быстрее доставить Ленина, яростного противника войны, в Россию».

Через служащего своей торговой фирмы и представителя большевиков в Копенгагене Якова Ганецкого Парвус сообщил Ленину, что договорился с Берлином о возможности проезда русских политэмигрантов через Германию.

Ленин не на шутку испугался! Еще бы, ведь о связи Парвуса с германским Генеральным штабом знала вся Европа, и не дай бог станет известно, что организатором поездки большевиков является Парвус, а это значит — немецкие генералы, тогда репутации Ленина конец.

«Нет-нет, связывать свое имя с именем Парвуса нельзя!» — решил Ленин и тут же телеграфировал Ганецкому:

«Берлинское разрешение для меня неприемлемо. Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю «Колокола», я, конечно, не могу».

Но Парвус свое дело сделал. Достоверно известно, что, прежде чем дать согласие на проезд русских политэмигрантов через территорию Германии, и Людендорф, и другие руководители Генштаба имели продолжительные беседы с Парвусом. В конце концов он убедил немецких генералов в том, что Германия от этого только выиграет.

А в Берне дела шли не столь блестяще — фон Ромберг никак не мог выйти на Ленина или на кого-либо из его доверенных лиц. И вдруг ему доложили, что в посольство явился швейцарский социалист Фриц Платтен и просит его принять по неотложному вопросу.

— Этому-то чего надо? — изумился Ромберг. — Неужто и нейтралы затеяли революцию и им необходимо немецкое оружие? А впрочем, пропустите, пусть войдет, — сказал он секретарю.

Когда на пороге кабинета появился высокий, элегантно одетый и к тому же откровенно красивый джентльмен, Ромберг подумал, что быть швейцарским социалистом, судя по всему, не так уж и плохо. Да и кадры они подбирают отменные: такой господин украсил бы правление какого-нибудь банка или совет директоров солидной фирмы.

— Проходите, — невольно привстал Ромберг. — Садитесь. Чай, кофе?

— Кофе, — как-то по-особенному вальяжно сел в кресло респектабельный посетитель.

— С чем пожаловали? Чем могу быть полезен? — поинтересовался Ромберг.

— Весна в этом году ранняя, — начал издавека Платтен. — И погода почти летняя.

— Весьма тонкое наблюдение, — съязвил Ромберг.

— А кофе у вас отменный, — сделав вид, что ничего не заметил, продолжал светскую беседу Платтен. — И где вы его только достаете?

— Там же, где и все, — на черном рынке, — криво усмехнулся Ромберг.

— Да уж! — хохотнул Платтен. — На черном рынке можно достать все, даже русские газеты, — неожиданно посерьезнел он. — Господин посол, а вы читаете русские газеты?

— Зачем? — пожал плечами Ромберг. — Если есть что-то интересное, это переводят на немецкий в отделе печати и в виде обзоров присылают мне из Берлина.

— Про революцию вы, конечно, читали, — констатировал Платтен. — И про неумное желание Временного правительства продолжать войну с Германией тоже знаете. Между тем есть люди, которые Германии могут помочь, — они ратуют за выход России из этой варварской бойни. Представляете, как выиграет Германия, если вдруг исчезнет Восточный фронт?!

— И что же это за люди? — с трудом прочистив мигом пересохшее горло, спросил Ромберг. Ему стоило огромных усилий сделать вид, что он ни о чем не догадывается.

— Они здесь, в Швейцарии, — кивнул за окно Платтен. — Это, прежде всего, Ленин и его правая рука Зиновьев. И если им помочь...

— Поможем! — наклонившись через стол, свистяще прошипел Ромберг. — Таким людям нельзя не помочь.

— Я знал, что мы пойдем друг друга, — протянул ему руку Платтен. — Если не возражаете, я зайду к вам завтра и мы обсудим детали.

— До завтра, — с трудом сдерживая нетерпение, встал из-за стола Ромберг.

А Платтен, невозмутимый Платтен вдруг скривился от боли, как-то по-детски ойкнул и рухнул в кресло.

— Что с вами? — бросился к нему Ромберг.

— Рука, — выдавил побледневший Платтен. — Левая рука, будь она неладна... Я неловко облокотился, а она этого не любит.

— Позвать врача? — обеспокоенно предложил Ромберг.

— Врач здесь не поможет, — вытирая холодный пот, процедил Платтен. — Когда-то я сорвался со скалы, сломал руку, а кости срослись неправильно, да и суставы — ни к черту. Но это было давно. Я привык... Все, кажется, отпустило. Не обращайтесь внимания. Так, значит, до зав-

тра, — коротко кивнул он и стремительно вышел из кабинета.

А Ромберг, еле сдерживая нетерпение и потирая руки, бросился к шифровальщику.

— Телеграмма! «Молния»! В Берлин! — победно воскликнул он. — Пишите... «Сегодня меня посетил видный швейцарский социалист Фриц Платтен и от имени группы русских социалистов, в частности их руководителей Ленина и Зиновьева, обратился с просьбой разрешить проезд через Германию небольшому числу самых видных эмигрантов. Платтен утверждает, что события в России принимают опасный для вопроса о мире поворот и необходимо сделать все возможное для отправки вождей-социалистов в Россию, так как там они пользуются значительным влиянием».

Утром следующего дня Платтен был немногословен. Он положил на стол Ромберга сложенный вчетверо лист и, потирая небритый подбородок, устало бросил:

— Над этим документом мы трудились всю ночь. Назвать его можно так: «Условия, на которых эмигранты согласны совершить переезд». Должен предупредить, что редактированию этот текст не подлежит, хотя, конечно, точки или запятые можно поставить в других местах. Читайте, господин посол, лучше — вслух, чтобы я мог сразу же ответить на возникшие у вас вопросы.

— Хорошо, — согласно кивнул Ромберг и надел очки.

«1. Я, Фриц Платтен, руковожу за своей полной ответственностью переездом через Германию вагона с политическими эмигрантами и легальными лицами, желающими поехать в Россию.

2. Вагон, в котором следуют эмигранты, пользуется правом экстерриториальности.

3. Ни при въезде в Германию, ни при выезде из нее не должна происходить проверка паспортов или личностей.

4. К поездке допускаются лица совершенно независимо от их политического направления и взглядов на войну и мир.

5. Платтен приобретает для уезжающих нужные железнодорожные билеты по нормальному тарифу.

6. Поездка должна происходить по возможности безостановочно в беспересадочных поездах. Не должны иметь места ни распоряжения о выходе из вагона, ни выход из него по собственной инициативе. Не должно быть перерывов при поездке без технической надобности.

7. Разрешение на проезд дается на основе обмена уезжающих на немецких и австрийских пленных и интернированных в России. Посредник и едущие обязаны агитировать в России, особенно среди рабочих, с целью проведения этого обмена в жизнь.

8. Возможно кратчайший срок переезда от швейцарской границы до шведской, равно как технические детали, должны быть немедленно согласованы.

Берн — Цюрих. 4 апреля 1917 года.

Фриц Платтен».

— Что скажете? — заметив озабоченность Ромберга, поинтересовался Платтен.

— Вопросы у меня есть, и их немало, — поднял глаза от бумаги Ромберг и нервно закурил, но тут же, спохватившись, протянул портсигар Платтену. — Курите, — предложил он.

— Нет-нет, — протестуя, поднял руки Платтен. — Не курю.

— Бросили?

— Бросил, и очень давно.

— Неделью назад? — недоверчиво усмехнулся Ромберг.

— Чуть больше. А если точно, то двадцать лет назад.

— Тогда у вас должно быть отменное здоровье... которое позволит успешно завершить задуманную нами акцию, — неожиданно холодно закончил он. — А теперь, с вашего позволения, перейдем к вопросам. Ну, едем мы с вами по Германии. Едем, едем, а куда? Каков конечный пункт?

— Конечный пункт — германский порт Засниц. Между этим городом и шведским Треллеборгом ходит железнодорожный паром «Королева Виктория» — на него мы и должны попасть.



— Хорошо. А что означает термин «легальные лица», которые желают поехать в Россию?

— Речь идет о членах семей политических эмигрантов, в основном детях и женах.

— Понятно... А как вы себе представляете процедуру обмена русских политэмигрантов на немецких и австрийских пленных?

— Я же написал: мы будем агитировать с целью проведения этого обмена в жизнь.

— И все?

— Господин посол, вы же прекрасно понимаете, что пока большевики не у власти, они ничего не смогут сделать для реального выполнения этого обязательства. Больше того, они рискуют жизнью, взяв на себя другое обязательство — остановить войну, тем самым предоставив возможность Германии перебросить десятки боеспособных дивизий на Западный фронт. Или Германия все еще горит желанием воевать на два фронта?

— Вы забыли, что я дипломат и на такого рода вопрос не могу ответить ни «да», ни «нет». Еще один вопрос, на это раз последний: сколько пассажиров будет в этом вагоне?

— Я думаю, человек пятьдесят-шестьдесят.

— И вы их хорошо знаете?

— Одних лучше, других хуже, но поручиться готов за каждого. Или этого мало? — с металлом в голосе спросил Платтен.

— Что вы, что вы, этого достаточно! — обезоруживающе поднял руки Ромберг. — Единственное, что хотел бы уточнить: как вы себе представляете их отъезд? На перроне будет оркестр, потом пройдет митинг, вы помашете им вслед — и провожающие разойдутся по домам? Или у вас какой-то другой, более оригинальный сценарий?

— А вы веселый человек, — натянуто улыбнулся Платтен. — Ни о каких оркестрах, митингах и тому подобном не может быть и речи — это во-первых. Было бы очень хорошо, если бы об этой акции ничего не проноухала пресса. И вообще, господин посол, чем меньше шума, чем меньше утечек информации, тем лучше. Надеюсь, вы

понимаете, что это в наших с вами интересах. А во-вторых, господин посол, я не собираюсь, как вы изволили выразиться, махать им вслед. Раз они мне доверились и раз я за них ручаюсь, то я поеду с ними, причем до самой шведской границы.

— Браво, господин Платтен! — воскликнул Ромберг. — Иного ответа я и не ожидал. Все, больше вопросов не имею, — встал он из-за стола. — Как вы понимаете, решение принимаю не я, поэтому ваши «Условия» я должен передать в Берлин. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому — до завтра.

— До завтра, — поднялся и Платтен.

Телеграмма, которую Ромберг тут же отправил в Берлин, была требовательно-лаконичной:

«Посетивший меня сегодня Фриц Платтен выразил готовность поручиться за каждого из группы русских политэмигрантов, а также обязался сопровождать вагон до границы вместе с немецкими представителями. Поскольку их немедленный отъезд в наших интересах, я настоятельно рекомендую выдать разрешение сразу же, приняв изложенные «Условия».

Отправив эту телеграмму, барон Ромберг надолго задумался. Он был опытным дипломатом, да и в разведке знал толк, поэтому ему не давала покоя мысль: «Кому я доверился? Кто он такой, этот Платтен? Откуда он взялся? Не подстава ли это английской или французской разведок? Почему он помогает большевикам, которые, по большому счету, самые вероломные враги России и которых, если смотреть правде в глаза, всех до единого надо поставить к стенке? А может, как раз этого он и добивается? Ведь не может же он не знать о заявлении Временного правительства о том, что каждого русского политэмигранта, посмеявшего проехать через Германию, в России будут отдавать под суд как изменника родины. А в военное время изменника ждет расстрел или, еще хуже, петля.

Слов нет, Германии все это выгодно. Но нет ли в этой

акции какого-то потаенного смысла? Я понимаю, если бы Платтен был не швейцарским социалистом, а, скажем, немецким монархистом, жаждущим победы германского оружия, тогда все было бы ясно и понятно, а так... Нет, что-то тут не сходится, что-то не стыкуется.

На кого работает Платтен, чего он добивается, какова его конечная цель? Чтобы это понять, надо разобраться в личности Платтена, надо задать самый популярный у американцев вопрос: кто вы, мистер Платтен? Кому его задать? Слава богу, в Германии есть не только полиция, но и разведка, и контрразведка. Пошлю-ка я запрос им, пусть пороятся в своих архивах».

Приняв такое решение, Ромберг вызвал шифровальщика и продиктовал соответствующие телеграммы, не преминув добавить, что ответ требуется максимально быстрый.

Как оказалось, досье на Платтена в Берлине было, но такое тоненькое, что Ромберг был откровенно разочарован. И все же он узнал, что выдающий себя за лощеного джентльмена господин всего лишь сын столяра-краснодеревщика, что, когда ему надоело делать шкафы, столы и стулья, он ударился в политику — на митингах и демонстрациях задиристому Платтену не было равных: оратор из него получился отменный, его даже называли швейцарским Либкнехтом.

Сейчас он — секретарь социал-демократической партии Швейцарии, до этого возглавлял интернационалистов-социалистов, а еще раньше был партийным агитатором латвийской секции РСДРП.

— Так вот где собака зарыта! — воскликнул Ромберг. — Оказывается, он был членом РСДРП. А этой партией руководит не кто иной, как Ленин. Значит, они одного поля ягоды, значит, Платтен тайный большевик... Впрочем, это вовсе не обязательно, куда заманчивее работать на большевиков, формально оставаясь швейцарским социал-демократом. Так, а что он делал в Латвии? Все ясно, — перевернул еще одну страничку досье Ромберг, — никакой вы, господин Платтен, не агитатор, а самый обыкновенный террорист. Да-да, террорист, или,

как их тогда называли, боевик, выдающий себя за идейного борца с царизмом. Вам-то что за дело до царизма, а, господин Платтен? Так нет же, вы взялись поставлять оружие рижским боевикам и организовывать уличные беспорядки. За что вас в 1906-м арестовали. Могли ведь и расстрелять, военно-полевые суды тогда не церемонились. А это что за бумажка? Ого, это копия постановления об освобождении Платтена под залог в пять тысяч рублей. Деньги внесла его невеста, а впоследствии жена Лина Хаит.

А это что за рапорт? — продолжал листать досье Ромберг. — Так-так, негласный агент гамбургской полиции, служивший помощником боцмана на германском торговом судне, сообщает: «На нашем пароходе большая часть матросов сочувствовала борьбе рижских рабочих против царизма. Поэтому они охотно взялись помочь какому-то боевику, который просил спрятать его от русских жандармов. Они не замедлили явиться на борт, перерыли весь пароход от клотика до киля, но боевика не нашли. И лишь когда мы вышли в нейтральные воды, матросы дали условный знак, и на палубе появился негр. Он хорошо говорил по-немецки и назвал себя Фрицем Платтенном. А не нашли его потому, что, пока мы шли в нейтральные воды, он находился в паровой трубе и висел там на руках».

На одной руке, — чисто механически уточнил Ромберг, — ведь левая у него покалечена, он даже облокотиться на нее не может. И не только рука, — достал он еще один документ, подписанный каким-то доктором. — Вот бедняга-то, а! — не удержался от сочувственного восклицания Ромберг. — Оказывается, он перенес тяжелую форму туберкулеза и у него ампутировано одно легкое. Так вот почему он отказался от сигареты — тут уж действительно не до курева. Инвалид, по все статьям инвалид! А он нисколько не комплексует и ведет активнейший образ жизни. Нам бы таких людей, да побольше, тогда Германия действительно стала бы владычицей мира. Но где их взять? — вздохнул он и спрятал досье Платтена в сейф.

Барон фон Ромберг, всю жизнь имевший дело с карьеристски настроенными людьми, долго не мог успокоиться. Он выкурил одну за другой три сигареты, выпил две чашки кофе, потом махнул на все рукой, налил целый фужер коньяку, хватил его одним глотком и, не закусывая, сел к столу.

«Так вот вы какой, мистер Платтен! — не без восхищения раздумывал Ромберг. — Каюсь, но я вас не за того принял, думал, что вы — страдающий от безделья сыночек какого-нибудь цюрихского банкира. Что ж, тем лучше! Раз вы убежденный революционер, значит, не бросите дело на полпути и не продадитесь агентам Антанты. Мы с вами заварим хорошую кашу, — удовлетворенно потер руки Ромберг. — Такую крутую кашу, что давиться ею будут не один десяток лет».

В тот же день из Генерального штаба пришла долгожданная телеграмма: «Безопасный проезд гарантируем. Никаких паспортных формальностей на границе не будет. Максимальное количество пассажиров — шестьдесят».

У Ромберга были свои заботы, а у Платтена — свои. Он метался по городу и искал, у кого бы занять денег на билеты. Партийная касса была пуста, обращение Ленина к Ганецкому с просьбой «выделить две, а лучше три тысячи крон для нашей поездки» результатов практически не дало, так как просить у Парвуса тот не решился, а сам наскреб сумму, которой хватало лишь на десять человек.

И все же Платтен сумел занять три тысячи франков! На эти деньги он купил билеты в вагон 3-го класса и съестных припасов из расчета на десять дней. По большому счету, Платтену повезло, так как вместо 60 человек, изъявивших желание ехать в Россию, 28 в последний момент отказались. На 32 человека денег хватало, и Платтен облегченно вздохнул.

И вот наступило 9 апреля 1917 года. Ромберг свое слово сдержал: в печати об отъезде группы русских политэмигрантов не было ни слова. Больше того, по требованию Платтена ранним утром он отправил в Берлин чуть ли не ультимативную телеграмму:

«Эмигранты считают, что им придется встретиться с огромными трудностями и даже судебным преследованием со стороны российского правительства по причине проезда через вражескую территорию. Поэтому им очень важно иметь право утверждать, что они не общались в Германии ни с одним немцем. Важно также, чтобы немецкая пресса не касалась этого дела до того времени, пока о нем не заговорят за границей. Следует воздерживаться от каких бы то ни было комментариев и особенно от намеков на заинтересованность Германии, что могло бы компрометировать эмигрантов».

Казалось бы, все необходимые меры предосторожности были приняты, но каким-то странным образом об отъезде Ленина и его сторонников узнала вся русская эмиграция. Поэтому на вокзале было самое настоящее столпотворение. Одни пришли с цветами и пели революционные песни. Другие, не скрывая слез, рыдали, будто провожали друзей на верную смерть. Третьи, размахивая палками и грозя кулаками, обзывали отъезжающих изменниками, предателями и врагами России. Они колотили по вагону и готовы были выбить стекла.

Наконец, поезд тронулся, и все пассажиры облегченно вздохнули.

Один лишь Платтен был по-прежнему озабочен и хмуро просматривал какие-то бумаги. Дело в том, что в последний момент по требованию германской стороны ему пришлось заставить всех пассажиров расписаться в документе под названием «Подписка участников проезда через Германию». По большому счету, эта «Подписка» была не чем иным, как подтверждением того, что никакой защиты находящиеся в вагоне люди не имеют и что ответственность за свою дальнейшую судьбу несут они сами. Вот он, текст этого поразительного документа:

«Подтверждаю:

1. Что мне были сообщены условия, выработанные Платтенем и Германским посольством.

2. Что Платтенем моя поездка гарантирована только до Стокгольма.

3. Что я извещен о сообщении, что Временное правительство грозит отнестись к лицам, проезжающим через Германию, как к государственным изменникам».

Далее следовали подписи, причем весьма любопытные. Например, Владимир Ульянов подписался своим партийным псевдонимом — Ленин, и это, в принципе, естественно. А вот его жена Надежда Крупская, видимо в первый и последний раз в жизни, тоже подписалась как Н. Ленина. Седьмой в списке идет Инесса Арманд. О ней разговор особый, и он еще впереди. Григорий Зиновьев идет под партийным псевдонимом, а вот его жена под его подлинной фамилией — Радомысльская. Григорий Бриллиант, который в партии известен как Сокольников, написал свою подлинную фамилию.

Всего в списке 30 фамилий, а ехали, как известно, 32 человека. Вне списка были Фриц Платтен и Карл Радек (Собельсон), так как первый был гражданином Швейцарии, а второй имел австрийский паспорт.

Этот список заслуживает того, чтобы рассмотреть его подробнее, — уж очень по-разному сложились судьбы этих людей. У одних — благополучно, у других — трагично. Но разговор об этом — впереди.

А пока что они веселятся, поют под стук колес песни, играют в карты, незлобиво подшучивают друг над другом, что-то пьют, что-то едят... Впереди у них целая жизнь, и никто не знает, какая. Никто не знает, кто кого предаст, кто кому станет врагом, а кто будет верен до гроба. Но сегодня они вместе, сегодня они думают об одном: быстрее бы добраться до России и заняться тем, чему посвятили жизнь, — социалистической революцией, которая народы России сделает счастливыми, а страну могучей, сильной и процветающей.

Когда пересекали швейцарско-германскую границу, произошел забавный конфуз. Таможенники, которых, видимо, не предупредили, что за люди едут в вагоне, устроили такую тщательную проверку личных вещей и багажа эмигрантов, что пассажиры не на шутку разволновались. Брезгливо копаясь в узлах, подушках и одеялах, которые революционеры везли с собой, таможенники

торжествующе выуживали оттуда плитки шоколада, конфеты, мармелад и другие сладости. На робкие протесты они не обращали внимания и, злорадно усмехаясь, еще и поучали:

— Швейцарские подушки, равно как одеяла, простыни и наволочки, везите, ладно уж, не разоримся. А вот шоколад нельзя! Шоколад, конфеты, мармелад и сахар — стратегическое сырье, такое же, как, скажем, порох, свинец или бензин. По большому счету, мы должны вас оштрафовать, а то и задержать, но на первый раз, так уж и быть, ограничимся конфискацией незадекларированного товара.

И вот, наконец, Германия. В пограничном городке Готмадингене под парами стоял на первый взгляд обычный поезд, но на самом деле он был, без всякого преувеличения, поездом особого назначения. Политэмигрантов разместили в вагоне типа «микст», проще говоря, он был наполовину жестким, наполовину мягким. В соответствии с договоренностью три двери были закрыты на ключ. Никаких пломб на них не было. Четвертая была не заперта, но выходить на остановках никто из пассажиров не имел права. За этим следили два немецких офицера, которые по поручению Генштаба сопровождали эмигрантов. Один из них, ротмистр фон Планиц, говорил по-русски, но, когда он вышел из купе, чтобы пообщаться с кем-нибудь из пассажиров, на его пути вырос непреклонный Платтен. Он достал из кармана кусок мела, провел на полу жирную черту и, холодно сверкая глазами, заявил:

— Считайте эту линию не меловой, а государственной границей между Германией и Россией. Вздумаете нарушить, будете иметь дело со мной!

Дисциплинированные немецкие офицеры понимающе кивнули и попыток нарушить границу больше не делали.

На остановках политэмигранты смирно сидели на своих местах и даже отодвигались подальше от окон, чтобы, не дай бог, не спровоцировать кого-нибудь из прогуливающихся по перрону на никому не нужный контакт, который может иметь непредсказуемые последствия. Но Платтен имел право пользоваться четвертой, незапертой дверью и на перрон выходил: то чтобы купить газеты, то



просто прогуляться и заодно посмотреть, не затевают ли немцы какой-нибудь провокации. Точно так же он вышел из поезда во Франкфурте, выпил кружку пива и вдруг увидел, как кто-то из его подопечных, прильнув к оконному стеклу, чуть ли не глотает слюну, глядя, как Платтен наслаждается пенным напитком. И тут ему стало так стыдно, что он решил немедленно исправить ошибку. Зная, что у немецких солдат проблемы с куревом, а сам он на всякий случай всегда имел при себе пачку сигарет, Платтен подошел к группе солдат, поговорил о том о сем, предложил закурить, потом махнул рукой и отдал им всю пачку. Солдаты рассыпались в словах благодарности, а Платтен, воспользовавшись сложившейся ситуацией, как бы извиняясь, сказал:

— Камераден, зольдатен, друзья! Не могли бы вы меня выручить?

— Что, надо кого-нибудь поколотить? — хохотнули солдаты. — Это мы с удовольствием, покажите только кого.

— Договорились, — улыбнулся Платтен. — Я на вас рассчитываю. Но это мы сделаем в следующий раз. А пока что... В этом вагоне едут мои друзья. Я хочу угостить их пивом. Друзей много, а рук всего две. Не могли бы вы мне помочь и отнести в вагон двадцать кружек пива?

— И по одной нам! — решили не упустить выгоды солдаты.

— По рукам! — воскликнул Платтен и побежал заказывать пиво.

Нетрудно представить, каким неподдельным было удивление и самого Ленина, и его спутников, когда в вагон ввалилась шумная ватага немецких солдат с кружками пива в руках и наперебой начала угощать пассажиров. Они было стали отнекиваться, но когда увидели в дверях Платтена, то поняли, что это его проделка, и с удовольствием выпили по кружке отменного пива.

Но большевики не были бы большевиками, если бы хоть на минуту забыли о своем революционном долге. Самым активным оказался Радек, который тут же затеял братание с солдатами и стал призывать их не возвращаться в окопы. Солдаты начали было говорить, что кому,

мол, охота кормить вшей и ждать, когда в башку попадет шальная пуля, но тут в дверях показался ротмистр Планиц — и солдат будто ветром сдуло, через секунду они были на перроне.

И вот наконец долгожданный Засниц! Здесь путешественникам предстояло пересесть на шведский паром «Королева Виктория». Пока возились с багажом, Ленин быстренько набросал текст телеграммы и попросил Платтена тотчас же отправить ее в Швейцарию:

— Оставшиеся товарищи наверняка волнуются. Надо их успокоить. Поэтому я пишу: «Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Едем дальше... Привет. Ульянов».

Как только паром отвалил от пирса, начался сильный шторм. Пароход бросало как щепку, палубу заливало водой, пассажиров так укачало, что из кают они не выходили. И только Ленин, Радек и Зиновьев как ни в чем не бывало прогуливались по верхней палубе и рассказывали анекдоты.

Когда шторм утих и на палубу выбрались измученные качкой морские странники, из рубки вышел капитан, попросил минутку внимания и не терпящим возражения тоном сказал:

— Господа, в соответствии с действующими на нашем флоте правилами прошу вас соблюсти маленькую формальность. Вам надлежит получить у старшего помощника анкеты и по возможности быстро их заполнить. Предупреждаю: отказ чреват тем, что на шведский берег вы не сойдете и будете доставлены обратно, в воюющую Германию.

Какой тут поднялся переполох!

— Нас предали! — кричали одни.

— Нас продали! — подхватывали другие.

— Надо было сидеть в Швейцарии и не высовывать оттуда носа! — добавляли третьи.

— Товарищ Платтен, — заметно волнуясь, отвел его в сторонку Ленин. — Что это значит? О каких анкетах речь? Ведь мы уже расписались под так называемой «Подпиской».

— Там мы имели дело с немцами, и они свои обязательства выполнили, — потирая разболевшуюся руку, ответил Платтен. — А здесь... здесь я даже не знаю, с кем и как разговаривать. Но раз мы на шведском судне, то вынуждены подчиняться шведским законам. Анкеты придется заполнить, причем именно так, как это сделали в «Подписке», то есть не путая фамилии с псевдонимами. А то ведь действительно вернут в Германию. И что тогда?

— Вы правы, анкеты придется заполнить. Но у меня такое впечатление, что капитан действует не по собственной инициативе, — озабоченно продолжал Ленин. — Кто-то за этим стоит... Но кто? Может быть, англичане? Мы ведь для них как кость в горле: призываем к миру и все такое. А что, если наши доморощенные жандармы? Нам ведь пересекать русско-шведскую границу — там нас и сцапают. Вполне возможен другой вариант: немцы сообщили о нас шведам, шведы — русским, а те охотно примут нас в свои железные объятия.

— Не думаю. Немцам такой поворот событий невыгоден. Им нужно любой ценой закрыть Восточный фронт, а без участия большевиков это невозможно. Владимир Ильич, — неожиданно повеселел Платтен, — а что мы так разволновались? С чего мы взяли, что за рутинным требованием капитана стоят происки международного империализма?

— Привычка! — рассмеялся Ленин. — Гнусная привычка, выработанная во время многолетней эмиграции: за каждым углом мерещится шпик. И действительно, что это мы разволновались? Капитан выполняет свой долг: он должен знать, кто у него на борту, — это норма, это морской закон. А мы черт знает чего навоображали. Все, быстренько заполняем анкеты — и вся недолга.

Когда успокоившиеся путешественники заполнили анкеты и капитан ушел в рубку, все высыпали на верхнюю палубу и начали забавляться игрой с крикливо-натлыми чайками, подбрасывая вверх кусочки хлеба, — чайки с необычайной ловкостью ухитрялись ловить хлеб на лету.

И вдруг капитан стремительно вышел из рубки. В руках у него был телеграфный бланк, которым он размахивал, как боевым знаменем.

— Мне нужен господин Ульянов! — перекрывая скандальный гвалт чаек, крикнул он.

Эта короткая фраза так оглушающе подействовала и на чаек, и на людей, что и в воздухе, и на корабле наступила мертвая тишина.

«Все, приехали, — удрученно подумал Платтен. — И в «Подписке», и в анкете Ильич проходит как Ленин, а капитан ищет Ульянова. Значит, кто-то фамилию Ильича ему сообщил. Этим человеком может быть только представитель полиции или жандармерии».

Тем временем за спиной капитана вырос богатырского роста старпом, что-то шепнул ему на ухо и протянул только что заполненные анкеты.

— Здесь его нет, — потряс капитан кипой бумаг. — Между тем телеграмма из Треллеборга адресована господину Ульянову, находящемуся на борту «Королевы Виктории». Так кто же из вас Ульянов? Если такового нет, — выдержав паузу, продолжал капитан, — я так и сообщу представителю шведского Красного Креста господину Ганецкому, который намеревался встретить господина Ульянова в порту.

По палубе пронесся такой дружный вздох облегчения, что к нему присоединились даже умеренно загальдевшие чайки. Значит, Ганецкий ждет не дождетс товарищей. Значит, он выдал себя за представителя Красного Креста, чтобы убедиться, что Ленин на борту парома. Молодец, Яша. Умница!

— Ульянов — это я, — шагнул вперед Ильич. — Извините, господин капитан, что ввел вас в заблуждение. Ульянов — это мой литературный псевдоним.

— Получите, — протянул капитан телеграмму. — А расписываться не обязательно, — понимающе улыбнулся он. — В вахтенном журнале я напишу, что телеграмма вручена адресату. Этого вполне достаточно. Если будет ответ, а он, я полагаю, нужен, так как представитель Красного Креста волнуется, дайте знать — я тут же

ее отправлю. Счастливого плавания! — картинно взял он под козырек и удалился в рубку.

— Что там, что там? — кинулись все к Ленину. — Что он пишет? Чего хочет узнать?

— Узнать он хочет только одно: есть ли мы на борту, — облегченно улыбнулся Ленин. — А ответим мы ему кратко и, как это принято, в телеграфном стиле. Наденька, у тебя блокнот с собой? Вот и отлично, напиши ему так: «Господин Ульянов приветствует господина Ганецкого и просит заказать тридцать два билета до Стокгольма. Точка». А отнесу этот текст я сам. Мне кажется, что капитан очень милый человек, я хочу пожать ему руку.

Дальнейшее плавание проходило без каких-либо осложнений. Без приключений добрались и до Стокгольма. А вот в столице Швеции наши путешественники застряли. Впереди был самый сложный участок — русско-шведская граница, которую охраняли англичане. Своего отношения к находящимся в эмиграции борцам за мир и за выход России из войны они не скрывали, поэтому угроза ареста была совершенно реальной. Начались долгие и нудные переговоры.

Яков Ганецкий то связывался с Петроградом, то не вылезал из резиденции посла Великобритании, то организовывал утечку информации в шведские газеты, которые клеймили позором английское правительство, препятствующее возвращению на родину преследовавшихся царизмом прогрессивных русских интеллигентов.

А Ленин, предоставив эти заботы Ганецкому, окунулся в бурную стокгольмскую жизнь. Он общался со шведскими социал-демократами, встречался с представителями прессы, организовал Заграничное бюро ЦК РСДРП и даже согласился присутствовать на грандиозном банкете, который левые социалисты устроили в честь прибывших русских революционеров.

И тут возникла закавыка: оказалось, что идти на банкет ему-то и не в чем. Брюки обтрепались, ботинки, как ни замазывай гуталином дырки, давно просили каши, пиджак, правда, хоть и лоснился, но только на локтях...

— А-а, была не была! — решительно махнул рукой Ганецкий. — Как говорят поляки: пить так пить! Есть у меня, Владимир Ильич, заначка, предназначенная для взятки английским офицерам. Черта лысого им, а не сотню фунтов! Мы их потратим на дело: мы сейчас же пойдем в магазин готового платья и приведем в божеский вид нашего вождя.

— Нет, нет, нет! — запротестовал Ленин. — Не надо приводить меня в божеский вид — я атеист.

— Все мы тут атеисты, — проворчал Радек. — Я понимаю, если бы эти деньги были предназначены, скажем, для выпуска листовок — тогда другое дело, тогда бы я первый сказал, что деньги принадлежат партии. Но если они предназначены для взятки, и кому — надменным сытым англичанам, я голосую за то, чтобы эти злосчастные фунты стерлингов были потрачены на внутрипартийные нужды. Не забывайте, Владимир Ильич, что вы представляете не только себя лично, но прежде всего партию. Надеюсь, вы не хотите, чтобы в местных газетах появились едкие статьи с описанием вашего потрепанного гардероба. Журналисты ведь на этом не успокоятся и пойдут дальше, они начнут издеваться над партией и назовут нас не иначе, как партией беспорточных голодранцев.

— Ну, это вы хватили, — начал сдаваться Ленин. — А что, в этом магазине можно купить и ботинки? — покосился он на свои вдрызг разбитые башмаки.

— Можно, — ответил Ганецкий. — Но я считаю, что покупать надо сапоги.

— Это еще почему?

— Не забывайте, куда мы едем. В России еще холодно, а потом будет сыкотно и сыро — ботинки тут же раскиснут, и их придется выбросить.

— Ай да Яшка! — хохотнул Радек. — Далеко смотрит. Стратег!

— Ну что ж, — вздохнул Ленин. — Сапоги так сапоги.

На том и порешили... В тот же день Владимир Ильич стал обладателем не одной, а даже двух пар брюк, и великолепных хромовых сапог. В таком обновленном виде он и отправился на банкет.

Все бы ничего, но тут как черт из табакерки откуда-то выпрыгнул Парвус. Как он тут оказался? Как узнал, что Ленин уже несколько дней в Стокгольме, что он и его сторонники прибыли в Швецию на «Королеве Виктории»? Конечно же от немцев, которые организовали и блестяще провели эту незамысловатую операцию.

Парвус прекрасно знал, что Ленин его недолюбливает, поэтому действовать решил через общих знакомых. Лучше всех он ладил с Радеком и с Ганецким, который состоял у него на службе. Но о двусмысленном положении Ганецкого знал и Ленин — это могло его оттолкнуть. Поэтому ставку он сделал на Радека.

После недолгих размышлений Радек согласился переговорить с Лениным на предмет организации встречи с Парвусом как с представителем германской социал-демократической партии.

— Ни в коем случае! — стукнул по столу Ленин. — Этот человек все выведает и продаст нас ни за понюх табаку! Он же торгаш. Ему не важно, чем торговать — идеями, людьми, оружием, — лишь бы торговать и получать прибыль. Нет, с Парвусом не может быть никаких контактов! Это нам повредит.

Получив это известие, Парвус нисколько не расстроился и в тот же день отправил в Берлин зашифрованное послание:

«Личную встречу по соображениям безопасности Ленин отклонил. Но через одного общего друга я ему передал, что сейчас прежде всего нужен мир, следовательно, для этого надо создавать необходимые условия. В связи с этим я поинтересовался, что он намеревается делать. Через этого же друга Ленин ответил, что он не занимается дипломатией, его дело — социальная революционная агитация. Больше я Ленина не беспокоил, но неоднократно встречался с близкими ему людьми, мнением которых он дорожит. Полагаю, что эти контакты перспективны».

Получив эту телеграмму, берлинское начальство тут же вызвало Парвуса в столицу, чтобы выслушать более подробный доклад.

А Ленин и его спутники готовились к броску через замерзший залив, чтобы попасть в финский город Торнео, который принадлежал тогда России. К делу снова подключился Платтен. Одному ему ведомыми путями он раздобыл полтора десятка саней, запряженных мохнатыми малорослыми лошадами. Лед вроде бы толстый, полыньи, как уверяют извозчики, отсутствуют, но все же осторожность не помешает — поэтому в санях разместились по двое и дистанцию соблюдали приличную. Платтен сидел в передних санях, он был впередсмотрящим и прокладывал безопасный путь всему каравану.

Когда добрались до берега и под ногами ощутили не зыбкий лед, а твердую землю, все бросились целовать Платтена.

— Вы даже не представляете, что сделали для всех нас и, конечно же, для России! — тряс его здоровую руку Ленин. — Если бы не вы, мы бы до сих пор торчали в Швейцарии и от беспомощности и досады кусали бы себе локти. А теперь мы будем бороться! Мы победим. Мы непременно победим и построим новую, социалистическую Россию, которая всегда будет вас помнить и, если захотите, станет вашей второй родиной.

И вот, наконец, последний пограничный контроль. Английские офицеры, которые охраняли границу, были предупредительны и вежливы, правда, потребовали, чтобы все заполнили какой-то «Опросный лист пассажира, русского подданного, прибывшего из-за границы». Да господа боже мой, они уже столько всего заполняли, столько подписывали, что с «Опросным листом» справились в мгновение ока!

А вот с Платтенем случилась неувязка. Когда он заполнил «Опросный лист» и протянул его офицеру, тот попросил показать паспорт.

— Да вы гражданин Швейцарии! — воскликнул англичанин.

— Да. И что из этого следует?

— А то, что «Опросный лист» касается русских подданных.

— И что с того? Я их сопровождаю.



— Сопроводили? Задание выполнили? — заметно жестче уточнил офицер. — Вот и возвращайтесь домой, в свою нейтральную Швейцарию.

Платтен мгновенно понял, что английский офицер в курсе всей их акции, и тут же придумал душещипательную историю:

— Проблема в том, что в России у меня есть личное дело.

— Да? Какое же?

— Десять лет назад, когда у них правил царь и свирепствовала полиция, меня ни за что ни про что арестовали, а потом под залог отпустили. Это было в Риге. Так вот теперь я хочу получить эти деньги обратно, тем более что внесла их жена, продав все свои украшения.

— И кому вы намерены предъявить претензии?

— Как это — кому? Временному правительству, кому же еще.

— А оно-то тут при чем? Оно же вас не арестовывало и деньги в залог не брало.

— Все равно, — настаивал на своем Платтен. — Я хочу вернуть свои деньги и ради этого намерен попасть в Петроград.

— Не советую, — таинственно улыбнулся офицер. — Тем болс в такой компании, — кивнул он в сторону столпившихся ленинцев. — Не хочу быть пророком, но мне почему-то кажется, что в Петрограде вас ждет такой же бесплатный пансион, как и в Риге. Так что возвращайтесь в Швейцарию и занимайтесь своими социал-демократами. А русскими делами пусть занимаются русские.

«Все ясно, — подумал Платтен. — Этот английский офицер не просто пограничник, он прислан сюда специально, чтобы проследить за возвращением русских политэмигрантов. Значит, англичане с самого начала были в курсе дела. А может быть, их информировали немцы? Чепуха! — перебил он сам себя. — Это не в интересах Берлина.

А вообще-то об этой акции знало слишком много самых разных людей, и не исключено, что кто-то из них был информатором английской разведки или просто проболтался, находясь в теплой компании и забыв, что глаза и уши полиции есть в каждой пивнушке.

Ну что ж, придется возвращаться, — вздохнул Платтен. — Я свое дело сделал, и сделал, как мне кажется, неплохо».

Не просто не плохо, а отлично! Именно такую оценку поставил работе Платтена начальник германской контрразведки Штейнвакс, который в тот же день отправил из Стокгольма в главную штаб-квартиру восторженную телеграмму: «Проезд Ленина в Россию прошел удачно. Он действует так, как хотели бы мы. Платтен, который сопровождал русских революционеров из Швейцарии через Германию и хотел проехать в Петроград, задержан англичанами на границе и отправлен обратно, что привлекло здесь большое внимание».

А генерал Людендорф, ознакомившись с этой телеграммой, записал в своем дневнике:

«Помогая Ленину проехать в Россию, наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения, это предприятие было оправданно. Россию было нужно повалить».

Что было дальше, хорошо известно. 5 апреля Ленин прибыл на Финляндский вокзал, где его встречали восторженные толпы рабочих, солдат и матросов. Потом было его выступление на броневике, торжественный проезд до дворца Кшесинской и последовательное выполнение взятых на себя обязательств по выходу России из войны, обмену политэмигрантов на пленных немцев и перерастание революции буржуазно-демократической в революцию социалистическую.

## **Глава 4**

### **Дворец Кшесинской — шалаш в Разливе — Смольный**

Но вот ведь незадача: после торжественной встречи на Финляндском вокзале народ как-то поостыл и на митинги, которые организовывали большевики, ходить перестал. Да и газетчики все чаще задавали, мягко выражаясь, неприятные вопросы. Например, «Петроград-

ская газета» на первой полосе аршинными буквами напечатала вопросы, на которые ее читатели требовали от Ленина немедленного ответа: «Приехал из Германии? Мир привез? А почему продаешь?»

А в «Маленькой газете» было опубликовано обращение группы солдат, которые требовали прокурорского расследования обстоятельств проезда Ленина и его сторонников через Германию, а не то, мол, за это дело мы возьмемся сами.

Ленин не на шутку испугался. Он понимал, что если ему не верят солдаты, а это вчерашние рабочие и крестьяне, то его дело швах. Но окончательно его добила резолюция матросов Балтийского флотского экипажа, тех самых матросов, которые восторженно встречали его на Финляндском вокзале. Эту резолюцию, как животрепещущую сенсацию, опубликовали все столичные газеты:

«Узнав, что господин Ленин вернулся к нам в Россию с соизволения его величества императора германского и короля прусского, мы выражаем свое глубокое сожаление по поводу нашего участия в его торжественном въезде в Петроград. Если бы знали, какими путями он попал к нам, то вместо торжественных криков «ура» раздались бы наши негодующие возгласы: «Долой, назад в ту страну, через которую ты к нам приехал!»

Первыми серьезность ситуации оценили немцы. Министерство финансов немедленно выделило «на политические цели в России» пять миллионов марок, а Генеральный штаб дал добро на проезд через Германию еще двух поездов с русскими политэмигрантами.

Почувствовав поддержку, Ленин организовал митинг, на котором дал гневную отповедь всем своим обвинителям:

— Прежде чем обвинять нас в предательстве и клеймить как изменников Родины, нужно разобраться в ситуации и понять, кому выгоден и кому невыгоден наш приезд в Россию. Невыгоден он капиталистам всего мира, которые наживаются на военных поставках огромные барыши. А выгоден рабочим и крестьянам, одетым в сол-

датские шинели, независимо от того, русские на них шинели или немецкие. Поэтому мы стоим за мир, за немедленное прекращение никому не нужной варварской бойни. Окончить войну невозможно ни простым втыканием штыков в землю, ни односторонним отказом воевать одной из сражающихся стран. Думать, что это возможно, — чистой воды ребячество. Но раз правительства бездействуют, дело прекращения войны должны взять в свои руки простые люди в шинелях. Братание солдат на фронте — вот самый верный способ остановить смертоубийство! А потом — социалистическая революция, которая сбросит ненавистное ярмо капитализма и приведет к власти истинных хозяев страны — рабочих и крестьян. Временное правительство — за войну, за продолжение бойни, за то, чтобы ваша кровь лилась и дальше. Поэтому наш лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству!» Долой войну! Да здравствует социалистическая революция!

А вскоре подошли выделенные «на политические цели в России» деньги. Большевики бросили их на приобретение типографий и издание новых газет. Еще в апреле их выходило пятнадцать, но небольшими тиражами. Зато теперь тиражи подскочили до заоблачных высот: та же «Правда» выходила невиданным по тем временам сотысячным тиражом. Но среди солдат наиболее популярной была «Окопная правда», в которой печатались откровенно пацифистские воззвания якобы от имени солдат того или иного полка.

«Братья, — говорилось в одном из них, — просим вас не подписываться под законом, по которому хотят нас погубить, хотят делать наступление. Не нужно ходить. Нет тех прав, что раньше было. Газеты печатают, чтобы не было нигде наступления по фронту. Нас хочет сгубить начальство. Они изменники, они хотят, чтобы было по старому закону. Нам нечего наступать, пользы не будет. Если пойдем, то перебыют — у немцев через каждые 15 шагов пулеметы.

Передавайте, братья, наши слова дальше, чтобы все знали нашу солдатскую правду».

Немцы быстро уловили эти настроения и с одобрения Генерального штаба начали устраивать для русских солдат нечто вроде экскурсий. Когда вооруженные разбитыми трехлинейками окопники обнаруживали перед собой новенькие немецкие пушки, только что очищенные от заводской смазки пулеметы и чудовищно огромные танки, у них пропадало какое бы то ни было желание идти в штыковую и подставлять грудь под немецкие пули.

Вскоре братание приобрело массовый характер. Так или иначе, боевые действия на Восточном фронте фактически прекратились, и Людендорф смог перебросить вожделенные 70 дивизий на Западный фронт. А большевики, не теряя темпа, начали призывать распропагандированную солдатскую массу повернуть оружие против внутреннего врага, то есть против Временного правительства.

И все же на Юго-Западном фронте солдат удалось поднять в атаку. Действуя против австро-венгерских частей, армия генерала Корнилова прорвала оборону противника, захватила семь тысяч пленных и почти полсотни орудий, но потом попала под фланговый удар и покатилась назад. Но австрийцы и подоспевшие им на помощь немцы не стали добивать отступающие русские части: вместо кавалерии они выставили... духовые оркестры, которые во всю мощь заиграли польки, вальсы, а потом и камаринскую. Услышав родную мелодию, солдаты побросали винтовки и пошли брататься.

— Прекратить! — перекрывая гром оркестров, закричал Корнилов. — Немедленно прекратить! Это измена! Позор! Я по батальщикам прикажу открыть огонь из орудий!

Когда его слова передали немцам, а потом и австрийцам, те игру прекратили, а вот русские затеяли митинг, на котором последними словами ругали офицеров и генералов, которые их притесняют и лишают свободы.

— Ужо вам! — грозили они кулаками. — Придет и ваш черед. Всех на штыки поднимем!

Когда об этом поражении узнали в Петрограде, то господа министры решили использовать его в своих интересах: якобы для того, чтобы заткнуть образовавшуюся на

фронте брешь, они задумали удалить из столицы наиболее революционно настроенные части, и прежде всего 1-й пулеметный полк. Пулеметчики отказались подчиниться и на общем собрании высказались за выступление против Временного правительства. 500 пулеметов — это вам не шутки! А когда к ним присоединились солдаты запасного батальона Гренадерского полка, министры дали отбой и заявили, что пулеметчики нужны в Петрограде.

«Пулеметчики? В Петрограде? Зачем? — завопила революционная пресса. — В кого они собираются стрелять?»

Как оказалось, мишени для пулеметчиков были... Речь идет о событиях 3—5 июля 1917 года. Сперва на улицы вышли рабочие, потом к ним присоединились солдаты и даже кронштадтские матросы. Военная организация большевиков решила возглавить «мирную, но вооруженную демонстрацию» под лозунгом «Вся власть Советам!». Около 400 тысяч человек носились по городу и громили все, что попадалось под руку.

Но не все, далеко не все пулеметчики шли в рядах демонстрантов. Были и те, которые оборудовали огневые позиции на чердаках и колокольнях. Петроград в те дни обезумел! Стреляли все, и стреляли везде. Кто свои, кто чужие? Ведь все русские, все в шинелях, пиджаках или бушлатах, но, пока выяснишь, могут и пристрелить, поэтому сначала говорил револьвер или пулемет — у кого что было, а уж потом дознавались, кто есть кто. Случайным свидетелем этих событий стал Максим Горький. Вот что он писал по горячим следам увиденного и пережитого в те дни:

«На всю жизнь останутся в памяти отвратительные картины безумия, охватившего Петроград днем 4 июля. Вдруг где-то щелкает выстрел, и сотни людей судорожно разлетаются во все стороны, гонимые страхом, как сухие листья вихрем, валятся на землю, сбивая друг друга с ног, визжат и кричат: «Буржуи стреляют!» Стреляли, конечно, не «буржуи», стрелял не страх перед революцией, стрелял страх за революцию. Он чувствовался всюду: и в руках солдат, лежащих на рогатках пулеметов,

и в дрожащих руках рабочих, державших заряженные винтовки и револьверы, и в напряженном взгляде вытаращенных глаз. Было ясно, что эти люди не верят в свою силу да едва ли и понимают, зачем они вышли на улицу с оружием».

Свидетельство Горького, что бы там ни говорили, это свидетельство человека, сочувствовавшего и большевикам, и революции в целом. А как смотрели на эти события люди из другого лагеря, люди, которые видели в большевиках врагов России? Сохранились любопытные воспоминания одного из высокопоставленных чиновников того времени Григория Михайловского. Вот что он, в частности, пишет:

«Эти матросы группами и в одиночку, с ружьями наперевес, с загорелыми лицами и с лентами, перевернутыми внутрь на шапках, чтобы скрыть свою принадлежность к тому или иному судну, эта анонимная атака приехавших извне людей, ставшая надолго символом большевистской революции, не имели ничего общего с февральской толпой или с апрельскими военными демонстрациями... Никогда еще уверенность, что чужая рука движет этими людьми, направляет их и оплачивает, не принимала у меня такой отчетливой формы.

После июльских дней всякая тень сомнения в германской связи большевистского движения у меня исчезла. В этих кронштадтских матросах не было ни малейшей искры энтузиазма или же того мрачного фанатизма, который заставляет человека идти на смерть за свое дело».

Как бы то ни было, но в результате этой «мирной, но вооруженной демонстрации» было убито, по разным подсчетам, от 400 до 700 человек. Временное правительство было на грани падения, никакой властью оно практически не обладало и, по большому счету, должно было подать в отставку. Но нашелся человек, который не только спас правительство, но и нанес очень ощутимый удар по

большевикам. Им оказался не самый удачливый, но очень деятельный министр юстиции Переверзев. В свое время он создал в министерстве отдел контрразведки, который накопил немало материалов «о преступных связях большевиков с германским Генеральным штабом». И вот теперь на свой страх и риск он решил предать эти материалы гласности.

Для начала, прежде чем передать документы в газеты, их воздействие решили испытать на солдатах. Для этого вечером 4 июля на Дворцовой площади собрали солдат запасного батальона гвардейского Преображенского полка. Когда им огласили перехваченную переписку Парвуса с Берлином, Ганецкого с Парвусом и Ленина с Ганецким, когда им рассказали, на каких условиях немцы согласились пропустить вагон с Лениным и его сторонниками через Германию, солдаты пришли в такое негодование, что потребовали ареста Ленина и готовы были разгромить штаб большевиков. От стихийного погрома их остановили, заверив, что правительство примет свои, законные меры.

Разъяснительная работа продолжалась. Весть о том, что восстание было организовано большевиками с целью свергнуть законное правительство, подорвать авторитет армии и сдать Петроград немцам, с быстротой молнии разнеслась по казармам, а заодно по фабрикам и заводам.

Город гудел и требовал призвать большевиков к ответу. Именно это требовалось Временному правительству, чтобы перейти к действиям. Прежде всего, были разведены мосты. Это сделали для того, чтобы к дворцу Кшесинской не могли подойти путиловцы или рабочие Выборгской стороны, которые были главной опорой большевиков. Потом отключили телефоны сочувственно относящихся к большевикам воинских частей. И только после этого организовали налет на редакцию «Правды». Людей, которым была поручена эта операция, отбирал лично командующий Петроградским военным округом генерал Половцев. За дело взялись на рассвете, и уже через час командир отряда направил мотоциклиста с кратким рапортом в штаб округа: «Доношу: к 4 часам утра



5 июля я получил словесное приказание обезоружить всех находившихся в редакции газеты «Правда» солдат, а также захватить переписку и документы. Означенное поручение мною выполнено. Документы и 10 винтовок будут доставлены моими людьми в штаб».

Доставить документы в штаб было не так-то просто — эти горы бумаг весили около тонны, так что пришлось вызывать грузовик.

Завершила разгром уличная толпа, которая ломала, кромсала и сжигала все, что попадалось под руку, — так петроградцы уничтожали все, что напоминало о «германской заразе».

А потом началась такая свистопляска, что называть себя большевиком стало небезопасно. Одни газеты называли Ленина и его соратников «пассажирами германского военного поезда, мешающими армии защищать Россию», другие были еще безапелляционнее и в выборе слов не стеснялись. Например, «Петроградская газета» писала: «Ленин и его шайка — заведомые немецкие шпионы, посланные кайзером в Россию для нанесения революции отравленного удара ножом в спину».

Газеты газетами, но сурового наказания требовали и те, с кем Ленин связывал самые радужные надежды, — рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели. В ночь на 6 июля состоялось собрание представителей двадцати воинских частей, которое приняло недвусмысленную резолюцию: «Мы требуем немедленного ареста всех подстрекателей и вдохновителей темной массы, толкавших ее на безответственные шаги и действия, вызвавшие народное кровопролитие, а также закрытия «Правды» и «Солдатской правды», разоружения Красной гвардии и расформирования 1-го пулеметного полка».

На следующее утро эта резолюция начала действовать. Прежде всего правительственные войска захватили и разгромили особняк Кшесинской, потом взяли Петропавловскую крепость, выкурив оттуда матросов и пулеметчиков. На следующий день, когда в город прибыли фронтовые части и был создан Сводный отряд действующей армии, правительство почувствовало себя более

уверенно и приняло постановление «О расформировании воинских частей, принимавших участие в вооруженном мятеже».

А 7 июля было опубликовано еще более серьезное постановление, в котором все было названо своими именами:

«Всех участвовавших в организации и в руководстве вооруженным выступлением против государственной власти, установленной народом, а также всех призывавших и подстрекавших к нему арестовать и привлечь к судебной ответственности как виновных в измене родине и предательстве революции».

В тот же день прокурор Петроградской судебной палаты подписал ордер на арест Ленина и других большевистских вождей. Нет никаких сомнений, что суд был бы скорым и приговор изменникам родины тоже был предопределен: во время войны это расстрел.

Играть в благородство Ленин не стал и из города бежал. Эта операция была организована по всем правилам наиболее модных тогда детективов. Поздним вечером Ленин отправился на Приморский вокзал, расположенный в Новой деревне. Там его встретил рабочий Сестрорецкого завода Емельянов. Время от времени на перроне появлялись патрули и внимательно вглядывались в лица садящихся в поезда пассажиров.

— Поймают. Как пить дать, поймают, — встревоженно шептал Ленин, поправляя потрепанный картуз, который дал ему Емельянов.

— Переждем, — поглядывая на гаснущие один за другим фонари, проронил Емельянов. — Давайте дождемся, когда погаснет последний фонарь и на перроне станет совсем темно.

— Замечательная мысль, — повеселел Ленин. — Да и юнкеров с каждым часом становится меньше.

— Молодые... Чай, поспать охота. Утром-то опять погонят усмирять нашего брата.

— Вот-вот, — неожиданно рассердился Ленин. — Усмирять. Именно усмирять! Но рабочий класс этого безобразия долго терпеть не будет. Кризис назрел! Ближай-

шая задача пролетариата — взять власть, удержать ее и вбить осиновый кол в могилу контрреволюционной буржуазии. Стоп! — остановил он сам себя. — Что это я, как на митинге? По перрону шныряют юнкера, а я, как говорят рабочие, толкаю речь. И вы меня не останавливаете?! Что же это вы, товарищ Емельянов, вам ведь велено приглядывать за мной.

— Так ведь интересно, — сворачивая самокрутку, смущенно пробасил Емельянов. — Наши агитаторы какие-то скучные — ни рыба ни мясо. Вылезут на трибуну и бубнят, бубнят: то про парламентскую реформу, то про экспроприация... Тьфу ты, господи, и выговорить-то не могу, а о том, чтобы понять, что это мудреное слово значит, и речи не веду.

— Ай да Николай Иваныч! Ай да молодец! — искренне расхохотался Ленин, впервые назвав сопровождавшего его рабочего по имени-отчеству. — Как вы их, а! Вот-вот, пусть не умничают и разговаривают с народом на понятном ему языке. Я им скажу, я им обязательно скажу, что думают о них рабочие, а то, понимаешь, бубнят и бубнят, да потом еще и жалуются, что принимают их в цехах прохладно. Та-а-к, а что у нас на часах? — полез он в карман жилетки. — Ого, уже час ночи.

— А в два последний поезд, — заметил Емельянов. — На него-то нам и надо. Два часа — это глубокая ночь, и обычно в это время по вагонам не шастают ни кондукторы, ни юнкера, ни полицейские.

— Очень хорошо, — приободрился Ленин. — Надеюсь, мы сойдем за возвращающихся из Петрограда загулявших рабочих, и на нас не обратит внимания такой же загулявший полицейский.

Когда к перрону подкатил окутанный паром поезд, Емельянов предложил сесть в последний вагон.

— Чтобы в случае опасности можно было выскочить на ходу и не попасть под колеса, — объяснил он оробевшему Ленину.

Но ни выпрыгивать на ходу, ни прятаться от патрулей не понадобилось: в четыре утра они прибыли на станцию Разлив и пешком добрались до дома Емельянова.

— Это и есть ваше жилище? — недоверчиво уточнил Ленин, глядя на выбитые стекла и дырявую крышу.

— Ага, — смущенно кивнул Емельянов. — Вообще-то дом неплохой, правда, очень старый. Венцы сгнили, двери перекособочило, крыша как решето — вот я и затеял ремонт. Сами-то мы живем в сарае, а вас поселим на чердаке — там тепло, сухо, сколько угодно сена, а стол и стул я туда уже поставил.

— Ну что ж, на чердаке так на чердаке, — потирая руки, улыбнулся Ленин. — Сейчас бы самое время поспать, — неожиданно зевнул он. — А то мы всю ночь на ногах. Да и вам не грех прикорнуть...

— Мне уже скоро встать: в шесть я должен быть у станка. А вы отдыхайте... Но на улицу не выходите, а то соседи у меня любопытные, начнут приставать, что, мол, за гость у тебя поселился.

— Кого вы учите?! — встал в театральную позу Ленин. — Конспирация — это мой конек. За десять лет, проведенных в эмиграции, меня не смог ни поймать, ни в чем-либо уличить ни один полицейский, хотя на Западе они — не чета нашим. А вы говорите — соседи.

Но соседи, как это ни странно прозвучит, оказались куда профессиональнее западноевропейских ищеек. Уже через пару дней они начали интересоваться, что это за родственник пожаловал к Николаю.

— Да не родственник это, — отбивался Николай. — Кто же принимает родственников в разбитом доме! Вы же видите — у меня ремонт. А этот мужик — косец, — мгновенно нашелся Николай. — Сейчас моя корова стоит на подворье матери, но сено-то я заготовить должен, вот и нанял косца.

— А второй, чернявенький, — показывали они на подъехавшего к этому времени Зиновьева, — тоже косец?

— Конечно, косец, а кто же еще... Травы в этом году богатые, одному не управиться, — врал напропалую Емельянов, содрогаясь от нависшей опасности, ведь на соседних дачах полным-полно офицеров. А ну как кто-нибудь снаушничает, тем более что в газетах пишут, будто Временное правительство выдало ордер на арест Ленина, и тому, кто его поймает, обещано вознаграждение.

В тот же вечер, как только стемнело, Николай чуть ли не силой усадил «косцов» в лодку и переправил их на глухой сенокосный участок, где у него стоял кое-как сработанный шалаш.

— Теперь жить будете здесь, — не терпящим возражения тоном сказал он. — Это решение ЦК.

Дисциплинированные большевики спорить не стали и начали обживать в шалаше. Сено они, конечно же, не косили, а целыми днями обсуждали варианты захвата власти и если писали статьи, то только на эту животрепещущую тему. Время от времени их навещали: то на лодке приплывал Свердлов, то Дзержинский, то Орджоникидзе. Все шло нормально, пока в один из визитов они не сообщили, что в поселок нагрянули патрули, которые усиленно ищут родственников Николая Емельянова, поэтому ЦК принял решение срочно переправить одного из «косцов» в Финляндию, а другого на конспиративную квартиру в Петрограде.

После краткого обсуждения решили, что в Финляндию поедет Ленин.

— Каким классом? — невесело пошутил Ильич.

— Самым почетным, — в тон ему ответил Свердлов, — на паровозе. Причем там, куда посторонних не пускают, — в будке машиниста. Поэтому мы вас переоденем и загромируем под его помощника.

— Ну что ж, — вздохнул Ильич, — гримироваться — это дело плевое, к этому нам не привыкать. А на паровозе — это интересно, на паровозе я еще не ездил.

— Вот и славно, наберетесь новых впечатлений. Заодно узнаете, о чем думают рабочие-железнодорожники.

— Да-да, это важно. Это чрезвычайно важно! — затопился Ленин. — А вот это в печать, немедленно в печать, — протянул он густо исписанные листы. — Тут есть статьи на злобу дня, такие как «К лозунгам», «Политическое положение» и «Уроки революции», — их нужно дать в газетах. А вот это — это принципиально важная, если хотите, программная работа. Называется она «Государство и революция»: тут я говорю и о диктатуре пролетариата, и о построении коммунистического

общества, и о фазах его развития, и о многом другом. Хорошо бы эту вещь издать отдельной книжицей. Это возможно?

— Пока у нас нет власти, не все в нашей власти, — скаламбурил Свердлов. — Но издать книжку вождя — в нашей власти.

— Заранее благодарен, — иронично-церемонно раскланялся Ленин и начал собирать свои пожитки.

Тем временем в печати поднялась шумиха, вся суть которой сводилась к тому, что Ленин должен явиться в суд и публично опровергнуть выдвинутые против него и его партии обвинения. А Особая следственная комиссия добывала все новые и новые данные о враждебной деятельности большевиков. Вскоре Ленину и десяти его соратникам было предъявлено официальное обвинение в том, что «являясь русскими гражданами, по предварительному между собою и другими лицами уговору, в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам во враждебных против нее действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армии».

Ленин понимал, что это обвинение более чем серьезно, что оно ставило и его самого, и всю партию вне закона, поэтому он срочно сочинил так называемый «Ответ тов. Н. Ленина», который был опубликован в газете «Рабочий и солдат». Ответ был полон такой неприкрытой лжи и неубедительных доказательств чуть ли не в святости большевиков, что возмутился даже Плеханов: он открыто упрекал Ленина в неразборчивости и считал, что после июльской трагедии Ленина следовало бы арестовать. Но ни задержать, ни арестовать Ленина не удалось, так как к этому времени он находился на паровозе № 239, который на всех парах мчался к Гельсингфорсу. А вот 140 видных большевиков оказались за решеткой.

Двадцать с лишним томов обвинений, собранных Особой следственной комиссией, требовали какого-то завершения, иначе говоря, беспристрастного и строгого суда. Но суд не состоялся. Как ни странно это звучит, по-

мог большевикам генерал Корнилов. К этому времени Лавр Георгиевич был Верховным главнокомандующим вооруженными силами России. Ему так надоела вся эта революционно-демократическая возня в Петрограде, что он решил свергнуть Временное правительство и установить военную диктатуру. В конце августа он двинул на Петроград более 10 пехотных дивизий и конный корпус во главе с генералом Крымовым.

В этой ситуации Временному правительству ничего не оставалось, как обратиться к рабочим и солдатам Петрограда с призывом встать на защиту революции. Большевики поддержали этот призыв, поэтому судебную тяжбу против них прекратили, а всех арестованных выпустили из тюрем. На подступах к Петрограду корниловцев остановили. Немалую роль в этом сыграли большевики, которые так искусно распропагандировали солдат корниловских дивизий, что те арестовали не только офицеров, но даже генералов, в том числе самого Корнилова.

После этой бескровной победы ленинцы воспрянули духом.

Красная гвардия насчитывала десятки тысяч штыков, солдаты целыми батальонами вливались в Военную организацию большевиков, куда более активными стали матросы. Ленин как нельзя лучше прочувствовал ситуацию и, находясь в Финляндии, бомбардировал Петроград письмами с нетерпящими возражения требованиями: «Большевики должны взять власть!»

Судя по всему, немцы были не только в курсе всех этих дел, но и приложили к ним свою руку. Вот что писал в эти дни в ставку статс-секретарь министерства иностранных дел Кюльман:

«Нашим военным операциям на Восточном фронте сильно помогает интенсивная подрывная деятельность внутри России, организованная германским министерством иностранных дел. Мы заинтересованы в поддержке революционных элементов. Мы занимаемся этим уже довольно долгое время в полном соответствии с указаниями политотдела Генштаба в Берлине. Наша совместная

работа принесла ощутимые плоды. Без нашей постоянной поддержки большевистское движение никогда не смогло бы достигнуть такого размаха и влияния, какое оно сейчас имеет».

Судьба восстания решалась 10 октября на тайном заседании ЦК.

Все еще находившийся на нелегальном положении Ленин потребовал принятия резолюции о подготовке вооруженного восстания. Его поддержали 10 из 12 членов ЦК. Каким-то образом это стало известно главе правительства Александру Керенскому. Тот запаниковал и не придумал ничего лучшего, как обсудить этот вопрос с британским послом Джорджем Бьюкененом и будущим известным писателем Мозом, который выполнял задания секретных служб.

Говорить в присущей ему публицистичной манере у Керенского уже не было ни желания, ни сил, поэтому он монотонно зачитал текст, в котором говорилось, что большевики в ближайшее время поднимут восстание, что предотвратить его у Временного правительства нет сил, следовательно, надо немедленно предложить Германии мир, причем как на Западном, так и на Восточном фронте. Русскую армию удержать на фронте нельзя. Немцам воевать на Восточном фронте уже не с кем, они это понимают и перебрасывают на Западный фронт все новые и новые дивизии, что усложняет проведение наступательных операций войскам Антанты. Значит, нужен мир. Мир без аннексий и контрибуций. А мы попробуем использовать против большевиков освободившиеся фронтовые части: они еще не распропагандированы и, даст Бог, восстание подавим.

Англичане ушли от Керенского в полнейшем шоке, ведь на карту была поставлена судьба войны. Если русские воткнут штыки в землю, немцы обретут второе дыхание — и тогда ручаться за исход войны не сможет и самый жизнерадостный оптимист. В Лондон полетели тревожные телеграммы, а Керенский начал названивать в



штаб Петроградского военного округа, чисто по инерции требуя «принятия мер по ликвидации восстания в самом зародыше».

Увы, принимать какие бы то ни было меры было уже поздно. 25 октября командующий Петроградским военным округом направил в Ставку паническую телеграмму, в которой говорилось:

«Положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, идут аресты. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караулы без сопротивления, казаки, несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих казарм не выступили. Сознывая всю ответственность перед страной, доношу, что Временное правительство подвергается опасности потерять полностью власть, причем нет никаких гарантий, что не будет сделано попытки к захвату Временного правительства».

Как в воду глядел командующий Петроградским военным округом. Он, видимо, знал, что еще накануне, таясь от ищеек, в Смольный прибыл Ленин и возглавил непосредственное руководство вооруженным восстанием. Захват Зимнего дворца, где заседало Временное правительство, было одной из первых задач.

Как это ни странно, выполнить ее было проще простого. Никаких боев и никакого героического штурма не было, потому что защищать Зимний дворец было некому. Первыми ушли юнкера, потом казаки и, наконец, так называемые ударницы женского батальона. Все, больше у Временного правительства не было ни одного штыка! Поэтому стрелять красногвардейцам было не в кого, сопротивления им никто не оказывал, и погром, который они учинили в залах Зимнего дворца, был не революционной необходимостью, а всплеском варварской дикости и пещерного вандализма.

Об этом «героическом» штурме так много написано и рассказано, причем от имени его участников, что очень хотелось бы знать, что чувствовали и о чем думали те лю-

ди, против которых была направлена эта акция. Иначе говоря, хотелось бы взглянуть на эту операцию глазами тех, кто ждал решения своей участи в Малахитовом зале Зимнего дворца. Вот как по горячим следам событий описывал этот эпизод министр юстиции Временного правительства Петр Малянтович:

«Я оглядел всех, все лица помню. Все лица были утомлены и странно спокойны... Шум у нашей двери. Она распахнулась — и в комнату влетел как щепка, брошенная к нам волной, маленький человечек под напором толпы, которая за ним влилась в комнату и, как вода, разлилась сразу по всем углам и заполнила комнату.

Человечек был в распахнутом пальто, в широкой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, на рыжеватых длинных волосах. В очках. С короткими подстриженными рыжими усиками и небольшой бородкой. Короткая верхняя губа поднималась к носу, когда он говорил. Бесцветные глаза. Утомленное лицо... Почему-то его манишка и воротник особенно привлекли мое внимание и запомнились. Крахмальный, двойной, очень высокий воротник подпирал ему подбородок. Мягкая грудь рубашки вместе с длинным галстуком лезли кверху из жилета к воротнику. И воротник, и рубашка, и манжеты, и руки были очень грязны.

Человечек влетел и закричал резким назойливым голосом:

— Объявляю вам, всем вам, членам Временного правительства, что вы арестованы. Я представитель Военно-революционного комитета Антонов.

— Члены Временного правительства подчиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопролития, — сказали мы.

Потом всех нас переписали и препроводили в Петропавловскую крепость».

А где же глава Временного правительства, где Керенский? Он бежал еще утром, но не в женском платье, не в матросской форме и не преследуемый разъяренной толпой. Уже известный нам министр юстиции Петр Малян-

тович был последним, кто видел его на выходе из Главного штаба.

«Керенский был в широком сером драповом пальто английского покроя и в серой шапке, которую он всегда носил, — что-то среднее между фуражкой и спортивной шапочкой. Лицо человека, не спавшего много ночей, бледное, страшно измученное и постаревшее.

Смотрел прямо перед собой, ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаившими страдание и сдержанную тревогу... Кто-то доложил, что автомобили поданы. Оказывается, один из двух автомобилей был предоставлен Керенскому, по его просьбе, одним из союзнических посольств. Керенский наскоро пожал всем руки и быстрыми шагами вышел из комнаты. Больше мы его не видели».

И это немудрено. Ведь сначала, на машине с флажком американской миссии, он бежал в распоряжение командования Северного фронта. Там он подбил на мятеж командира конного корпуса генерала Краснова, а после ликвидации мятежа пробился на Дон, пытаясь возглавить белогвардейское движение. Офицерский корпус Керенского не любил и в доверии ему отказал. Поняв, что его звезда закатилась, бывший глава Временного правительства сначала перебрался во Францию, а несколько позже — в Америку.

А события в России развивались по совершенно невероятному и абсолютно непредсказуемому сценарию. Прежде всего, большевикам пришлось схлестнуться с теми, кто помог им захватить власть. Почувствовав силу и следуя большевистскому лозунгу «Грабь награбленное!», солдаты, рабочие и красногвардейцы ринулись громить не продовольственные склады, мануфактурные лавки или ювелирные магазины — на это им было наплевать, а винные подвалы. Пьяные погромы приобрели такие гигантские размеры, что в дело вынужден был вмешаться Ленин. Он хотел выступить на митинге и пристыдить «несознательных солдат революции», но его отговорили, объяснив, что пьяному море по колено и после бутылки водки рабочему хочется не слушать умные

речи, а петь, плясать и драться. Так что митинг может превратиться в пьяную потасовку, а если учесть, что почти у всех есть оружие, то недалеко и до беды со стрельбой и кровью.

Но молчать Ленин не мог! Он быстренько набросал гневную статейку, и ее тут же напечатали, выделив жирным шрифтом ключевые слова: «Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов».

— Это мы-то отбросы общества?! — возмутились петроградцы. — Как Зимний штурмовать, так мы сознательные революционеры, а как отобрать у буржуев то, что принадлежит народу, так мы опустившиеся элементы?! Это что же получается, рабочему человеку уже и выпить нельзя? Нельзя по-христиански помянуть павших за правое дело товарищей?

— За что боролись? — ревела собравшаяся у Зимнего дворца толпа. — Бей их! Громи! В подвалах полно вина, коньяка и водки.

В окна полетели камни. Хлестнули выстрелы. Затрещали выбитые двери.

Пришлось вызывать матросов и того самого Антонова-Овсеенко, который накануне руководил штурмом Зимнего дворца и арестовывал Временное правительство. В тот же день он докладывал в Смольном:

— Мы пробовали замуровывать входы — не помогло. Обезумевшая толпа выламывала окна, высаживала решетки и грабила царские запасы. Тогда мы вызвали пожарных, потребовав, чтобы они залили погреба водой. Те дико возмутились: не по-божески, мол, губить такое добро, и напились до положения риз.

И тогда Ленин предложил создать специальную комиссию по борьбе с винными погромами во главе с управляющим делами Совнаркома Владимиром Бонч-Бруевичем. Все проголосовали «за», постановив, что для придания должного веса комиссии следует назвать Комитетом по борьбе с погромами и наделить его чрезвычайными полномочиями. Местом его дислокации будет 75-й кабинет Смольного.

— А люди? — подал голос Бонч-Бруевич. — Где я возьму людей? С кем буду работать?

— Люди? — переспросил Ленин. — Да, люди для такой работы нужны надежные. Сейчас я черкану в Петроградский комитет, пусть помогут.

«Прошу доставить не менее 100 человек, абсолютно надежных членов партии, — написал он, — в комнату № 75, III этаж, комитет по борьбе с погромами... Дело архиважное. Партия ответственна. Обратиться в районы и в заводы».

Буквально через день Бонч-Бруевич развернул такую активную деятельность, что погромщики прижали хвосты. Революционные тройки отлавливали зачинщиков, тут же их судили и бросали в печально известные «Кресты». В Петрограде ввели осадное положение, а в газетах напечатали грозное объявление: «Попытки разгромов винных погребов, складов, лавок, магазинов, частных квартир и проч. и т. п. будут прекращаемы пулеметным огнем без всякого предупреждения».

С этой бедой справились... Но тут же возникла новая. С несказанной легкостью завоевав власть, Ленин и его партия столкнулись с тяжелейшей проблемой, можно сказать, с проблемой проблем: как эту власть удержать? Чтобы найти ответ на этот труднейший вопрос, пришлось поступиться многими принципами, предать друзей, войти в сговор с врагами и, что самое ужасное, пролить реки крови, причем как смертельных врагов, так и самых верных друзей.

## Глава 5

### Первое покушение

Начали большевики с самого главного — с выполнения своих обязательств перед германским правительством. Поэтому первым государственным актом, принятым 2-м Всероссийским съездом Советов, был Декрет о мире. А вторым — Декрет о земле. В этой последовательности была большая хитрость. Первым ее понял

министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Чернин. Об этом он телеграфировал в Берлин буквально через два дня после свержения Временного правительства:

«Сумеет ли Ленин и его коллеги удержаться у власти более или менее продолжительное время — это, вероятно, вопрос, на который никто не может ответить. Именно поэтому необходимо ловить момент и предложить любую необходимую помощь, чтобы вопрос о мире стал свершившимся фактом.

Если бы ленинистам удалось осуществить только обещанное перемирие, даже тогда, как мне кажется, мы одержали бы почти полную победу на русском участке, так как, если наступит перемирие, русская армия, в ее теперешнем состоянии, хлынет в глубь страны, чтобы быть на месте при разделе земли».

Как в воду глядел Оттокар Чернин! Русская армия на девяносто процентов была крестьянской, а для мужика, будь он в шинели или в армяке, главное — это земля. Пропади они пропадом, эти никому не ведомые обязательства перед Антантой, а заодно и черноморские проливы. Землю дают! Тут надо успеть, тут надо быть первым. А то ведь соседи тоже не зевают и отхватят себе что получше.

Солдаты целыми полками уходили с позиций, штурмом брали поезда и с песнями катили на свою Рязанщину, Тамбовщину или Смоленщину.

— Гениальный ход! — не без восторга говорил своим подчиненным один из русских генералов. — Отныне вся солдатская масса на стороне товарища Ленина. Сегодня я побывал на передовой — там вздох читают телеграмму Ленина о немедленном перемирии на три месяца. Но ведь он обещает не только перемирие, но и мир. А это значит — по домам! Радость такая бурная, что ни о каких боевых действиях не может быть и речи.

Еще больше подлила масла в огонь радиограмма Совета Народных Комиссаров от 9 ноября 1917 года. Она была настолько циничной, что вызвала откровенное недоумение даже у некоторых сторонников Ленина:

«Радио всем! Всем полковым, дивизионным, корпус-

ным, армейским и другим комитетам. Всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота.

7-го ноября ночью Совет Народных Комиссаров послал радиотелеграмму Главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и формально предложить перемирие всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях... Духонин отказался подчиниться. Тогда именем правительства Российской Республики и по поручению Совета Народных Комиссаров Духонину было заявлено, что он увольняется от должности. Новым Главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. Солдаты, дело мира в ваших руках! Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем. Совет Народных Комиссаров дает вам на это право.

Именем правительства Российской Республики

Председатель  
Совета Народных Комиссаров  
В. Ульянов (Ленин)

Народный Комиссар по военным делам  
и Верховный Главнокомандующий  
Н. Крыленко».

Оперативнее всех на эту радиотелеграмму отреагировали немцы. В тот же день статс-секретарь Кюльман запросил у министерства финансов 15 миллионов марок на «политическую пропаганду в России», причем как в мелких, так и в крупных купюрах. Деньги до адресата дошли — и уже через неделю двадцать русских дивизий в письменной форме заключили перемирие с немецкими частями.

А потом началась тягомотина с заключением мира. Первая большевистская делегация, уполномоченная вести переговоры о мире, прибыла в Брест-Литовск 19 ноября 1917 года. Возглавлял ее Адольф Абрамович Иоффе. В состав делегации, состоящей из 28 человек, входили не

только большевики, но также левые эсеры и, само собой, те, ради кого поднялась вся эта заваруха, то есть рабочие и крестьяне.

Германскую делегацию возглавлял генерал Гофман. Как многие военные того времени, он вел дневник. И вот что записал Гофман, расставшись с русской делегацией:

«Никогда не забуду первого обеда с русскими. Я сидел между Иоффе и Сокольниковым, нынешним комиссаром финансов.

Напротив меня сидел рабочий, которого явно смущало большое количество столового серебра. Он пробовал то одну, то другую столовую принадлежность, но вилок не пользовался исключительно для чистки зубов... Один раз востовой не смог сдержать улыбку, когда, спрошенный, какого вина ему уютно, красного или белого, он осведомился, которое крепче, и попросил крепчайшего».

Переговоры шли туго. Немцы, которые считали себя победителями, настаивали на отторжении от России чуть ли не восемнадцати губерний. Большевики то соглашались, то не соглашались, то меняли состав делегации, то принимали решение «восстановить боеспособность армии и получить возможность продолжать войну». Как только большевики заговорили о продолжении войны, германский Генштаб тут же организовал утечку информации о готовящемся наступлении своих войск. В Петрограде забили тревогу и потребовали отчета о состоянии русской армии. В тот же день в Смольный пришла паническая телеграмма:

«Никакой армии нет. Товарищи спят, едят, играют в карты, ничьих приказов и распоряжений не исполняют. Средства связи брошены, телеграфные и телефонные линии свалились. Орудия брошены, заплыли грязью, занесены снегом. Немцам все это отлично известно, так как они под фронтом покупок забираются в наш тыл на 35—40 верст от фронта».

Еще больше поразило сообщение, пришедшее из глубинки, из тех мест, где находились лагеря для немецких



военнопленных. И хотя эта информация предназначалась для германского министерства иностранных дел, ее с радостью перепечатали почти все столичные газеты:

«Республике немецких пленных — ура! В различных местах, где имеются большие лагеря для военнопленных, немецкие пленные, увидев царящий вокруг хаос, взяли на себя снабжение и руководство и теперь кормят не только себя, но и население окрестных деревень.

Местное население чрезвычайно довольно этим и вместе с немецкими пленными образовало нечто вроде республиканского управления, где всем заправляют пленные. Это, разумеется, совершенно необычное явление в мировой истории. Россия еще в большей степени, чем Америка, страна неограниченных возможностей».

Стало ясно, что ни о каком продолжении войны не может быть и речи. Но эсеры, меньшевики и анархисты за уступчивую позицию в Брест-Литовске критиковали большевиков отчаянно. Бросить их в беде немцы не могли и тут же протянули руку помощи. Когда у прибывшего в Петроград главы немецкой миссии графа Кейзерлинга спросили, собираются ли германские войска оккупировать Петроград, тот заносчиво ответил:

— В настоящее время таких намерений нет. Но подобный акт может стать необходимостью в случае антибольшевистских выступлений.

Самое странное, в этой критической ситуации сторонники Ленина продолжали верить в пролетарскую солидарность и в возможность мировой революции. Даже ведя переговоры в Брест-Литовске, они в открытую вели разлагающую немецкие войска пропаганду, забрасывая окопы листовками и используя радиообращения. Это подлое подстрекательство, а также заявление главы русской делегации Троцкого: «Мы выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора» так возмутило Генштаб, что командование германской армии возобновило боевые действия на Восточном фронте.

Не встречая сопротивления, немцы дошли до Двинска и вот-вот должны были взять Петроград. На всех заборах Петрограда появились патриотические призывы «Социа-

листическое отечество в опасности!», но защищать его было некому. Пришлось возобновить переговоры и подписать, как тогда говорили, «похабный мир».

Так ценой потери 780 тысяч квадратных километров русских земель, на которых жили 56 миллионов человек, где добывалось почти 90 процентов каменного угля, выплавлялось 70 процентов металла, пролегалo более четверти всех железных дорог, вырабатывался каждый третий метр сукна, сатина и ситца, большевики удержали власть.

А ведь всего этого могло не быть! Не было бы ни «похабного мира», ни гигантских территориальных потерь, ни разгона Учредительного собрания, ни Гражданской войны, ни бессмысленных жертв. Все могло, не начавшись, закончиться 1 января 1918 года. Для этого было все: были люди, были деньги, было оружие, было желание ценой собственной жизни остановить темные силы, ввергшие Россию в позор, бесславье и бесчестье.

Но все карты спутал Платтен! Да-да, тот самый Платтен, который привез Ленина в Россию и которому не сиделось в теплой и сытой Швейцарии. Когда говорят о роли личности в истории, то чаще всего называют Наполеона, Кромвеля или Петра I: мол, если бы не они, то развитие Франции, Англии и России пошло бы другим путем. Думаю, что применительно к этим именам утверждение о роли личности в истории бесспорно. Имя Ленина — тоже в этом ряду. Но, не привези его в Россию Платтен, кем был бы Ленин? Да никем. Обычным политэмигрантом, каких тогда были сотни. Поэтому, говоря о роли личности в Истории, причем именно с большой буквы, перед именем Ленина надо ставить имя Платтена. Тем более что Ленина он подарил России дважды: сперва доставил его в Петроград, а потом спас от верной пули, приняв ее на себя.

Заговор созрел сразу после октябрьского переворота. Когда по призыву большевиков солдаты начали брататься с немцами, а пытавшихся остановить их офицеров поднимали на штыки, нашлись люди, которые сразу поняли, откуда дует ветер и кто виноват в этом неслыхан-

ном позоре. Да и петроградские газеты, которые все чаще доходили до окопов, не оставляли никаких сомнений. Ленин — вот кто во всем виноват! Ясно, что он германский шпион, что революция сделана на немецкие деньги, что великую Россию он хочет сделать германской провинцией, что большевистские вожди — это русские евреи немецкого происхождения, находящиеся на содержании у Германии.

Начитавшись газет и насмотревшись на творившиеся на фронте безобразия, многие офицеры оставили позиции и двинулись в Петроград. То, что они там увидели, укрепило их решимость убить Ленина. Они были убеждены, что, лишившись своего главаря, большевики долго не продержатся и вытурить их из Смольного будет проще простого.

Шестеро фронтовиков нашли друг друга без особого труда, тем более что воевали на одном участке и хорошо друг друга знали. Выяснив, что их цели совпадают, они решили создать террористическую организацию, назвав ее «Охотничьей бригадой».

Для начала нашли конспиративную квартиру. Назвав ее «предбанником», свезли туда оружие, боеприпасы, бомбы и гранаты.

Потом, вспомнив прочитанные в гимназические годы детективы, придумали себе клички. Так появились Старый Эсер, Капитан, Технолог, Моряк, Макс и Сема. На самом деле это были: подпоручик Ушаков, капитан Зинкевич, военный врач Некрасов, вольноопределяющийся Мартьянов, еще один Некрасов и женщина по фамилии Салова.

Несколько позже они привлекли в свои ряды сбегавшего из окопов солдата Спиридонова. Это было большой ошибкой! Но на первых порах «партизаны» — так они себя называли — ликовали: раз с ними представитель народа, значит, их дело правое, значит, смерти Ленина хотя бы не только интеллигенты, но и простые люди.

Так случилось, что чудом выживший после всей этой катавасии подпоручик Ушаков написал нечто вроде воспоминаний, правда, под псевдонимом Г. Решетов. Мне

удалось ознакомиться с этой рукописью, поэтому, рассказывая о событиях той январской ночи, я буду не только ссылаться на документы, но и время от времени цитировать Григория Решетова.

Первую сходку назначили на середину декабря. В «предбанник» приходили по одному и в разное время. Наталья Салова на всякий случай завела граммофон, а на стол поставила бутылку вина. Если нагрянет какой-нибудь матросский патруль, объяснит, что сегодня у нее именины и старые друзья пришли ее поздравить. Подпоручик Ушаков сидел у окна и, нервно покусывая почему-то плохо растущие усики, часто отдергивал штору и выглядывал наружу. Наконец, он бросил: «Идет» и, картинно чеканя шаг, направился к двери.

«Пришел Старый Эсер, — писал он позже. — Он сидит в зале, у рояля, в кресле, поставленном на середину. Он большой, толстый, с одышкой. У него крупное лицо, немного сипловатый голос. Он с живостью, несколько подозрительно и с беспокойным видом озирается по сторонам. Он похож на человека, немало дней живущего в великой тревоге и заботе. С другой стороны — он весь вежливость и внимание. Но в то же время он знает себе цену и производит впечатление человека, как бы слегка подавленного высокостью своих добродетелей, неоспоримостью своих революционных заслуг и высоким званием члена Учредительного собрания».

Так-то вот, «Охотничья бригада» — это вам не банда налетчиков и не свора озлобленных окопников, умеющих говорить лишь на языке винтовок, гранат и револьверов. У «Охотничьей бригады» есть высокие цели, есть своя идеология, своя философия и свои взгляды на жизнь. Ну, а то, что их идейным вдохновителем является представитель самой многочисленной и самой известной своими терактами партии эсеров, да к тому же еще и член Учредительного собрания, заставляет взглянуть на всю эту акцию совсем другими глазами. Знало ли руководство партии эсеров и ее главный теоретик Виктор Чернов о готовящемся теракте? И мог ли он благословить одного из своих однопартийцев, имевшего «революционные за-

слуги», на организацию покушения? Или Старый Эсер, фамилию которого подпоручик Ушаков так и не раскрыл, настолько значительная фигура, что решения может принимать самостоятельно?

Но ведь Чернов еще и председатель Учредительного собрания, членом которого является все тот же Старый Эсер. Быть может, идею покушения на Ленина поддерживали в Учредительном собрании и в качестве идейного руководителя «Охотничьей бригады» командировали туда одного из своих членов?

Ни в одном из самых секретных архивов ответов на эти вопросы найти не удалось. Да их и не может быть! Не такие уж дураки были все эти Старые Эсеры, чтобы оставлять письменные свидетельства своих темных деяний. А вот подпоручик Ушаков не утерпел и записал свои восторженные впечатления от встречи со Старым Эсером.

«Братва вся в сборе, — пишет он. — Мы образуем вокруг него род внимательной аудитории. Его появление ново и многозначительно: не хотят ли дать некоторое политическое гражданство нашей самочинной боевой дружине, рожденной фронтом и наполненной очень неопределенным содержанием горячего желания бить большевиков и истреблять коммунистов?

Подходя к делу с этой стороны, появление Старого Эсера среди нас событие, конечно, важное. Через него мы как бы вырастаем на целую голову. Без него мы — просто партизанская шайка, лихими налетами пытающаяся учинить неприятелю вред. Через него мы — как бы регулярная действующая часть с ее провиантским и денежным довольствиями».

Ага, речь зашла и о деньгах! Не из своего же кармана доставал их Старый Эсер. Значит, «Охотничью бригаду» и задуманное ею преступление кто-то финансировал. Учитывая, если так можно выразиться, происхождение Старого Эсера, ясно как белый день, что за его спиной могли стоять либо руководители партии эсеров, либо люди из Учредительного собрания.

Проведя своеобразный смотр и убедившись, что вчерашние фронтовики готовы действовать, Старый Эсер

удалился. А «партизаны» затеяли дикий скандал. Капитан Зинкевич кричал, что он убежденный монархист, что эсеры считает не революционерами, а отпетыми бандитами, посмеявшимися поднять руку на великого князя Сергея Александровича.

— А я за анархию! — надрывался Сема. — Я читал Кропоткина!

— Черт с ним, с Кропоткиным! — подал голос мрачноватый Макс. — Если он против евреев, я пойду с ним до конца. Все беды в России от евреев, давно пора их — к ногтю.

— Вот-вот, — подхватил Ушаков, — и в большевистском правительстве сплошь евреи. В Палестину их — и вся недолга!

— А лучше — в расход! — настаивал на своем непримиримый Макс.

— И кто же из нас за эсеров? — вернулся к началу спора Капитан.

— Сейчас — все! — отрезал Ушаков. — Раз они за убийство Ленина, значит, они наши союзники, значит, мы должны быть вместе.

— Все, расходимся, — посмотрел на часы Капитан. — Теперь дело за малым: выследить Ленина и либо бросить в него бомбу, либо расстрелять.

Выследить Ленина оказалось не так-то просто — он то не выходил из Смольного, то совершенно неожиданно выступал на каком-нибудь митинге. В Смольный не проникнуть — это ясно, а вот подкараулить на митинге — вполне возможное дело. Теперь вся надежда была на Технолога, который работал в канцелярии Смольного.

Шли дни, а от Технолога ни единой весточки... У «партизан» начали сдавать нервы, они все чаще ссорились и без всякой меры глушили коньяк. Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы однажды вечером в «предбанник» не ворвался Технолог.

— Сегодня! — с порога выкрикнул он. — В восемь вечера. Цирк Чинизелли. (На самом деле речь идет о Михайловском манеже. — Б. С.)

— Что там, митинг? — уточнил Капитан.

— Митинг. Провожают на фронт отряд Красной Армии.

— Он выступает? Это точно?

— Точно. Сам слышал. Отряд сформирован из рабочих Выборгского района: на радостях, что их будет провожать Ленин, они кричали об этом в коридорах Смольного.

А вот как это было на самом деле. Обратимся к воспоминаниям Николая Подвойского, который в это время был народным комиссаром по военным делам.

«Первого января 1918 года, под вечер, я вхожу в маленькую рабочую комнату Владимира Ильича. Он прерывает беседу с незнакомым мне, по-европейски одетым высоким тридцатилетним человеком. Указывая на меня, Владимир Ильич говорит своему собеседнику:

— Это товарищ Подвойский, наш военный специалист.

Потом, обернувшись ко мне, добавляет:

— Это товарищ, который вывез нас из Швейцарии, — Фриц Платтен.

Завязалась беседа. Я рассказал тов. Платтену о том, что сейчас мы совершаем величайшее революционное дело: строим социалистическую армию и что сегодня мы отправляем первый сформированный батальон Красной Армии для обороны наших границ от возможного нападения Германии.

Потом я обратился к Владимиру Ильичу от имени рабочих Выборгского района с просьбой, чтобы Ильич непременно сам проводил на фронт первый батальон Красной Армии. Владимир Ильич согласился и пригласил с собой также тов. Платтена».

Кто это нашептал Ленину — ангел-хранитель или сам Господь Бог, но, если бы он не пригласил Платтена в Михайловский манеж, этот день был бы последним в жизни вождя революции. Фриц Платтен, преодолев не одну границу, за несколько дней до злосчастного митинга добрался до Смольного.

Тем временем заговорщики подошли к цирку. Народу — тьма-тьмушая! Толпа гудит, шумит, скандалит и... чего-то ждет.

— Все ясно, они ждут Ленина, — удовлетворенно просипел неожиданно простудившийся Капитан. — Нам надо смешаться с толпой и тоже ждать. Убьем, когда он будет уезжать с митинга. Стараться из револьвера, чтобы не побить народ. Если не выйдет — бомбу. Всем здесь делать нечего. Останутся двое. Остальные — со мной: если что-то пойдет не так, мы должны будем выручить или помочь. Живым в руки не даваться.

И снова обратимся к записям Ушакова:

«Вот автомобиль какой-то, с улицы свернув, нырнул в ухабе и двумя огненными пальцами указал на цирк.

— Едет!

Шарахнулась, сомкнулась, сдавила толпа. Меня в грудь давит красногвардеец, сзади давит толпа. Кто-то трое вышли из автомобиля и по очищенному проходу вошли в цирк. Я рванул и прорвал оцепление. Толпа сомкнулась, но я уже в цирке. Красногвардеец, маленький и коренастый, ухватился за мой полусубок:

— Товарищ, нельзя.

Но я вырвал из его рук конец полы и грозно крикнул:

— Я комиссар!

Красногвардеец дал дорогу, и я направился дальше. Народ все валил. Цирк наполнялся, и все кричали, приветствуя того, кто приехал. А на трибуне, среди каких-то незнакомых людей, стоит человек.

— Он!

Разве я мог не узнать его сразу?! Плотный. Городское пальто. Руки в карманах. Шапка. Он стоит величественно и просто. Он улыбается и терпеливо ждет.

Люди в шеренгах кричат и кричат, и не хотят остановиться, и тянут «ура», и дух величайшего одушевления царит над этой толпой и над этим человеком в незнакомом полуосвещенном цирке».

Как ни близко подобрался к трибуне подпоручик Ушаков, стрелять он не решился. Во-первых, тут же схватят, а погибать, будучи растерзанным толпой, как-то не хотелось. А во-вторых, был приказ Капитана: убить Ленина, когда тот будет уезжать с митинга.

Когда оратор спустился с трибуны, толпа рванула к



выходу. Вместе с ней на улице оказался и Ушаков. Все, теперь можно действовать! Но Ушаков никак не решится.

«Из револьвера можно промахнуться, — размышляет он. — А бомбу кидать у подъезда неудобно — побьем напрасно много людей. Мы сделаем иначе: мы его остановим и убьем на мосту. Я это сделаю сам. Но надо посоветоваться с Капитаном, за операцию отвечает он».

Разыскав Капитана, Ушаков лихорадочным шепотом излагает свой план:

— Нам нужно на несколько секунд задержать автомобиль, но чтобы это сделать, надо его не прозевать. Поэтому в разных местах, и особенно на поворотах пути, выставляем посты. Первый дает сигнал второму, второй — третьему, и так до самого моста, пока автомобиль не окажется в поле моего зрения.

— Согласен, — натужно кашлянув, просипел Капитан. — Теперь успех дела в ваших руках. Не волнуйтесь, если что-то пойдет не так, мы вас прикроем.

Решающие минуты Ушаков описал поразительно эмоционально и, главное, не пытаясь оправдаться:

«Туман. Ночь. Минуты — вечность. Но что легло там огненное через площадь? Это тот автомобиль. Он свернул к мосту. Сюда! Кто-то бежит за ним. Автомобиль у моста. На мосту! Вот Макс, вижу его в свете фонарей. Он машет руками. Сейчас.

Бомбой, только бомбой! Кидаюсь вперед, почти касаюсь крыла. Он в автомобиле! Он смотрит, в темноте я вижу его глаза. Бомбу!

Но почему автомобиль уходит, а бомба в руках? Что случилось? Я боюсь? Я трусил? Нет, я ничего не боюсь, но бомбу бросить не могу. Словно кто-то связал по рукам и ногам. Я не могу разжать руки, не могу выйти из оцепенения.

Все кончено! Я сорвал операцию, я подвел товарищей, мне нет прощения. Но что это, что за выстрелы звучат у моста? Ура, это Капитан! Капитан бьет наверняка. Капитан не отпустит. Я слышу, как пуля ударила в кузов. Одна. Еще одна. Я тоже выхватываю наган и, стреляя, бегу за автомобилем. Я не верю своим глазам — автомобиль

остановился. Теперь ничего не стоит догнать и бросить бомбу! Бегу. Но нет, автомобиль не остановился. Это просто сообразительный шофер свернул машину в переулок».

А в это время в машине... В машине творилось нечто невообразимое.

— Стреляют! — слабо вскрикнула сидевшая рядом с шофером сестра Ленина.

— Надеюсь, не в нас? — проронил еще не отошедший от митинга Ильич.

— То-то и оно, что в нас, — процедил сквозь зубы Тарас Гороховик и до отказа утопил педаль газа.

Машина взревела, но быстрее не поехала.

— А-а, мать твою так! — заорал Тарас. — Я же говорил, резина совсем лысая, когда-нибудь подведет! А уж в гололед...

В этот момент машина вскарабкалась на мост. Тарас глянул в зеркало заднего вида и обомлел: какой-то человек бежит почти вровень с ними и на ходу ведет огонь.

— Держитесь крепче! — крикнул Тарас и вильнул вправо.

Дзынь! Пуля пробила заднее стекло, пролетела навывлет и разбила переднее. Осколки брызнули в лицо, кровь залила глаза, крыло чиркнуло по ограждению моста, но Тарас выровнял машину.

— Что вы делаете?! — взвизгнула Мария Ильинична. — Мы же свалимся в Фонтанку!

— Зато останемся живы! Не бойсь, Марь Ильинишна. Бог не выдаст, свинья не съест, — неожиданно повеселел Тарас.

— А ведь и правда стреляют, — подал голос Ленин. — И теперь я уверен, что в нас.

Вдруг в моторе что-то чихнуло, крякнуло, машина дернулась и остановилась. Тарас снова глянул в зеркало и не поверил своим глазам: человек с наганом уже у заднего бампера. Вот он поднимает руку. Вот он прицеливается. Вот он...

Оглушительно грохнул выстрел. Зазвенели стекла. Закричала Мария Ильинична. Брызнула кровь — и от безысходного горя завопил Гороховик. И тут произошло чудо: одновременно с выстрелом голову Ильича прикрыла чья-то рука и резко отвела ее в сторону.

— Что вы делаете? — откуда-то снизу раздался голос Ленина. — Сидеть у вас под мышкой я долго не смогу.

— Жив! — облегченно вздохнул Гороховик и ударил по газам.

А Платтен, как будто ничего особенного не произошло, не спеша достал накрахмаленный платок, обмотал им раненую руку и, путая немецкие и русские слова, разъяснил Ленину, что пристанище под мышкой временное, что предоставить его вынудила мировая буржуазия, которая так и норовит устроить большевикам какую-нибудь пакость.

— И он еще шутит, — вытирая слезы, помогала ему остановить кровь Мария Ильинична. — А ты, Володя, так ничего и не понял?

— Еще как понял! — рассердился Ильич. — Что ж тут удивительного, если во время революции начинают стрелять? Недовольных-то тьма-тьмушая. Все это в порядке вещей... А вы не очень пострадали? — обернулся он к Платтену. — Рука? Правая? Как же вы теперь, ведь левая-то у вас... Пардон, пардон, — смутился он, заметив недовольную гримасу Платтена. — Я бы пожал вашу руку, дорогой товарищ Платтен, но сперва ее надо показать врачам. И если бы я не был воинствующим атеистом, то непременно бы сказал, что это рука Бога — ведь я был на волосок от смерти. Раз он вас послал в эту машину, значит, я еще нужен, значит, мы должны завершить великое дело преобразования не только России, но и всего мира.

Когда приехали в Смольный и начали осматривать машину, оказалось, что кузов продырявлен в нескольких местах: пули шли навылет, и просто чудо, что пострадал лишь один Платтен.

Весть о покушении на Ленина мгновенно облетела город. Оставлять этот теракт без последствий никто не со-

бирался. Но кто этим сложным делом займется? Только что созданная ВЧК? Но, во-первых, у Дзержинского еще нет толковых сотрудников, и, во-вторых, чекисты с утра до вечера и с вечера до утра гоняются за саботажниками, спекулянтами, бандитами и всякого рода контрреволюционерами. И тогда решили, что расследованием теракта займутся комиссары из 75-й комнаты Смольного.

Бонч-Бруевич в это время лечился в Финляндии. В 12 ночи ему позвонили из Смольного и попросили вернуться в Петроград. По телефону о покушении на Ленина говорить не стали, но Бонч-Бруевич почувствовал, что вызывают его неспроста, тем более что на краткосрочном отпуске и на лечении настаивал сам Ильич.

Когда ему рассказали о событиях у Михайловского манежа, Владимир Дмитриевич созвал всех своих комиссаров, велел прочесать весь город и раскрытие преступления считать не только делом чести, но и партийным долгом.

Город действительно прочесали, причем под мелкую гребенку — этим занимались и комиссары, и чекисты, и добровольные помощники, вычесали немало всякой дряни, но выйти на след террористов так и не удалось. Помог, как это иногда бывает, случай.

Вот как рассказывает об этом в своих воспоминаниях сам Бонч-Бруевич:

«Как-то в эти дни я вышел из своей квартиры, чтобы сесть в автомобиль и ехать в Смольный. Неожиданно ко мне подошли человек пятьдесят проживающих поблизости рабочих, которые просили разъяснить кое-какие законодательные распоряжения. Я, конечно, задержался и стал рассказывать им обо всем, что их интересовало. И тут вдруг скорей почувствовал, чем увидел, острый, в упор смотрящий на меня взгляд. Это был brave солдат в серой шинели, смотревший на меня пристальными черными глазами. Когда я закончил разговор и шагнул к машине, он вдруг меня остановил.

— Послушайте, — сказал солдат, — где можно вас видеть и поговорить?

— А что случилось?

— Пока ничего. Но я хотел вас убить, — сказал он, глядя прямо в глаза. — Прямо сейчас должен был стрелять. А с вами рабочие по душам разговаривают, вот меня и взяло сомнение.

— Это любопытно! — ответил я. — Что же это вы, батенька, надумали мною заняться? Хотите поговорить, так садитесь, поедем.

— Нет, я лучше приду.

— Ну что ж, тогда идите в Смольный и там меня спросите.

— Но меня не пропустят.

— Обязательно пропустят, назовите мою фамилию. Вы знаете, как меня зовут?

— Знаем.

— Ну так вот приходите.

— Придем.

И я захлопнул дверцы автомобиля.

«Что-то здесь не так, что-то здесь есть, — подумал я, подъезжая к Смольному. — Или, может быть, это просто психически больной, вернувшийся с фронта: таких сейчас немало».

Я приступил к текущим делам, рассказав кое-кому из своих товарищей по 75-й комнате об этом любопытном случае.

Часа через два мне говорят, что меня добивается видеть какой-то солдат и что ждать приемных часов он не хочет, так как у него есть ко мне важное секретное дело.

«Неужели он?» — мелькнуло в уме.

Смотрю — входит. Да, это он. Твердо подошел к столу.

— Ну, вот я и пришел, — сказал он. — А вот вам револьвер, из которого я должен был вас убить, — положил он на стол наган.

— Кто вы будете?

— Я фронтовик... Совсем недавно вернулся с фронта. Фамилия моя Спиридонов.

— Садитесь, — сказал я ему. — Вы хотели со мной поговорить, давайте, сейчас у меня есть время.

Он присел и как-то виновато сказал:

— Ведь вот еще минута, и я бы вас застрелил. Ошибка... Уж очень душевно вы говорили с рабочими. Я и подумал: это не тот, это не враг. Какой же вы враг? Вижу — свой брат, — улыбнулся он.

— Вы действовали в одиночку или за вами кто-то стоит? — спросил я.

— Подождите, все расскажу.

Вокруг нас столпились рабочие, члены нашего комитета, заинтересовавшиеся рассказом этого посетителя.

— Мать честная! — воскликнул Спиридонов, приподнимаясь. — И тут все рабочие, все наш брат. А говорили — в Смольном одни немцы да господа. Взяли нам...

А потом Спиридонов рассказал самое главное. Оказывается, в Петрограде есть офицерская организация, которая задумала убить Ленина, и он, Спиридонов, тоже состоит в этой организации. Он указал один адрес в Перекупском переулке, где собирались эти офицеры и где он неоднократно бывал. Хозяйка этой квартиры женщина, как зовут не знает, но фамилия ее Салова.

В тот же вечер мы произвели аресты на квартире в Перекупском переулке: устроили там засаду, и туда как горох сыпались люди, которых тут же доставляли в Смольный и чинили немедленный допрос. Через два дня мы добрались до фигур, стоявших ближе к центру заговора, и, наконец, арестовали трех офицеров, которые были непосредственными участниками покушения на Владимира Ильича.

По логике вещей, все главные виновники покушения, конечно, должны были быть немедленно расстреляны. Но в революционное время действительность и логика вещей делают огромные, совершенно неожиданные зигзаги, казалось бы, ничем не предусмотренные.

Когда следствие уже было закончено, вдруг пришла депеша из Пскова, что немцы двинулись в наступление. Псков был взят, и немцы стали распространяться дальше, по направлению Станции Дно — Петроград. Все дела отпали в сторону. Принялись за мобилизацию вооруженного пролетариата для отпора немцам.

Как только было опубликовано ленинское воззвание

«Социалистическое отечество в опасности», из арестных комнат Смольного пришли письма покушавшихся на жизнь Владимира Ильича и просивших отправить их на фронт на броневиках для авангардных боев с наседавшим противником.

Я доложил об этих письмах Владимиру Ильичу, и он в мгновение ока сделал резолюцию: «Дело прекратить. Освободить. Послать на фронт».

И что же дальше? Неужели несостоявшихся убийц Ленина комиссары отпустили на волю? Ведь их намерения не вызывали сомнений, и не убили они вождя лишь потому, что в машине оказался Платтен, который отвел в сторону голову Ильича и пулю принял на себя. Трудно в это поверить, но террористов отпустили — таким необъяснимым был «революционный зигзаг».

Сдержали ли слово чести господ офицеры, стали ли они, хотя бы из чувства благодарности за сохраненные жизни, борцами за рабочее дело и горячими сторонниками советской власти? Увы, но честь у них переродилась в выгоду, а благодарность в мстительность.

Капитан Зинкевич удрал в Сибирь и вступил в армию Колчака, где прославился неумемной жестокостью к попавшим в плен красноармейцам. Военврач Некрасов переметнулся к Деникину, дошел с белой армией чуть ли не до Москвы, а потом где-то затерялся. Вольноопределяющийся Мартянов ни винтовки, ни револьвера в руки больше не брал — его оружием стало перо. Эмигрировав за границу, он стал одним из самых злобных и последовательных врагов советской власти.

А вот подпоручик Ушаков, хоть и не стал большевиком, но от белых пострадал: колчаковцы бросили его в тюрьму и едва не расстреляли как коммуниста. Сбежав из тюрьмы, Ушаков, назло бывшим коллегам-офицерам, вступил в Красную Армию и воевал до самого конца Гражданской войны. Впечатлений было так много, что, демобилизовавшись, Ушаков начал писать. Когда ему предложили написать воспоминания о покушении на

Ленина, он это сделал. Печатать их, конечно, не стали, но рукопись сохранилась, и только благодаря этому появилась возможность рассказать правду о первом покушении на Ленина, когда мишенью был затылок Ильича.

А что же главный герой этой истории — Фриц Платтен? Какова его судьба? Какова судьба человека, которому большевики обязаны всем — и появлением в России, и спасением своего вождя? Ответ на этот вопрос есть. Он настолько отвратительный, дурно пахнущий, печальный и трагичный, что поверить в него не просто трудно, а невозможно. Но все, что я расскажу, правда — беспощадная и неприкрашенная правда.

## **Глава 6**

### **Шпион одного из иностранных государств**

Итак, передо мной дело № 3156, извлеченное из недр Центрального архива НКВД — КГБ, а ныне ФСБ. Заведено оно 10 марта 1938 года, и хранить его надлежало вечно. Вот и хранили, да так тщательно, что о судьбе Платтена никто ничего не знал. Как и все подобного рода дела, оно открывается справкой на арест, подписанной двумя сотрудниками НКВД и утвержденной заместителем наркома внутренних дел Леонидом Заковским.

Подлинная фамилия этого человека Штубис. Чекистом этот латышский парень стал еще в 1917-м и, пока дорос до столь высокой должности, дров наломал немало. А уж крови пролил! Такое усердие не осталось незамеченным: достаточно сказать, что кроме орденов он бы удостоен престижнейшего знака «Почетный чекист ВЧК—ГПУ» под № 14. Не исключено, что Генрих Штубис дожил бы до седины и крови пролил бы не реки, а моря, но... вмешались высшие силы. Дело Платтена было его последним делом: через полтора месяца его арестовали и вскоре расстреляли.



Никакой связи с делом Платтена этот приговор не имеет. Все объясняется проще: слишком старательный Штубис попал под одну из показательных чисток, которые партия время от времени проводила в своих силовых структурах. В глазах народа такие акции выглядели как восстановление попорченной справедливости. Сталин, мол, не знал, что вытворяют эти распоясавшиеся энкавэдэшники, а теперь узнал и наказал. Кстати говоря, таких «наказанных» было более 70 тысяч: прежде чем приступить к массовым репрессиям, Сталин основательно почистил органы НКВД. Под горячую руку попали не только люди типа Штубиса, но и цвет нашей разведки и контрразведки: Артузов, Трилиссер, Давтян.

Кто заполнял вакансии? Полуграмотные выскочки. В НКВД шли никчемные инженеры, дрянные фрезеровщики, спившиеся кавалеристы и прочис любители покуржится над беззащитными людьми. Ну разве наденет форму энкавэдэшника хороший инженер, высококвалифицированный рабочий, первоклассный танкист или известный летчик? Да ни за что на свете — им интересно их дело. А вот всякого рода неудачники и недоучки не просто шли, а рвались в НКВД. Уж там-то они получали беспредельную власть над цветом нации, над людьми, которые раньше и руки бы им не подали.

Именно к таким инквизиторам и заплечных дел мастерам попал Фриц Платтен. Об уровне их профессионализма не просто говорит, а вопиет самый первый документ дела № 3156 — та самая справка на арест, подписанная тремя высокопоставленными сотрудниками НКВД: старшим лейтенантом Селивановым, майором Столяровым и комиссаром госбезопасности 1-го ранга Заковским:

«Платен Фриц Петрович, 1883 года рождения, беспартийный, уроженец г. Берлина, немец, преподаватель педагогического института иностранных, проживает по ул. Горького 81 кв. 13.

По данным 5 отдела УНКВД МО Платен Фриц Петрович подозревается в шпионаже в пользу одного из иностранных государств.

. . . . .

Платен в 1923 году прибыл в СССР из Германии как политэмигрант. В Москве имеет большой круг знакомых среди иноподданных. Поддерживает письменную связь с лицами, проживающими за границей. Жена Платена Ф. П. в 1937 году арестована органами НКВД и осуждена за шпионаж.

На основании вышеизложенного Платен Ф. П. подлежит аресту».

Чудовищнейший документ! Мало того, что переврали фамилию, место рождения и национальность, энкавдэшники даже не знали, откуда он прибыл в СССР. А чего стоит фразочка «подозревается в шпионаже в пользу одного из иностранных государств»? Какого именно? И где доказательства? Впрочем, тогда рассуждали просто: был бы человек, а статья найдется. Найдутся и доказательства. А не найдутся, так подследственный придумает сам и такого на себя наговорит, что и не снилось.

Свое дремучее невежество и, если хотите, леность, порожденную бездарностью и безнаказанностью, все эти майоры, лейтенанты и генералы даже не пытаются скрасить или, хотя бы для проформы, спрятать концы в воду. Буквально через страницу подшита анкета арестованного, где фамилия пишется уже через два «т», и родился он, оказывается, в Швейцарии, и подданство у него швейцарское, и в Союз приехал оттуда же. Правда, рядом есть еще одна справка, выданная ОВИРом, в которой говорится, что «5 июля 1938 года протоколом ВЦИКа № 2 Платтен принят в гражданство СССР».

Бред какой-то! Или во ВЦИКе не знают, что с 10 марта Платтен находится за решеткой, — а это в принципе исключено, или его приняли в гражданство СССР для того, чтобы намотать срок на полную катушку — по отношению к гражданину СССР это сделать проще, чем по отношению к иностранцу.

Зная прошлое Платтена, зная его жизненный опыт, характер и непростую судьбу, я был просто поражен его

безволием: на первом же допросе, когда у него потребовали признания в шпионаже в пользу неведомо какой страны, Платтен с ходу заявил:

— Да, признаю. Я действительно по день ареста являлся агентом польской разведки.

— Кто и когда вовлек вас в шпионскую деятельность?

— Черт его знает кто! Какой-то чиновник польской жандармерии. Он не представился. А было это в феврале 1932 года. Я тогда возвращался из Швейцарии, куда ездил по спецзаданию Коминтерна.

— О спецзадании поговорим позже, а сейчас расскажите, как этот поляк вас вербовал.

— Да не вербовал он вовсе. Просто этот жандарм и еще двое в штатском предъявили мне обвинение в том, что с 1918 по 1920 год я вел борьбу с Польшей, что все это время меня искали и что теперь меня должны арестовать и предать суду.

— Они вас арестовали?

— Я не мог этого допустить. Меня ждали в Москве с отчетом о выполненном спецзадании. Поэтому я сделал вид, что очень испугался и готов на любой компромисс. А компромиссом было предложение давать некоторые сведения об СССР. Почему-то их интересовали материалы о развитии сельского хозяйства. Я согласился.

— Вы давали какие-нибудь подписки, расписывались под обязательствами?

— До этого не дошло. Им было достаточно моего устного согласия.

— И что же дальше?

— А дальше они меня отпустили, и я благополучно доехал до Москвы.

— Пароли, явки, связи вы обговорили?

— Ну, как же без этого?! Конечно, обговорили. Я дал им свой московский адрес, и мы договорились, что, когда ко мне явится агент польской разведки, назовется Станиславом и произнесет пароль «Гельвеция», я должен буду выполнять все его указания и передавать ему подготовленные материалы.

— Он явился?

— Да, осенью 1933 года ко мне на квартиру явился неизвестный мне человек, назвался Станиславом, сказал пароль и потребовал сведений. В силу того, что я их не подготовил, мы договорились, что недели через три он позвонит по телефону. Через три недели мы встретились у Большого театра, и я ему передал сконцентрированный материал.

— Что за материал? Где вы его взяли? Кто вам помогал?

— Помогала мне библиотека. И взял его из газет, — впервые улыбнулся Платтен.

— Как это — из газет?

— Да очень просто. В газетах, особенно провинциальных, довольно много пишут об успехах коллективизации, о колхозном и совхозном строительстве, о видах на урожай, о приплоде телят, о методах борьбы с саранчой и, конечно же, о стахановцах, ударниках и других передовиках.

— Станислава эта информация устроила?

— Еще как! Он мне даже заплатил.

— Сколько?

— Сто пятьдесят рублей.

— Это была единственная встреча?

— Ну что вы! Мы с ним встречались в кафе на Страстном бульваре, потом у памятника Пушкину — всего у нас было четыре встречи. Потом он куда-то исчез, и с конца 1935 года никто из агентов польской разведки мне не звонил и домой не заходил.

Попробуйте перечитать протокол этого допроса еще раз, и вы увидите и откровенные издевки Платтена, и «лапшу», которую он вешает на уши допрашивавшего его младшего лейтенанта Шеина, и скрытые насмешки. Ну какой шпион в качестве явки станет использовать свою квартиру? Какой разведчик будет передавать документы в таких людных и постоянно прочесываемых «наружниками» из НКВД местах, как Большой театр или Пушкинская площадь?

А чего стоят «шпионские сведения» о видах на урожай или приплоде телят, почерпнутые из газет?! Следовательно Шеин все это тщательно записывал, задавал уточняющие вопросы, и Платтен поверил, что перед ним зеленый

мальчишка, которого он запросто переиграет и которому ничего не останется, как, извинившись, отпустить его домой.

Но Шеин, хотя и был всего лишь младшим лейтенантом, дело свое знал. До поры до времени он играл с Платтенom в поддавки и ждал момента, когда подследственный расслабится, потеряет бдительность и поверит в скорое освобождение. Такой момент наступил 4 апреля.

— Значит, вы говорите, что с конца 1935 года никто из агентов польской разведки вам не звонил и домой не заходил? — начал издалека Шеин.

— Увы, но это так, — развел руками Платтен, надеясь, что допрос на этом и закончится.

— Назовите лиц, с которыми вы имеете тесную связь и которые в настоящее время арестованы органами НКВД, — резко изменил тему Шеин.

— Лиц? Арестованных? — смешался Платтен. — При чем тут эти лица?

— Вопросы здесь задаю я! — прихлопнул тощенькую папку Шеин. — Не забывайте, где вы находитесь, и отвечайте на поставленные следствием вопросы. И еще! — резко наклонился он над столом и впился в глаза Платтена. — Изворачиваться, вертеть вола и крутить хвостом не советую, следствие этого терпеть не будет. Я ведь могу прибегнуть и к другим мерам воздействия. Не вынуждайте меня к этому, подследственный, ох не вынуждайте! Вы меня поняли?

— Понял. Я все понял, — схватился за неожиданно разболевшуюся руку Платтен. — Я назову. Назову всех арестованных лиц, с которыми имею, вернее, имел тесную связь. Прежде всего, это жена — Платтен-Циммерман Берта Георгиевна. Она арестована в июле 1937-го. Затем литовский инженер Камбер. Потом Абрам Мендельсон, с которым я познакомился в Берлине семь лет назад — он тогда был служащим советского торгпредства. Еще швейцарец Ян. Его я знал как сотрудника секретного отдела Коминтерна. Все они арестованы в начале этого года.

— Назовите страны, в которых вы проживали.

— Кроме Швейцарии это Италия, Австрия, Финляндия, Румыния, Латвия, Литва и Германия.

— В каком году вы приехали в СССР на постоянное жительство?

— В 1923-м. Я прибыл вместе с группой переселенцев в составе сельскохозяйственной артели «Солидарность».

— Сколько раз вы арестовывались, судились и отбывали наказание?

Сухой язык протокола улыбок не фиксирует, но наверняка, отвечая на этот вопрос, Платтен победоносно усмехнулся и снисходительно посмотрел на безусого лейтенантика.

— Это было неоднократно. Три раза в Швейцарии, затем в Литве, Латвии, Румынии, Финляндии и Германии. Из одних тюрем я бежал, из других отпускали под залог, бывало и так, что обменивали — так случилось в Финляндии, где меня обменяли на белофинских офицеров.

А потом пошел так называемый конвейер: допросы продолжались круглыми сутками, следователи менялись, а от измученного Платтена требовали не только подтверждения предыдущих показаний, но и новых данных о друзьях, знакомых и совсем незнакомых людях. Выяснив, что почти двадцать лет Платтен был не просто социал-демократом, но и коммунистом, что в партии занимал самые высокие посты, следователи подошли к одному из самых главных вопросов.

— По какой причине в августе 1937 года вы были исключены из рядов ВКП(б)?

— Это случилось в связи с арестом моей жены, — вытер повлажневшие глаза Платтен. — Она работала в Коминтерне, выполняла ответственные задания, а потом... за ней пришли. Был суд. Она получила большой срок за то, что являлась не только троцкисткой, но еще и шпионкой — английской и германской одновременно. Бред какой-то! Бред и чушь! — неожиданно для себя вспыхнул Платтен. — Моя Берта — шпионка?! — кричал он. — Вы можете в это поверить? — грозно вопрошал он Шеина.

— Могу, — понимающе усмехнулся следователь. — Раз советский суд принял такое решение, значит, так оно и есть.

— Я этому не верю, — тяжело вздохнул Платтен. — Произошла ошибка. Трагическая ошибка. Ведь бывают же такие ошибки, а?

— У нас есть кому разбираться с ошибками, — выразительно посмотрел на потолок Шеин. — А пока что я жду ответа на вопрос: за что вас исключили из партии?

— За притупление политической бдительности и за неразоблачение жены, — криво улыбнулся Платтен. — Как вам формулировочка? Выходит, что я должен был днем и ночью следить за Бертой, записывать ее реплики, анекдоты, высказывания по поводу длинных очередей и грязных улиц, а потом отнести эти бумаги в НКВД. За кого они меня держат? Я же мужчина, а не какая-нибудь тряпка. Неужели я не смог бы поставить свою жену на место, если бы заметил в ее поведении что-нибудь неподобающее!

Младший лейтенант Шеин перебирал какие-то бумаги — это были ответы различных инстанций на его запросы — и вдруг удивленно воскликнул:

— Гражданин Платтен, а из партии-то вас, оказывается, исключали дважды!

— Как это — дважды? — не понял Платтен.

— Вы апелляцию в вышестоящие партийные органы подавали?

— Подавал.

— Так вот, ваша апелляция была удовлетворена: в партии вас восстановили, правда, со строгим выговором.

— Я всегда верил в объективность ВКП(б) и мудрость ее руководителей, — не терпящим возражений тоном заявил Платтен и гордо выпрямил спину.

— Но это еще не все, — поднял указующий перст Шеин. — Когда вас арестовали, вы были коммунистом, точнее, снова стали коммунистом. Хоть и с выговором, но коммунистом. Коммунист под следствием — это недопустимо! Поэтому, по установившейся практике, людей, попавших в наше ведомство, сперва исключают из партии, потом мы доводим дело до конца и передаем его в

суд. Так что на скамье подсудимых не было, нет и не будет ни одного коммуниста. Это вам понятно?

— А если суд оправдает? Если выяснится, что человек был арестован по навету, что перед партией и перед законом он абсолютно чист, — что тогда?

— Я таких случаев не знаю, — пробормотал вполголоса Шеин и достаточно громко, так, чтобы слышал Платтен, сказал: — Тогда — снова апелляция. Но вернемся, извините за выражение, к нашим баранам. Вот выписка из решения Красногвардейского райкома партии от 22 марта 1938 года, — потряс он какой-то бумажкой, — за подписью первого секретаря Степаненко. Здесь черным по белому написано: «Платтена Ф. П. как врага народа, арестованного НКВД, из рядов ВКП(б) исключить».

Платтен покрылся холодным потом, натужно закашлялся, вцепился в схваченное спазмом горло и рухнул на пол.

— Врача! — закричал Шеин. — Быстрее! Он мне нужен живым.

Три дня Фриц Платтен приходил в себя. А потом снова пошел конвейер. Не без некоторой доли сочувствия следователи отметили, что после испытанного потрясения Платтен стал гораздо сдержаннее, он уже не улыбался, не шутил, на вопросы отвечал односложно и, прежде чем расписаться под протоколом допроса, вчитывался в каждую фразу. Например, 13 декабря из него всю ночь тянули жилы, добиваясь ответа на вопрос:

— Откуда у вас бинокль (так в протоколе. — Б. С.) и фотоаппарат?

— Я уже три раза говорил, что и то и другое приобрел в Швейцарии, — устало отвечал Платтен.

— Зачем? Что вы фотографировали? И что разглядывали в бинокль?

— Ничего я не разглядывал. И ничего не фотографировал, так как к фотографии не имею никакого интереса.

— А где пленки? Во время обыска у вас не нашли ни одной пленки. Кому вы их передали? И что на них было?



— Пленки не нашли потому, что я не фотографировал, а не потому, что кому-то передал. Что касается бинокля, то я вообще о нем забыл: он валялся на антресолях, и я его оттуда никогда не доставал.

— К находкам в вашей квартире мы еще вернемся, — многозначительно пообещал следователь. — А пока что меня интересует, имеете ли вы специальное образование по аграрным вопросам?

— Нет, не имею, — односложно бросил Платтен. — Но, подумав, добавил: — Хотя в результате большой практики организационно-политической работы в сельскохозяйственных кооперативах Швейцарии я приобрел широкие познания в этой области.

— Именно поэтому вы руководили «Солидарностью»?

— Да, — не без гордости ответил Платтен. — С 1923 по 1930 год я был председателем этой сельскохозяйственной артели, организованной в СССР из швейцарских политэмигрантов.

— И как шли дела?

— Отлично.

— Тогда почему вы перешли на преподавательскую работу в Аграрный институт?

— Меня попросили поделиться опытом со студентами, которым предстояло организовывать работу в создаваемых тогда колхозах.

— Однако через два года вы ушли в Институт иностранных языков. Почему? И кто оказывал содействие в устройстве на работу?

Следователь думал, что сумел ловко расставить ловушку, уж в нее-то Платтен попадет, назвав имена покровителей. Но Платтен мгновенно умерил его пыл.

— В институт я был рекомендован Киевским райкомом ВКП(б), — ответил он.

— А кто вам дал рекомендации на предмет оформления советского гражданства? — зашел с другой стороны следователь.

— Инженер Мендельсон и инженер Гольдштейн. И с тем и с другим я знаком по партийной работе в Берлине.

— Что вам известно об их антисоветской деятельности, а также об аналогичной деятельности других ваших знакомых?

— Ничего! — отрезал Платтен.

Конвейер продолжался... Следователи надеялись без особого труда сломать немолодого больного человека, но перед ними был не инвалид, а богатырь, зубр, который оказался им не по зубам. Чем глубже они забирались в биографию Платтена, тем больше в этом убеждались. К тому же всплывали такие имена и такие детали истории страны, что у них зябко передергивало плечи. А прочитав все показания подследственного, они убоялись содеянного и... выдрали из дела более сорока страниц, уничтожив при этом и фотографии. Как и все остальное, сделано это грубо и топорно: например, фотографии, скорее всего, сожгли, а конверты из-под них, да еще с подписями, остались.

— При каких обстоятельствах вы были арестованы в Финляндии? — решил переменить тему следователь.

Платтен откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и, барабанив пальцами по колену, устремил взгляд в недалекое прошлое.

— Это было в 1919-м, — начал он. — После первого конгресса Коминтерна я получил задание доставить материалы конгресса шведским коммунистам. Кроме того, по личному поручению Ленина я должен был передать золотую валюту и бриллианты на оказание помощи компартии Швеции. Так как незадолго до этого я сопровождал спецвагон, в котором ехал Ленин, меня там хорошо знали. Риск ареста был слишком велик, поэтому я взял с собой внешне неприметную швейцарскую комсомолку Боллигер. Так оно и случилось: полиция охотилась за мной, я, как вы понимаете, от ее агентов особенно-то и не прятался — и в конце концов меня арестовали. Пока за мной следили, а потом допрашивали, финская «наружка» стала менее плотной. Что и требовалось доказать! Пока возились со мной, товарищ Боллигер спокойно выполняла задание, передав документы, золото и бриллианты по известному ей адресу.

Можно себе представить полуобморочное состояние следователей.

Ленин... вагон... бриллианты... золото. Кошмар какой-то! Разве мог самый святой из святых отправить золото каким-то сытым шведам, когда в России голод, холод и разруха?! Ведь шел 1919 год. Деникин, Колчак и Юденич, кажется, вот-вот возьмут Москву и Петроград, народ умирает сотнями тысяч, а в Кремле, оказывается, полно бриллиантов, которые за здорово живешь отдают каким-то шведам.

Рехнуться можно! Ведь на эти бриллианты можно было купить горы хлеба и спасти от голодной смерти тысячи пролетариев и верных советской власти крестьян. Нет-нет, не было этого! Не было и не могло быть! А этот то ли немец, то ли швейцарец врет: не был он в Финляндии и кощунственного задания Ленина не выполнял!

Выполнял, товарищ следователь, выполнял. И эта страница протокола, к счастью, сохранилась. Сохранилась и другая страница показаний Платтена — тех, которые он давал уже на суде. И оглашенные им факты так поразили судей, что в конце концов повлияли на приговор.

— Как долго вы находились в финской тюрьме? — придя в себя, уточнил Шеин.

— Пустяки, всего четыре месяца, — как бы между прочим бросил Платтен. — Хотя, если бы не наша предусмотрительность, проявленная при составлении плана поездки, я мог бы застрять там и на несколько лет. Мы все рассчитали и на всякий случай держали под арестом несколько офицеров белофинской армии. Когда товарищ Боллигер вернулась в Москву и доложила о выполненном задании, началась вторая фаза нашего плана: финской стороне было предложено обменять меня на финских офицеров. Раздумывали в Гельсингфорсе недолго — через неделю я был в Москве.

— А что это за история с вашей гибелью в результате аварии самолета?

— Гибелью? — усмехнулся Платтен. — Тогда кто же сидит перед вами?

— Фантом, — решил показать свою ученость Шеин. — Я привык верить документам, а это сообщение итальянского агентства «Аванти» от 27 июля 1919 года, опубликованное в швейцарской газете, вполне надежный документ. Прочитать?

— Ну-ка, ну-ка, — оживился Платтен. — С итальянцами я не общался. Интересно, что они обо мне насочиняли? Кстати говоря, а где вы взяли швейцарскую газету, да еще за 1919 год?

— Работаем, — скромно потупил глаза Шеин. — А вы думали, мы тут ши лаптем хлебаем?

— Нет-нет, я так не думаю, — торопливо ответил Платтен. — Тем более что вы действительно нашли то, о чем я не думал и не гадал.

— Так вот что там написано, — поднес Шеин к глазам машинописный перевод. — «Милан, 27 июля. «Аванти» получило от своего специального корреспондента в Вене сообщение о гибели швейцарского социалиста Платтена.

Корреспондент агентства узнал об этом от Тибора Самуэли. Последний рассказал, что месяц тому назад он вылетел на одноместном самолете, а Платтен летел вслед за ним на другом. Оба самолета летели вместе в течение двух часов, затем аэроплан Самуэли попал в густой туман, и он потерял из виду другой самолет.

Самуэли полагает, что Платтен и его пилот трагически погибли».

Ну, подследственный, что вы на это скажете?

— Скажу, что ни я, ни пилот не погибли. Хотя, как я подозреваю, хотели этого многие. Забегая вперед, скажу, что я-то уцелел, а вот Самуэли погиб: он был убит при переходе австрийской границы.

— А кто он такой, этот Самуэли?

— О-о, Тибор — это романтик революции, это кристальной честности человек. В Первую мировую он сражался в составе австро-венгерской армии, попал в русский плен, после Октября стал одним из организаторов венгерской компартии. Я с ним познакомился в мае 1919-го, когда он вел переговоры с Лениным.

— Переговоры? С Лениным? — несколько опешил следователь. — Вы не ошиблись? О чем мог говорить вождь мировой революции с каким-то пленным венгром?

— Да все о том же, — Платтен переменил позу и бросил снисходительный взгляд на Шеина, — о мировой революции. Вы, должно быть, не знаете, что с 21 марта по 1 августа 1919 года существовала Венгерская советская республика, что все это время власть принадлежала рабочим, что были национализированы все шахты, банки и заводы, что было введено бесплатное образование, восьмичасовой рабочий день и, самое главное, заключен союз, в том числе и военный, с Советской Россией. Только что созданная венгерская Красная армия нуждалась в оружии, боеприпасах и военных советниках. 1919-й был непростым и для Советской России, венгры это понимали, но без серьезной помощи Москвы им было не обойтись.

Тибор занимал должность заместителя наркома обороны, и кому, как не ему, вести переговоры об оказании военной помощи! Для этого он и прибыл в Москву. Ленин обещал ему всестороннюю помощь, а для изучения обстановки на месте послал в Будапешт меня. Так мы оказались в одной авиационной связке: он летел на одном самолете, я на другом. Но до Будапешта долетел только он: в тумане мой пилот сбился с пути, к тому же у нас кончился бензин, и он совершил вынужденную посадку на каком-то поле.

Как оказалось, мы сели на территории Румынии, которая воевала против Венгерской республики. Нас тут же арестовали и доставили в Бухарест, вернее не в Бухарест, а в Жилияву.

— Жилиява? — обернулся к карте Шеин. — Здесь такого города нет.

— Конечно нет, — потер разболевшуюся грудь Платтен. — Потому что это не город, а крепость. Тюремная крепость, вроде нашей Бутырки или «Крестов».

— И что же Жилиява? — не скрывая профессиональной заинтересованности, полюбопытствовал Шеин.

— Мерзость, гнусность, грязь и свинство! — презрительно скривился Платтен. — Как вы знаете, я побывал

во многих тюрьмах, но такого скотства и такой жестокости до сих пор не встречал.

— Чего они от вас хотели?

— Прежде всего, выяснить, кто я такой. Первое время я выдавал себя за второго пилота того злосчастливого самолета, но, когда задали несколько профессиональных вопросов, я поплыл — в устройстве аэроплана я разбирался не лучше, чем в китайской грамоте. Но так как паспорт у меня был швейцарский, в котором значилась моя подлинная фамилия, румыны запросили сперва Берн, а потом почему-то Стокгольм, чтобы выяснить, кто же он такой, этот выдающий себя за летчика Платтен.

— Выяснили?

— И довольно быстро. Из Стокгольма ответили: «Близкий человек к Ульянову-Ленину. Член президиума Исполкома Коминтерна. Ему поручено вести коммунистическую пропаганду не только в Швейцарии, но также во Франции и Италии». Спасло меня то, что в этой справке не упоминалась ни Венгрия, ни Румыния, а то бы по закону военного времени отдали в руки трибунала. Когда следователь сигуранцы прочитал эту бумагу, я понял, что расстрел мне не грозит, и тут же объявил голодовку. Из нее меня быстро вывели. Тогда я объявил голодовку повторно! Снова вывели. И так четыре раза. Я уже готовился к пятой голодовке, когда ворота тюрьмы совершенно неожиданно распахнулись.

— Вас опять на кого-нибудь обменяли? — съехидничал Шеин.

— Нет, — не заметил этого Платтен. — Как ни трудно в это поверить, меня освободили румынские рабочие.

— Как это? — недоверчиво отложил карандаш следователь. — Не хотите же вы сказать, что они с оружием в руках ворвались в крепость и как триумфатора на руках вынесли вас за ворота?

— Оружие не понадобилось. — Платтен снова сделал вид, что не заметил издевки. — Пролетарии не так глупы, чтобы подставлять свои головы под пули сигуранцы. Уже будучи на воле, я проведал, что рабочие, узнав о грозящем мне расстреле — а такие слухи по Бухаресту ходили,

пригрозили всеобщей забастовкой, которая парализует страну. Власти решили, что моя голова таких жертв не стоит, и выдворили из Румынии в двадцать четыре часа. К сожалению, эти слухи имели и печальные последствия, — погрузился Платтен. — Одни газеты писали, что я разбился на самолете, другие — что был расстрелян. Как-то доброхоты подкинули эти газеты моей жене, Ольге Корзлинской. Мы очень любили друг друга, очень... и вдруг такое сообщение. Ольга не захотела оставаться одна, она решила уйти за мной и выбросилась из окна.

— Погибла?

— Конечно, — обреченно вздохнул Платтен.

— Вы сказали, что власти Румынии выдворили вас в двадцать четыре часа. Куда? Вас отправили на родину?

— То-то и оно, что нет! — победоносно поднял палец Платтен. — Меня отправили на границу с Украиной и передали в руки Петлюры.

— Это еще зачем? — удивленно вскинул брови Шеин.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, как, впрочем, и на многие другие, мне придется время от времени прерывать плавный ход повествования и делать своеобразные вставки, которые я назову «Эпизодами». Дело в том, что многое из того, о чем расспрашивали Платтена, стало известно через много-много лет, так как ответы на эти вопросы хранились в секретных архивах и доступа к ним не имел никто. Теперь стальные двери архивов приоткрылись — и события восьмидесяти-девяностолетней давности стали выглядеть совсем иначе.

## ЭПИЗОД № 1

То, что творилось на Украине в начале прошлого века, напрямую связано с именем Симона Петлюры. Его отец, имевший несколько лошадей и занимавшийся извозом, решил хотя бы одному из своих девяти детей дать образование и отдал Симона в Полтавское духовное училище. Живой и любознательный подросток о карьере

священника и думать не думал, но он понимал, что без образования ничего путного в жизни не добьешься, и потому учился не за страх, а за совесть.

Ко всему прочему Симон был приличным скрипачом и руководил музыкальным кружком. Однажды, когда встречали знатного гостя, он сыграл не то, что надо, на увещевания архиерея ответил дерзостью — и из семинарии его вышибли. Переживал Симон недолго: он тут же вступил в Революционную Украинскую партию и вскоре стал таким неистовым националистом, каких ни до, ни после него не было. Его врагами стали москальи, то есть русские, и, конечно же, евреи. Идеалом государственного строя он считал Запорожскую Сечь, казаков — кровью нации, а Украину видел абсолютно независимой и никак не связанной с Россией.

Среднего роста, сухощавый, иногда просто костлявый, с бледным желтоватым лицом и синяками под глазами, с папиросой в тонких губах, на которых часто играла скептическая усмешка — так описывали его современники, — Симон мотался между Киевом, Екатеринбург, Львовом, Москвой и Петербургом, издавая журналы, редактируя газеты и... горячо поддерживая прокатившиеся по России еврейские погромы. Самый страшный из них, кишиневский, унес тысячи жизней, но ведь евреев вырезали целыми семьями и в Белостоке, Одессе, Ростове-на-Дону, и во многих других городах и поселках. Потом прогремело широко известное «дело Бейлиса» — по обвинению Менахема Бейлиса в ритуальном убийстве русского мальчика. Суд присяжных Бейлиса оправдал, но погромы не прекратились.

Как показало время, все эти ужасы были лишь прелюдией к попытке «окончательного решения еврейского вопроса». Многие считают, что эту формулу придумал Гитлер. Нет, ее автором является Петлюра, а Гитлер всего лишь последовательный продолжатель его чудовищной задумки. Кстати говоря, окончательное решение русского вопроса — тоже идея Петлюры, ведь русских он уничтожил не меньше, чем евреев.

Но до этого еще надо было дожить. Когда началась



война, Петлюра нашел способ не попасть на фронт и благополучно отсиделся тылу, работая в Союзе земств и городов. Но как только в Петрограде свергли царя, Петлюра тут же оказался в Киеве, принял участие в создании Центральной рады — это что-то вроде парламента — и стал военным министром Украины.

Своей главной задачей он считал создание украинской армии, то есть отрядов гайдамаков и вольных казаков, а потом — провозглашение независимой Украины. Это стало возможным лишь после октябрьского переворота и захвата власти большевиками. Некоторое время между Лениным и Петлюрой шла довольно лукавая дискуссия: с одной стороны, Ленин признавал право наций, в том числе и Украины, на самоопределение, а с другой — выдвигал условия, невыполнение которых грозило открытой войной. И все же 11 января 1918 года, сразу после разгона Учредительного собрания, Центральная рада провозгласила полную независимость Украины.

С этим было не согласно население промышленных районов Украины, которое ориентировалось на Россию. Украина раскололась надвое: в Киеве — Петлюра, а в Харькове — Советское правительство. Это привело к беспощадной братоубийственной войне. В этой ситуации Петлюра вел себя как кровавый маньяк и не бывало беспринципный политик. Например, после разгрома восстания в Киеве он лично руководил расстрелом рабочих завода «Арсенал».

А когда в Киев вошли красные части, он заключил с немцами сепаратный договор, по которому Германия признавала независимость Украины и обязывалась оказать ей помощь «в борьбе с большевизмом».

Но немцы сделали совсем не то, на что рассчитывал Петлюра: они разогнали раду и поставили у власти генерал-лейтенанта Павла Скоропадского, который обрел титул гетмана Украинской державы.

Петлюра оказался не у дел, начал бунтовать, его даже арестовали, но вскоре выпустили. После ноябрьской революции в Германии, когда немцы начали отвод своих войск с территории Украины, Петлюра снова оказался на

коне: с согласия германского командования гетмана Скоропадского свергли, а в Киеве была образована так называемая Директория, фактическим руководителем которой стал Петлюра.

Это был самый дикий, самый мрачный и самый кровавый период в истории Украины. Профсоюзы были разогнаны, а их руководители расстреляны. Запрещены какие-либо съезды и собрания: заслушивание — расстрел. Коммунистов — без суда и следствия к стенке. Преподавание русского языка — запрещено. Самая великая нация — украинская, поэтому украинцы должны жениться только на украинках. Великая соборная Украина будет простираться от моря до моря, включая Бессарабию, Дон, Кубань, а также Воронеж, Курск и другие города России. Жить в этой стране будут только украинцы. Поэтому всех евреев — к стенке! Всех русских, которые смотрят в сторону Москвы и сочувствуют большевикам, тоже к стенке!

Что тут началось! Невинная кровь реками лилась в городах и селах. По малейшему подозрению людей хватали прямо на улице, врывались в дома и квартиры, детей убивали на глазах родителей, родителей вешали только за то, что их фамилия звучала не по-украински. Самое удивительное, эти зверства принимала, понимала и оправдывала интеллигенция. Вот что, например, писал в те дни известный не только на Украине, но и в России издатель и журналист Шульгин:

«По ночам на улицах Киева наступает средневековая жизнь. Среди мертвой тишины вдруг раздается душераздирающий вопль. Это кричат жида. Кричат от страха... Это подлинный непритворный ужас — настоящая пытка, которой подвержено все еврейское население. Русское население, прислушиваясь к ужасным воплям, вырывающимся под влиянием этой «пытки страхом», думает вот о чем: научатся ли евреи чему-нибудь в эти ужасные ночи? Поймут ли они, что значит разрушать государства, которые они не создавали? Поймут ли, что значит по рецепту «великого учителя Карла Маркса» натравливать один класс против другого? Поймут ли, что такое социализм, из лона которого вышли большевики?»

На фронте петлюровская армия терпела поражение за поражением: в январе 1919-го красные взяли под контроль все левобережье Украины. Но правобережье было в руках осатаневших петлюровцев. Свою злобу они стали вымещать на мирных людях.

Начали с Житомира, где рабочие и часть солдат пытались восстановить Советы. Погром был настолько чудовищный, причем учинен он был на глазах Петлюры, что возмутилась даже его личная гвардия, так называемые «синежупанники»: одна из самых надежных рот в полном составе сдалась в плен и перешла на сторону красных. Потом погром перекинулся в Бердичев, оттуда — в Проскуров и, наконец, в Фастов. Проскуровский погром был даже удостоен специального сообщения Бюро украинской печати:

«Погром, устроенный двумя полками запорожских пластунов, продолжался два дня. 17 февраля были вырезаны поголовно улицы Александровская и Аптекарская, причем не щадили женщин и детей. Некоторые из запорожцев забавлялись резней, заставляя еврейских мальчиков бежать под угрозой смерти, а затем догоняли верхом на лошади и рубили шашкой. Погибло, по словам коменданта города, около четырех тысяч человек, среди них половина русских».

Еще более ужасное сообщение пришло из Фельштина: там людей загоняли в здания и сжигали живьем, кроме того, применяли медленное сжигание, четвертование, вырезание букв и знаков на теле — всего было убито 480 человек и 120 сожжено.

Но изменить ситуацию на фронте эти зверства не могли. Поражение следовало за поражением, фронт разваливался, началось повальное дезертирство. По большому счету дни «Петлюрии», так иногда называли это самостоятельное мини-государство, были сочтены. Очередной столицей «Петлюрии» стал небольшой городок Каменец-Подольский. Петлюра знал, что Красная Армия готовится к решающему наступлению, что сил отразить это на-

ступление нет, и тогда у него созрел удивительный по наглости и простоте план.

Из газет он узнал, что в румынской тюрьме томится уважаемый всеми большевиками швейцарский коммунист Платтен — тот самый Платтен, который привез Ленина в Россию, а потом спас его от верной пули.

«Это именно тот, кто мне нужен!» — обрадованно воскликнул Петлюра и тут же накатал депешу в Бухарест, прося передать ему строптивного швейцарца.

Зная о патологической ненависти Петлюры к коммунистам, сотрудники сигуранцы охотно откликнулись на эту просьбу: если Платтена расстреляет Петлюра — это даже хорошо, румынские власти окажутся в тени и им не смогут предъявить претензии ни в Берне, ни в Москве.

А теперь вернемся на Лубянку, в кабинет следователя Шеина.

— Так зачем вы все-таки понадобились Петлюре? — продолжал допрос следователь.

— Я и сам не мог этого понять, пока он не предложил мне заключить джентльменское соглашение. Да-да, не удивляйтесь, именно джентльменское! — повысил голос Платтен, заметив, что Шеин удивленно вскинул брови. — Суть его заключалась в том, что он напишет послание Ленину, которое я должен передать из рук в руки, а потом с ответом вернуться назад. Так как мне позарез нужно было попасть в Швейцарию, в обмен на эту слугу он поможет мне добраться до Берна.

— И вы согласились?

— А что мне оставалось делать?!

— Так-так, — озабоченно почесал переносицу Шеин. — А с текстом он вас ознакомил? Или это была шифровка?

— Никакая не шифровка, а самое обыкновенное письмо. Что касается текста, то я даже приложил к нему руку, как, впрочем, и военный министр петлюровского правительства немецкий военный специалист фон Стайбле. Речь шла о прекращении кровопролития и о переми-

рии с Красной Армией. Дело, как вы понимаете, благородное, и я с энтузиазмом за него взялся. Был там и еще один, очень важный нюанс, на котором я настаивал особенно категорично: в эти дни наибольшую опасность для Советской России представлял Деникин, войска которого подошли чуть ли не к самой Туле. Так вот, Петлюра брал обязательство выступить против Деникина. Вы понимаете, как это важно? Деникину придется воевать на два фронта — это раз. Красная Армия снимет с Украинского фронта освободившиеся полки и бросит их во фланг Деникину — это два.

— И все-таки я не понимаю, почему Петлюра вам доверился. Ведь вы же коммунист, а его враждебное отношение к коммунистам стало притчей во языцех. Почему он вас не расстрелял?

— Потому что я ему был нужен. Никто, кроме меня, не мог передать его письмо в руки Ленина.

— Допустим... И как вы действовали дальше?

— Добравшись до Москвы, я немедленно явился к Ленину и передал ему послание Петлюры. Насколько мне известно, той же ночью по предложению Ленина ЦК партии принял решение заключить договор о перемирии с Петлюрой. Мне вручили соответствующий документ, и я отправился в Каменец-Подольский. Чтобы не было недоразумений, меня ознакомили еще с одной директивой. Я ее до сих пор помню, но при желании вы можете найти ее в партархиве: «Шифрованной телеграммой подтвердить коменданту Тульского укрепрайона Муралову наше согласие установить военно-деловой контакт с Петлюрой против Деникина, каковое поручение возложено на товарища Платтена».

— Решение ЦК дошло до адресата?

— Конечно. Я вернулся в Каменец-Подольский, вручил документ Петлюре, напомнил о нашем джентльменском соглашении — и он взялся помочь мне добраться до Швейцарии, где я должен был выполнить секретное задание Коминтерна. Но совершенно неожиданно я заболел: началось такое кровохарканье, что я приготовился к самому худшему. Украинские власти запросили Москву:

что, мол, с ним делать? Как я позже узнал, об этом доложили Ленину, и он приказал немедленно доставить меня в Москву. В полубессознательном состоянии я добрался до столицы, где по указанию Ленина мною занялись кремлевские врачи.

— А как же задание Коминтерна?

— Я его выполнил, но несколько позже.

— На сегодня все, — устало потянулся Шеин. — Подпишите протокол допроса. Правильно, подследственный, на каждой странице. Вижу, что опыт у вас есть, — мрачно пошутил он. — Наговорили вы мне, как в той пословице, с три короба. Мы ведь все проверим, и если окажется, что, ссылаясь на вождей революции, вы пытались ввести следствие в заблуждение, пеняйте на себя.

Проверка заняла три дня, вернее, трое суток. Все это время Платтена на допросы не таскали, а он уже так к ним привык, что набрасывал в уме конспект ответов на возможные вопросы.

«Полагаю, что прежде всего следователь захочет разобраться в дальнейшей судьбе Петлюры, — прикидывал он. — Знаю, что она трагична, но детали мне неизвестны».

Что ж, думаю, настало время помочь Фрицу Платтену. Для этого надо будет снова заглянуть в один из секретных архивов и приоткрыть стальные двери сейфа.

## ЭПИЗОД № 2

Заключение перемирия с Советской Россией не пошло Петлюре на пользу — его дела шли все хуже и хуже. И хотя он куролесил еще почти два года, в конце концов ему пришлось бежать за границу. Под псевдонимом Степан Могила он жил сначала в Польше, потом в Венгрии, Австрии, пока не добрался до Парижа. Несколько раз у него возникала мысль сдатьсь московским властям, разумеется, под гарантии безопасности, но таких гарантий никто не давал — уж слишком кровавый след оставил он на Украине. Петлюра успокоился и занялся издательской дея-

тельностью. Он понимал, что врагов у него более чем достаточно, что на свете немало людей, у которых есть к нему личные счеты, что за ним могут охотиться как чекисты, так и бывшие монархисты, поэтому вел себя предельно осторожно — в позднее время на улице не появлялся и даже обедать ходил в окружении своих соратников.

Но все это не помогло! Возмездие его настигло. К тому же удар пришелся с той стороны, откуда он меньше всего ждал. Погибнуть от руки агента ГПУ или монархиста-поручика — это еще куда ни шло. Но от руки еврея?! Сколько он их расстрелял, сколько сжег, сколько заживо закопал в землю! Выходит, что не всех? Выходит, что кто-то уцелел и посмел поднять руку на вождя незалежной Украины?

Да, все было именно так. Среди бела дня Петлюру убил Самуил Шварцбард. Он тут же сдался властям, и 18 октября 1927 года в парижском Дворце юстиции начался суд над убийцей Петлюры.

Шварцбард обвинялся в предумышленном убийстве, и ему грозила смертная казнь. Слушания продолжались восемь дней. За это время перед присяжными заседателями прошли сотни свидетелей, были изучены горы документов. Переполненный зал то гудел от возмущения, то одобрительно рукоплескал...

Не буду рассказывать, как мне это удалось, но я добыл стенограмму процесса. Этот документ настолько любопытен, настолько точно передает дух того времени, настолько беспристрастен и правдив, что имеет смысл его не пересказывать, а хотя бы частично привести в подлинном виде.

«Возле Дворца юстиции, в котором слушается дело Шварцбарда, толпится огромная очередь желающих попасть в зал суда. Многие стали в очередь еще с 5 часов утра. Внутри помещения устроен тройной полицейский контроль. Открывая заседание, председатель суда Флори предупреждает, что выражение вслух своих симпатий и замечаний воспрещается, а виновные в нарушении этого запрещения будут выведены из зала заседания. После этого председатель устанавливает личность обвиняемого.

— Я еврей, — говорит Шварцбард. — Имя — Шолом, или по-французски — Самуил, мне 39 лет. Родился в Смоленске. Во Франции живу с 1910 года. Во время войны служил в 1-м иностранном полку.

— Расскажите об обстоятельствах, которые привели вас к убийству Петлюры, — просит председательствующий.

— В 1925 году, в России, один рабочий, нееврей, только что вышедший из госпиталя, рассказал мне, что там вместе с ним находились на излечении несколько бывших петлюровских офицеров. Цинично, с каким-то садизмом они хвастали, что изнасиловали пять еврейских женщин. До этого я сам наблюдал так много зверств, что мне хотелось скорей их забыть, но рассказ рабочего заставил меня вспомнить, что эти зверства до сих пор не отомщены. С тех пор мной овладела настойчивая мысль, что необходимо убить виновника всех этих ужасов Петлюру. Из одной русской газеты я узнал, что Петлюра живет в Париже.

Я расспрашивал всех своих знакомых, где же точно находится Петлюра. С каким невыразимым презрением мне отвечали, что не хотят даже произносить имя этого человека. Однажды мне попала в руки его фотография, я ее захватил с собой и стал носить при себе револьвер. Но я хотел быть уверенным, что пуля попадет именно тому, кому она предназначена. 25 мая 1926 года я встретил этого садиста. Когда я увидел, что он выходит из ресторана на улице Расина, я посмотрел ему в лицо и крикнул: «Пан Петлюра?!» Он мне ничего не ответил. Но я был уверен, что это он, и снова крикнул: «Защищайся, негодяй!» Он опять ничего не ответил и замахнулся своей палкой. Тогда я выпустил в него один за другим пять зарядов.

Находившаяся поблизости публика страшно перепугалась и бросилась бежать. В лежавшего Петлюру я уже не стрелял, зная, что все пять пуль попали в цель и Петлюра ранен смертельно. Я отдал револьвер подошедшему полицейскому, а сбежавшей толпе объявил: «Я прикончил убийцу!» Узнав затем в комиссариате от полицейского, что убитый действительно Петлюра, я пожал полицейскому руку.



— Не действовали ли вы по поручению какой-нибудь политической группы?

— Нет! Я действовал совершенно самостоятельно. Но я исполнил долг истерзанного народа.

— Как же вы могли узнать, что Петлюра был подстрекателем погромов? Может быть, он сожалел о погромах? Может быть, он был другом евреев?

— Петлюра — друг евреев?! Да, пожалуй, такой же друг, как Тит или Торквемада. Это он приказывал убивать евреев. Когда он был в Житомире и его умоляли прекратить погром, он ответил: «К сожалению, я ничего не могу сделать». На его знаменах было написано: «Бей жидов, спасай Украину!»

— Но ведь Петлюра утверждал, что погромы провоцировали большевистские агитаторы, которые хотели этим дискредитировать независимую украинскую республику.

— Большевики этим не занимались. Я хорошо знаю, что погромы происходили только там, где побывал Петлюра со своими бандитами.

— Скажите, Шварцбард, вы служили в Красной Армии?

— В начале войны я вступил во французскую армию, чтобы сражаться с так называемым германским милитаризмом. Я перенес много страданий вместе с миллионами мучеников, одетых в солдатские шинели. Я не хотел возвращаться в царскую Россию, которая не была для меня родиной. Но русская революция вновь вернула мне родину. Тогда я вернулся в Россию. В русскую армию я был зачислен в сентябре 1917 года, когда Красная Армия еще не существовала. К тому же у меня открылась рана, полученная на французском фронте, и мне дали отпуск для лечения».

В последующие дни речь снова шла о погромах. Свидетель по фамилии Сафра рассказал, как в ночь на 31 августа 1919 года петлюровцы арестовали около трех десятков студентов, среди которых был и его сын. Когда отец побежал в штаб, чтобы узнать, в чем дело, ему заявили, что все арестованные жида отправлены в «небесный

штаб». Через несколько дней на загородной дороге нашли обглоданные собаками трупы молодых людей, в том числе и труп сына Сафры.

— Я нахожу, что убийство Петлюры было слишком мягким для него наказанием! — гневно заявил Сафра. — Я сам преследовал Петлюру, но я не хотел его убивать, ибо это слишком большая честь для него. Я хотел отомстить ему так, чтобы он терпел мучения всю свою жизнь.

Любопытно, что в качестве свидетеля-эксперта был вызван Максим Горький. По состоянию здоровья он не смог приехать в Париж, поэтому свои показания прислал в письменном виде. Вот что он, в частности, писал:

«По моему мнению, русский народ в массе своей антисемитизма не знает. Об этом красноречиво говорят такие факты, как некрещенные евреи, избираемые крестьянами некоторых сел Сибири в старосты, как дружеское отношение русских солдат к солдатам-евреям и т. д.

Мои наблюдения над еврейскими земледельческими колониями Екатеринославской губернии и над крестьянами Украины позволяют мне с полной уверенностью утверждать, что обвинение в антисемитизме не может быть предъявлено русскому народу в целом.

Грабежи еврейских городов и местечек, массовые убийства евреев — это входило в систему самозащиты русского правительства. Как известно, впервые они были широко применены в 80-х годах. Александр III заявил генералу Гурко: «А я, знаете, люблю, когда бьют евреев». Это не анекдот, а подлинные слова русского императора и это своеобразный прием борьбы против «внутреннего врага». В 90-х годах погромы повторялись еще более широко, цинично и ужасно. Напомню, что правительство Романовых разжигало племенную вражду не только между русскими и евреями, но и между татарами и армянами на Кавказе, чем вызвана была кровопролитная резня.

Но евреев грабили и убивали чаще, потому что они были ближе, под рукою, более беззащитны, и потому бить их было легче, удобнее. Били за участие в революционном движении.

Почти всегда в трудные для царского правительства дни евреи страдали особенно. Напомню травлю еврейства, поднятую позорнейшим процессом Бейлиса. В 15-м году началась бесстыднейшая пропаганда юдофобства в армии, все евреи Царства Польского и Галиции были объявлены шпионами и врагами России. Разразился гнуснейший погром в Молодечно...

В то время как правительство через полицию устраивало погромы и не мешало грабежам, убийствам, люди явно ненормальные занимались в печати проповедью ненависти к евреям. В Киеве это делал некто Шульгин, журналист, который, впрочем, заявил, что он «ненавидит и Его Величество русский народ». Как видите, это — сумасшедший. Лично я всегда считал и считаю проповедников расовой и племенной ненависти людьми выродившимися и социально опасными.

Вот условия, в которых создавались и воспитывались личности, подобные Петлюре. О его действиях суду расскажут документы, они достаточно ярко освещают кровавую деятельность бандитских шайек, которыми он командовал. Мне нечего добавить к документам, неоспоримость которых я знаю.

16-го октября.

Сорренто».

Среди свидетелей защиты числился и Альберт Эйнштейн, но картина была настолько ясной, что показания Нобелевского лауреата не понадобились. А вот одного из старейших деятелей сионизма, председателя еврейского национального собрания Владимира Темкина суд выслушал.

— Стоя в двух шагах от гробовой доски, я клянусь, — сказал он, — что Петлюра ответственен за погромы на Украине. В погромах повинен не украинский народ, а Петлюра.

Казалось бы, у обвинения нет никаких шансов поставить Шварцбарда к стенке, но прокурор и не думал сдаваться. Совершенно неожиданно он заявил, что

Шварцбард агент ЧК и Петлюру убил по заданию Москвы.

Что тут началось! Одни требовали доказательств, другие кричали, что большевики проникли во все поры жизни и даже во Дворец юстиции, третьи настаивали на аресте какого-нибудь официального представителя Москвы. Спас ситуацию один из адвокатов защиты.

— Я никогда не пришел бы сюда защищать большевика, — заявил он. — Я клянусь, что Шварцбард не агент ЧК. Вот копия письма Бурцева, поданного вчера прокурору. Бурцев, который известен как заклятый враг большевиков, ручается, что Шварцбард никакого отношения к большевикам и ЧК не имеет.

И вот, наконец, наступил восьмой день процесса. Приведем текст расшифрованной стенограммы, который написал человек, обладающий несомненными журналистскими способностями:

«Уже с утра площадь перед зданием суда загромождена тысячами людей, жаждущими попасть на процесс. Откуда-то появляются усиленные наряды жандармов, оттесняющие толпу. Шпалеры жандармов занимают коридоры и все двери. Все кулуары во Дворце юстиции переполнены народом. В зале суда творится нечто невообразимое. Присяжные заседатели удаляются на совещание. Но перед этим с блестящей речью к ним обратился адвокат Торрес. Вот что он, в частности, сказал:

— Мы знаем, что осудить Шварцбарда хотя бы на один день тюрьмы — это значит оправдать все погромы, все грабежи, всю кровь, пролитую погромщиками на Украине. Шварцбард несет на своем челе печать великих страданий. Сегодня здесь, в городе Великой французской революции, судят не Шварцбарда, а погромы. Речь идет о престиже Франции и о миллионах человеческих жизней. Если вы хотите помешать каким-нибудь погромам в будущем, то Шварцбард должен быть оправдан, и я клянусь, что этот человек уйдет отсюда свободным, ибо я вижу, что вы поняли ответственность, лежащую на вас. Во имя тысяч и тысяч распятых, во имя мертвецов, во имя оставшихся в живых я заклинаю вас оправдать этого человека.

Во время этой речи многие присутствующие среди публики и некоторые присяжные плачут.

Совещание присяжных заседателей продолжалось 20 минут. Но вот раздаются два резких звонка. Присяжные медленно занимают свои места. Наступает гробовая тишина. Слово берет старшина присяжных заседателей.

— По велению души и совести, — торжественно говорит он, — мы, присяжные заседатели, на все пять поставленных вопросов отвечаем: «Нет, не виновен».

Зал приходит в неистовство. Буря аплодисментов проносится по всем скамьям. Толпа с криками и восторженными воплями, подбрасывая вверх шляпы, устремляется, опрокидывая на своем пути скамьи и барьеры, к Торресу и Шварцбарду. Людской поток мчится к ним, буквально сметая все на пути. Видно, как Торрес со слезами на глазах обнимает и целует Шварцбарда. Какие-то адвокаты, женщины, взволнованные и сияющие мужчины давят в своих объятиях Шварцбарда.

И вдруг весь этот шум и гвалт перекрыл ликующий голос председателя:

— Самуил Шварцбард, вы свободны!

А потом почему-то добавил:

— Да здравствует Франция!

Так закончился этот политический процесс, вошедший в историю под названием «Дело об убийстве Симона Петлюры».

Допросы Платтена между тем продолжались... В начале 1939-го его переводят в достославное Лефортово и с рук на руки передают другому следователю. Но вот что странно: на первом же допросе следователь задал необъяснимый на первый взгляд вопрос:

— Как вы себя чувствуете? Вы здоровы? Показания давать можете?

Значит, что-то было. Если же учесть, что никаких справок о гриппе или иной болезни в деле нет, значит, поработали заплечных дел мастера. Платтену, видимо, объяснили, что, если начнет жаловаться, ему же будет ху-

же, поэтому, прокашлявшись и обреченно посмотрев на порозовевший платок, он отвечает:

— Да, я здоров и показания давать могу.

(Здоров... А я обратил внимание на одну характерную деталь: если раньше подписи Платтена под протоколами допросов были энергичные, размашистые, то тут вдруг стали куцые, без нажима, сделанные явно дрожащим пером.)

— Я внимательно прочитал ваши предыдущие показания, — начал следователь, — и у меня возник ряд вопросов. Вы готовы вернуться в прошлое? Готовы рассказать о том, куда вы подевались после возвращения из Каменец-Подольского? Странно, но ни одного документа, уточняющего ваше местонахождение, я не нашел.

— И не найдете! — победоносно улыбнулся Платтен. — Их здесь нет. Они в Литве.

— Как в Литве? Почему в Литве?

— Если честно, этого не должно было случиться. Во всем виновата непогода и... дряхлый бомбовоз.

— Бомбовоз?! — изумился следователь. — Что еще за бомбовоз? Откуда он взялся?

— Обыкновенный немецкий бомбовоз, переделанный для гражданских нужд. Дело в том, что по договору с нашим Центросоюзом Германия обязалась поставить России большую партию медикаментов. Железные дороги были ненадежны, поезда грабили бандиты, поэтому лекарства решили перевозить аэропланами. Один такой самолет застрял под Смоленском. Так как на мне висело невыполненное задание Коминтерна, а для этого надо было попасть в Германию, я предложил поговорить с летчиком и как следует заплатить за мою доставку в Берлин. Вильгельм Польде, так звали пилота, согласился, но на случай, если возникнут недоразумения при столкновении с властями, попросил мандат или письмо с подписью какого-нибудь официального лица.

Пока обсуждали эту проблему, я бился над другой. Я прекрасно понимал, что в Германии тут же попаду под наблюдение полиции. Меня там хорошо знали, и слежка будет круглосуточной. А так как задание Коминтерна бы-

ло довольно деликатным и с далеко идущими последствиями, рисковать я не мог. Надо было что-то придумать. И я придумал! Я решил использовать женщину, но не постороннюю, как это было в Финляндии, а жену.

— Стоп, подследственный, стоп! Вы же говорили, что ваша жена покончила с собой, получив известие о вашей гибели.

— Да, говорил. И это чистая правда, — сразу погрузнел Платтен. — Но ради дела я готов был вступить в фиктивный брак. Как вы понимаете, для этого нужна была абсолютно надежная женщина, которая могла бы сыграть эту роль.

— И вы ее нашли?

— Нашел. Это была сотрудница секретариата Совнаркома Елизавета Розовская. Мало кто знал, что до революции она была довольно известной певицей, с большим успехом выступала на сцене петербургской Малой оперы. Стало быть, актриса, подумал я. Это то, что мне нужно, ведь «игра» ей предстоит серьезная. Когда Елизавете объяснили суть задания, она нисколько не смутилась и согласилась некоторое время побыть «фрау Платтен».

— Ну, а задание? В чем суть задания? — нетерпеливо подгонял следователь.

— Я ехал налегке: бритва, галстук да пара рубашек. А вот у Лизы было приданое: какие-то серьги, кольца, побрякушки. Но под вторым дном ее чемоданчика лежали бриллиантовые ожерелья, драгоценные камни, золотые браслеты и тому подобное. Все это мы должны были передать немецким коммунистам. В то время у них были трудности с деньгами.

Когда об этом доложили Ленину, он распорядился оказать немецким товарищам всемерную помощь. Тащить через границу чемодан с фунтами или марками — целая проблема, а золото и бриллианты всегда можно обратить в нужную валюту.

— Та-а-ак, — несколько ошарашенно протянул следователь. — Опять вы ссылаетесь на вождей революции. Не надо, подследственный, это не смягчает, а усугубляет вашу вину.

— Но так оно и было, — не сдавался Платтен. — Больше того, Ленин не просто одобрил мой план, а, узнав о просьбе немецкого пилота, тут же сел к столу и набросал ему письмо от своего имени. На всякий случай я снял с него копию. Если пороетесь в моих бумагах, в тех, которые изъяли во время обыска, вы наверняка ее найдете. Правда, письмо на немецком...

— Не это ли? — выудил следователь из вороха бумаг какую-то записку.

— Точно, оно! — обрадованно воскликнул Платтен. — Дайте-ка, я переведу.

— Ну-ка, ну-ка, — неподдельно заинтересовался следователь и протянул записку Платтену.

— «Летчику Польде Германского Авиационного Общества, — начал Платтен. — Берлин. Так как Центросоюз уполномочил Вас вернуться в Германию, а Ваш аэроплан не имеет ни пассажиров, ни какого-либо груза, то поэтому нижеподписавшийся просит Вас отвезти на Вашем аэроплане в Берлин нашего торгового уполномоченного для Швейцарии Фрица Платтена с женой. Соответствующая плата Германскому Авиационному Обществу за перевоз этого пассажира будет уплачена господином Платтенем непосредственно этому Обществу. Председатель Совнаркома В. Ленин».

— И как развивались события дальше?

— Плохо, — удрученно опустил голову Платтен. — Мы летели через территорию Литвы, а там в это время стояли поляки. В районе Вильно нас обстреляли. Один из моторов выбыл из строя, бензиновый бак потек, кабина загорелась — думали, что взорвемся. Но Вильгельм дотянул до какого-то луга и совершил вынужденную посадку. Меня тут же арестовали и бросили в тюрьму, а Лизу, как я и рассчитывал, не тронули. Тем более что она предъявила старые афиши, сказала, что в дела мужа не вникает и в Германию летит для заключения контракта с одним из оперных театров. Я же настаивал на том, что являюсь торговым представителем и, кроме того, будучи в Москве, вел переговоры об обмене эмигрантами.



— И они вам поверили? — недоверчиво протянул следователь.

— И да и нет. Что-то уточняли, что-то перепроверяли, но через три месяца решили, что никакой опасности я для них не представляю, вытолкали за ворота, посадили в поезд и отправили в Германию. Да, чуть не забыл: все это время «фрау Платтен» терпеливо дожидалась моего освобождения — и дождалась. Так что в Германию мы поехали вместе и задание Коминтерна, хоть и частично, но выполнили.

— Почему частично?

— Кое-что из драгоценностей полицейские нашли и, конечно же, конфисковали. Ссылки на то, что это бабушкино наследство, не помогли, как не помогло и заявление о том, что это театральный реквизит. Но главное — письма и инструкции Ленина — мы довели.

— Тем более не понятно, почему вы заняли враждебную позицию по отношению к ВКП(б) и СССР, — рубанул следователь.

— Я? Враждебную? — изумился Платтен. — Да ни за что на свете! Хотя не скрою, что введение нэпа я рассматривал как предательство интересов революции. Когда в 1927-м взяли за Зиновьева, Каменева и Троцкого, а позже и Радека, я выразил свое категорическое несогласие, так как хорошо их знал и не мог поверить в то, что они предали интересы рабочего класса... И в этом была моя ошибка, — после паузы закончил он.

Судя по всему, следователь оценил это добавление, потому что вопросы о Зиновьеве и полученных от него контрреволюционных заданиях формулировались значительно мягче. Платтен говорит, что подобного рода заданий не получал, с Зиновьевым общался как с руководителем Коминтерна и, к сожалению, недооценил значение борьбы ВКП(б) с эсерами и меньшевиками.

— А теперь вы оценили значение и необходимость этой борьбы? — сделав ударение на слове «теперь», чуть ли не подсказал следователь ответ на этот вопрос.

— Да, — все понял Платтен, — теперь я считаю, что всякая борьба против партии должна немедленно приве-

сти в лагерь злейших врагов революции. Но в период 1926—1928 годов во время дискуссий я допускал ошибки троцкистского характера. И в этом признаю себя виновным.

Считая, что эта сторона деятельности Платтена освещена достаточно ярко, следовательно оставляет тему антипартийной деятельности и подбирается к нему с другой стороны. Протокол от 21 февраля 1939 года начинается с совершенно неожиданного вопроса:

— Хранили ли вы у себя на квартире какое-либо оружие без соответствующего разрешения?

— Да, вплоть до июня 1937 года без всякого на то разрешения я хранил дома маузер, который был изъят при аресте моей жены. В этом я признаю себя виновным. Но должен сказать, что ранее на это оружие я имел соответствующее разрешение.

— Следствию известно, — припечатал следователь, — что ваш маузер предназначался для совершения террористических актов над руководителями ВКП(б) и Советского правительства членами троцкистско-террористической организации. Дайте по этому вопросу правдивые показания!

— Никаких показаний по этому вопросу дать не могу, так как я не троцкист и не террорист, — отрезал Платтен.

Как ни решителен был Платтен, это заявление уже не имело никакого значения. Меньше чем через месяц ему предъявили постановление об окончании следствия, и он пишет под ним по-немецки: «С материалами следствия ознакомлен. Добавлений и просьб к следствию не имею. Я подтверждаю все мои показания и прошу помочь мне выйти на правильный путь».

Через два дня обвинительное заключение передается военному прокурору Московского военного округа, вот-вот суд, и вдруг дело возвращают на доследование. Оказывается, арестованный по другому делу некто Гинзбург заявил, что Платтен является резидентом немецкой разведки и что он, Гинзбург, связан с ним по шпионской деятельности. Снова расследования, допросы, очные ставки — в итоге выяснилось, что никакой Платтен не

резидент, а Гинзбург самый обыкновенный лжец... Лжец-то лжец, но зачем понадобилось оговаривать Платтена? Не иначе, ему пообещали скостить год-другой, если поможет утопить строптивного швейцарца.

И вот, наконец, назначена дата суда: 29 октября 1939 года. Казалось бы, все предрешено, приговор можно оглашать до начала заседания: либо расстрел, либо 25 лет лагерей. Но судей ждал большой сюрприз. Они не учли, с кем имеют дело. Платтен — это не мальчик для битья. Платтен — это настоящий революционер, блестящий тактик и дальновидный стратег. После оглашения обвинительного заключения у него спросили, признает ли он себя в вышеназванном виновным.

Платтен встал. Откашлялся. Посмотрел на оставшийся белым платок. Удовлетворенно улыбнулся и, тщательно выговаривая слова, обратился к тем, в чьи руках была его жизнь:

— Граждане судьи! Хотя я и подписал протокол допроса о моей якобы шпионской деятельности, но прошу меня поверить, что я никогда не был шпионом. Прошу меня выслушать, и я расскажу суду все, что было в действительности. Шпионом я признал себя только потому, что этого от меня упорно требовало следствие. Не имея доказательств в свою пользу, я решил это признать, чтобы скорее окончить следствие и чтобы мое дело перешло в суд.

Станислав, который якобы ко мне явился, имя вымышленное. Пароль «Гельвеция» — всего лишь старое название Швейцарии. Так что все эти показания являются поэзией. Если бы я был заключен в тюрьму в капиталистической стране, что со мною было неоднократно, я бы держал себя как большевик и никаких показаний не давал. Но, будучи в социалистической стране, я не хотел бы быть уничтожен как шпион, так как никогда им не был. Я думал, что следствие к моему делу подойдет объективно, но, убедившись, что это не так, решил дать любые показания, рассчитывая на объективный разбор дела в суде.

Началось заседание в 10.00, а в 14.20 был оглашен приговор:

«Именем Союза Советских Социалистических Республик. Судебным следствием установлено, что Платтен Ф. П. никакой антисоветской деятельностью не занимался. На судебном следствии также не нашло своего подтверждения предъявленное Платтену обвинение в части шпионской деятельности.

На основании вышеизложенного Военный трибунал признал доказанным виновность Платтена по ст. 182 УК РСФСР и приговорил лишить его свободы в ИТЛ сроком на четыре года, без поражения прав. Срок отбытия исчислить с 12 марта 1938 года».

Всего-то четыре года, да еще и без поражения в правах! По тем временам — неправдоподобно мягкий приговор. В чем дело? Какие вмешались силы? Что повлияло на членов трибунала? Тут-то и приходится задуматься о тех сорока страницах, которые были выдраны из дела. О чем там шла речь? О ком рассказывал Платтен? Думаю, что туда вошли те эпизоды, которые я восстановил по историческим хроникам, и что где-то наверху сочли неудобным в открытую уничтожать человека, имя которого так часто упоминается рядом с именем Ленина и которому советская власть обязана всем.

Ведь если бы не Платтен, где бы они были, все эти недоучки из Кремля?! А вдруг проснулось чувство благодарности, вдруг они вспомнили, что они — люди, что ликвидировать человека, не только подарившего России Ленина, но и спасшего его от верной пули, — не по-божески, не по-людски?! Но и отпустить на волю — рука не поднялась. Пусть, мол, попарится на нарах и подумает, кому обязан жизнью. А лучше не на нарах, лучше — на лесоповал, в холодный северный лагерь.

Сказано — сделано. Буквально через неделю Платтен оказывается в Архангельской области: сперва он мотал срок в Няндоме, а потом в поселке Липово. Но выяснилось это гораздо позже... И вот ведь как бывает: Платтен исчезает в лабиринтах ГУЛАГа, но люди о нем помнят. Помнят и не могут смириться с потерей такого человека,

и делают все возможное и невозможное, чтобы вырвать его из рук НКВД.

Кто из нас не сталкивался с анонимками?! Мы привыкли считать, что анонимка — это мерзость, грязь и подлость, что писать их могут только низкие и гнусные люди. Ан нет! Оказывается, иногда анонимки пишут не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы защитить. Есть такая анонимка и в деле Платтена. Предшествует ей очень серьезная записка:

«Особый сектор ЦК ВКП(б).

Секретно.

29.09.1940 г.

НКВД

тов. Берия

Направляется на Ваше рассмотрение анонимное письмо (бывшие ученики Платтена) из г. Москвы.

Зав. Особым сектором ЦК ВКП(б)

А. Поскребышев».

Милые, наивные ребята, как же они рисковали, отправляя это письмо! Ведь вычислить их было проще простого — и загремели бы они вслед за своим учителем. Но они не испугались. Они еще верили лозунгам, заголовкам газет и возвысили свой голос в защиту совершенно постороннего, но близкого им человека. О себе они не думали. В беду попал их учитель — вот что их сплотило и заставило обратиться к тому, кого они считали учеником и продолжателем дела Ленина.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы узнали, что старый коммунист и друг Владимира Ильича Ленина Фриц Платтен, которому Ленин доверил свой переезд в Россию в 1917 году, уже несколько лет находится в ссылке.

Фриц Платтен был нашим преподавателем в Институте иностранных языков. Мы всегда видели в нем образцового коммуниста-ленинца, под его влиянием мы вступили в ряды комсомола. Невозможно поверить, чтобы Фриц Платтен, которого мы знали как честнейшего ком-

муниста, спасшего Ленина от одного из покушений, мог совершить какое-нибудь тяжкое преступление против партии и нашей Родины.

Мы просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, лично выяснить, в чем виновен Фриц Платтен. Быть может, его арест и ссылка являются ошибкой или актом вредительства.

Бывшие ученики Фрица Платтена».

Казалось бы, есть более чем аргументированное письмо Сталину, есть завуалированная просьба его правой руки Поскребышева — достаточно одного звонка, чтобы Платтена отпустили на волю, но в том-то и заключалось иезуитство Берии, что он, чуточку ослабляя хватку и вселяя надежду, давал жертве помучиться.

Почти два месяца бумага ходила по инстанциям, на ней множество виз, подписей и печатей — и в конце концов было вынесено заранее predetermined заключение: «Жалобу о пересмотре дела Платтена Ф. П. оставить без последствий».

А дальше — мрак. Никто не знал, что с Платтенем, где он, жив или не жив. И лишь в 1956 году Генеральная прокуратура направила протест в Военную коллегия Верховного суда СССР с просьбой «отменить приговор в отношении Платтена за отсутствием в его действиях состава преступления». Было отмечено и то, что к Платтену применялись незаконные методы следствия, а следователи нарушали нормы уголовно-процессуального кодекса.

Знаете, что стоит за этими туманными формулировками? Попытки, истязания и побои, такие попытки, что люди признавали себя виновными в чем угодно, лишь бы быстрее закончился этот кошмар.

«Исходя из формальности, что Платтен не имел в последнее время разрешения на хранение револьвера, — говорится далее в протесте, — военный трибунал осудил Платтена, не учитывая показания подсудимого, что он приобрел револьвер в Швейцарии и хранил его в память о революции».

Далее следует просьба приговор от 29 октября 1939 года отменить и Платтена Фрица Петровича посмертно реабилитировать.

Значит, посмертно. Все-таки посмертно. А где и отчего он умер? Или был убит? Есть справка, что «Платтен, отбывая наказание, 22 апреля 1942 года умер от сердечно-сосудистого заболевания». Что ж, может быть, Платтен умер от инфаркта, а могло быть иначе. Теперь-то мы знаем, как организовывались эти заболевания и какие нравы царили в ГУЛАГе. Интеллигентный, не очень здоровый человек — напомним, что у него не было одного легкого и бездействовала левая рука, — мог стать легкой добычей для уголовников, вертухеев, кумовьев и прочей лагерной публики.

С его женой Бертой Циммерман-Платтен поступили проще — расстреляли, и вся недолга, а вот с самим Платтенем пришлось повозиться. Но каково совпадение! Если верить справке, Платтена не стало 22 апреля. Надо же, 22 апреля — в день рождения его друга, которому двадцать четыре года назад он спас жизнь.

Так заканчивается история с первым покушением на Ленина. Тогда Ленина удалось спасти, а вот его спаситель стал жертвой своих соратников. Самое удивительное, что, уничтожив спасителя Ленина, верные ученики вождя не успокоились. Они вспомнили о вагоне, в котором Платтен привез первых политэмигрантов, подняли список сподвижников Ленина, находившихся в вагоне, а потом на пароме, и как следует прошлись по этому списку.

## Глава 7

### «Я ваш душой и телом»

Трудно поверить, что эти слова принадлежат человеку, который лет десять назад к своему нынешнему адресату относился с нескрываемым презрением и называл его не иначе, как «кровавым осетином, не ведающим, что

такое совесть». Но теперь даже этого признания ему показалось мало, и он садится за новое благоговейное послание:

«В моей душе горит желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это. Я дохожу до того, что подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портрет в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели вы не видите, что я не враг ваш больше, что я все понял, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение и снисхождение».

Больше не враг? Это признание дорогого стоит и означает только одно: раньше автор письма им был. А то, что он любит чьим-то портретом и чуть ли не беседует с ним в надежде заслужить прощение и снисхождение, говорит о том, что врагом он был серьезным. И это немудрено, ведь даже такой непримиримый борец с большевиками, как Троцкий, считал этого человека «оратором исключительной силы и прирожденным агитатором». Было и другое мнение: многие называли его «наибольшим демагогом среди большевиков».

Самое странное, что и то и другое — правда. А еще его величали «идеальным передаточным механизмом между Лениным и массой».

Так кто же этот таинственный человек, который был и демагогом, и передаточным механизмом, и прирожденным агитатором, к тому же не боявшимся называть кого-то «кровавым осетином»? Речь идет о человеке, который в знаменитом списке, составленном Платтенем, проходил под № 14 и значился там как Григорий Зиновьев, а на самом деле его звали Овсей-Гершен Аронович Радомысльский.

Сын владельца молочной фермы, он толком нигде не учился, но с 15 лет сам начал давать уроки. А когда поработал конторщиком и пообщался с бунтующими рабочими, ушел, как тогда говорили, в революцию. В эмиграции пробовал учиться, но ни химического, ни юридического факультета Бернского университета так и не окончил. В те же годы Зиновьев познакомился с Лениным и стал не только его активным сторонником, но и доверенным



лицом. Об их совместной поездке из Швейцарии в Россию и о совместном же пребывании в ставшем знаменитым шалаше мы уже знаем, а вот то, что было потом, заставляет задуматься и поставить под сомнение заслуги «прирожденного агитатора».

Начнем с того, что в середине октября 1917 года он вместе с Каменевым заявил о своем несогласии с курсом большевиков на вооруженное восстание, а также с назначенной для этого восстания датой. И заявил не на каком-нибудь собрании или закрытом совещании, а в газете «Новая жизнь», тем самым выдав важнейшую тайну! Ленин страшно возмутился этим предательством и потребовал исключить обоих из партии «за неслыханное штрейкбрехерство». Обошлось. Зиновьев все свалил на Каменева, заявив, что не давал ему полномочий выступать от своего имени, потом, как это водится, покался — и его не только не исключили из партии, но даже оставили в составе ЦК.

Сказать, что Каменев и Зиновьев были друзьями, нельзя, это было бы большой натяжкой, но так сложилось, что очень часто они оказывались в одной команде, а если не было команды, то поддерживали друг друга. Скорее всего, они были политическими союзниками, причем, что в политике бывает очень редко, союзниками верными и надежными. Как показало время, это был союз на всю жизнь: свой крест они несли вместе до самого конца.

Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) родом из Тифлиса. Его отец, железнодорожный машинист, не только сам сумел получить высшее образование и стать инженером, но и отправил на учебу в Москву любимого сына. А тот, вместо того чтобы зубрить римское право, начал посещать социал-демократические кружки, читать запрещенные книги и митинговать на демонстрациях. Из университета его вышибли, а из Москвы выслали. Пришлось уезжать в Тифлис, а оттуда в Париж.

Там-то и произошла встреча, решившая всю его дальнейшую жизнь, — Лев Розенфельд познакомился с Лениным. Отношения были настолько тесными и доверитель-

ными, что Ленин не только ввел его в состав редколлегии газеты «Пролетарий», но даже написал предисловие к одной из его книг. Все шло прекрасно до 1914 года, когда между ними пробежала первая кошка. Как известно, Ленин выступал яростным поборником поражения России в мировой войне, а Каменев был не менее яростным противником этого лозунга. Не исключено, что именно эта позиция спасла ему жизнь: когда в 1915-м его арестовали, то приговорили всего лишь к ссылке в Сибирь.

В Петроград он вернулся после Февральской революции, и не один, а вместе со своим новым другом Сталиным. Вторая кошка между Каменевым и Лениным, а заодно и между Каменевым и Зиновьевым пробежала после июльских событий 1917 года, когда Временное правительство выдало ордер на арест Ленина, Зиновьева и Каменева.

Ленин и Зиновьев предпочли скрыться и отсидеться в шалаше, а Каменев публично заявил, что ничего не боится, виновным себя ни в чем не считает, и добровольно отдался в руки властей. Его тут же водворили в печально известные «Кресты», но, продержав чуть меньше месяца, за отсутствием оснований для обвинения вынуждены были отпустить. На свободу Каменев вышел героем! Еще бы, он не стал прятаться, переодеваться и гримироваться, а вышел на открытый бой и доказал, что большевики не враги России, что они борются за интересы трудового народа, за прекращение войны и за достойный мир. Кое у кого это вызвало приступ ревности, но приближался октябрь, надо было готовиться к вооруженному восстанию, поэтому сведение счетов пришлось отложить.

А вскоре между Лениным и Каменевым пробежала еще одна кошка, на этот раз такая здоровенная, что дело чуть не дошло до полного разрыва. Самое обидное для вождя было то, что рядом с Каменевым оказался Зиновьев, человек, которому он верил и которого искренне любил. Одно дело голосовать против решения ЦК о вооруженном восстании на закрытом совещании — это еще можно понять, как никак все считают себя демократами. И совсем другое — выступить в печати и разгласить сек-

ретное решение, тем самым позволив контрреволюции подготовиться к активному сопротивлению.

Революция все же состоялась, большевики пришли к власти, и на волне эйфории о предательстве Каменева и Зиновьева забыли. Льва Борисовича, хоть и ненадолго, сделали председателем ВЦИК, а Зиновьева назначили руководителем Петроградского Совета. На этом посту он был до 1926 года, и таких за это время наломал дров, что в народе его стали называть «Кровавым Гришкой». Достаточно сказать, что после убийства Моисея Урицкого он стал одним из главных организаторов красного террора. Это по его инициативе были созданы печально известные «тройки», самостоятельно принимавшие решение о расстреле. Полетели тысячи голов, а десятки тысяч лучших представителей петроградской интеллигенции были сосланы на Север. Но этого Зиновьеву показалось мало, и он выступил с инициативой «разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». Теперь, когда улицы Петрограда в самом прямом смысле слова умылись кровью, правая рука Ленина, как когда-то его называли, почувствовал себя не Тевье-молочником, а неистовым Робеспьером.

Как показало время, это был «Робеспьер» с заячьей душой. Как же он перепугался и как запаниковал, когда на Петроград началось наступление белых!

«Затопить корабли! Эвакуировать партийные и советские учреждения! Вывести заводское оборудование!» — надрывался он.

К счастью, присланные с Восточного фронта дивизии наступление белых остановили.

В еще большую панику он впал, когда в 1921 году подняли восстание кронштадтские матросы. Он чуть было не сбежал из Смольного, оставив город матросской братве, но подоспевший Тухачевский жестоко подавил восстание, залив Кронштадт реками матросской крови.

Была у Зиновьева еще одна синекура: с 1919 по 1926 год он занимал пост председателя Исполкома Коминтерна. Почувствовав себя деятелем международного масштаба, «наибольший демагог среди большевиков» сделал все: от

него зависящее, чтобы рассорить коммунистов с социал-демократами Западной Европы, которых он называл не иначе, как социал-фашистами.

В 1921-м Григорий Зиновьев достиг пика своей карьеры, став членом Политбюро ЦК. У Ленина в это время были проблемы то с профсоюзами, то с меньшевиками, то с эсерами, которые далеко не во всем были согласны с вождем революции. Чтобы поставить их на место и дать достойную отповедь, Ильич неоднократно прибегал к помощи «оратора исключительной силы», поручая ему выступать с политическими докладами на XII и XIII съездах партии.

Мало кто знал, что у члена Политбюро еще с юных лет была страстишка, которую он до поры до времени тщательно скрывал, а теперь наконец дал ей волю. В Петрограде об этом говорили кто с понимающей улыбкой, кто с нескрываемым презрением, а кто в открытую называл его, по аналогии с Григорием Распутиным, «Гришкой Вторым». Сохранилось свидетельство одной из сотрудниц Коминтерна, которая не постеснялась письменно высказать свое мнение о Зиновьеве:

«Личность Зиновьева особого уважения не вызывала, люди из ближайшего окружения его не любили. Он был честолюбив, хитер, с людьми груб и неотесан. Это был легкомысленный женолюб, он был уверен, что неотразим. К подчиненным был излишне требователен, с начальством — подхалим. Ленин Зиновьеву покровительствовал, но после его смерти, когда Сталин стал пробиваться к власти, карьера Зиновьева стала рушиться».

Вот так так, оказывается, правая рука Ленина — бабник, да такой ярый, что об этом знает весь город! А как же Сарра Равич, вместе с которой он вернулся из эмиграции и которая в известном нам списке проходила под № 29? Да никак. К этому времени они уже расстались. Но в вошедший в историю вагон попала не только Сарра, но и вторая жена Зиновьева: в списке она стоит под № 15 и значится как «З. Радомысльская (с сыном)».

Речь в данном случае идет о Зинаиде Левиной, которая, кстати говоря, работала в Петросовете, и все художе-

ства благоверного происходили на ее глазах. Забегая вперед скажу, что Зинаида ушла в мир иной в 1929-м, когда до списка Платтена дело еще не дошло. А вот Сарра горь хлебнула полной мерой! Ее дважды исключали из партии, четырежды арестовывали, на длительные сроки заталкивали в лагеря и тюрьмы, но она выжила. И не только выжила, но в те редкие месяцы, когда была на воле, а Зиновьев в ссылке, помогала своему бывшему мужу, отправляя ему деньги и продукты.

Но пока что на дворе начало 1920-х... Григорий Зиновьев — полновластный хозяин северной столицы, во всех начинаниях его поддерживает Ленин, его слово — закон для коммунистов Европы, короче говоря, он в полной силе, он уверен в своей правоте и делает все возможное и невозможное, чтобы «раздуть пожар мировой революции». Одни его активности побаивались, другие старались использовать в своих интересах, а третьи... откровенно над ней издевались. Вот что, например, писал в своем журнале «Бумеранг» находящийся в эмиграции Саша Черный:

«Добытая с большими затруднениями из Москвы зиновьевская слюна была вприснута в Пастеровском институте совершенно здоровому молодому шимпанзе. На третий день обезьяна обнаружила все признаки военного коммунизма: отобрала у других обезьян пищу, укусила сторожа, перещарапала всех здоровых обезьян и, завладев клеткой, терроризировала их и загнала в угол.

Профессор Р. высказал предположение, что прививка крови зараженной обезьяны любому последователю Коминтерна даст, вероятно, обратные результаты: прояснение сознания, тягу к уживчивости, мирному труду и разумному культурному разрешению всех социальных конфликтов».

Мировая революция — это, конечно, прекрасно, но и в России дел хватало, тем более что в 1922-м серьезно заболел Ленин, а без его поддержки Зиновьев был ничто. Надо было искать нового покровителя. И тогда он придумал гениальный ход: потолковав с Каменевым, кото-

рый дружил с Кобой еще со времен сибирской ссылки, уговорил его предложить на пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Сталина. Что тот и сделал, выступив на апрельском Пленуме ЦК. Сталин оценил этот ход и сделал Зиновьеву грандиозный по тем временам подарок: поручил ему выступить на XII съезде партии с политическим отчетом.

С одной стороны, это означало, что отныне Сталин считает Зиновьева своей правой рукой и дает понять, что будет ему во всем покровительствовать. Но с другой — Ленин-то еще жив, и не просто жив, а направил делегатам «Письмо к съезду», в котором выразил свою неприкрытую тревогу, связанную с этим назначением.

«Тов. Сталин, — писал он, — сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Реакции — никакой. Вчерашние друзья и неистовые сторонники Ленина уже сделали ставку на другого человека. Ильич в полном недоумении! Как так: еще вчера его слово было законом, еще вчера достаточно было намек, да что там намек, одного мановения пальца, чтобы его указание бросились выполнять десятки людей. А тут?! На его письмо не обратил внимания целый съезд, съезд партии, которую он создал, которую выпестовал и которую, черт возьми, привел к власти! И тогда Ленин пишет второе, более развернутое и более откровенное письмо:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения товарища Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. п.»

И снова — никакой реакции, кроме робкого совета «учесть критику со стороны Ленина и сделать необходимые выводы». Выводы Сталин сделает, правда, несколь-

ко позже, но такие крутые, что всем этим советчикам мало не покажется! А пока что ему надо было разобраться с Троцким, который безусловным наследником Ленина считал себя. В этой ситуации как никогда полезным оказался талант «оратора исключительной силы и прирожденного агитатора». От Троцкого не осталось камня на камне! Но Зиновьев увлекся, потерял чувство меры, вообразил себя, как когда-то с Лениным, передаточным механизмом между Сталиным и массами — и прогадал.

Правда, после кончины своего старого друга и покровителя Зиновьев смог соорудить ему, как тогда казалось, вечный памятник: именно по его инициативе, а не по просьбе трудящихся, 2-й съезд Советов принял решение о переименовании Петрограда в Ленинград. Эта инициатива не осталась незамеченной: в качестве ответного подарка малую родину главы Ленсовета город Елизаветград переименовали в Зиновьевск (ныне Кировоград).

В декабре 1925 года состоялся XIV съезде ВКП(б). Зиновьев не придумал ничего лучшего, как подняться на трибуну и от имени «новой оппозиции» раскритиковать речь Сталина, который перед этим выступил с политическим отчетом ЦК. Это было роковой ошибкой! Тем более что съезд поддержал Сталина.

Казалось бы, можно, как он это не раз делал раньше, покаяться, воспеть гимн руководству и шагнуть ногой в ногу с новым генсеком. Но Зиновьев закусил удила, его, как говорится, понесло! Полемика разгорелась нешуточная, слов уже не выбирали. Именно тогда Зиновьев назвал Сталина «кровавым осетином, не ведающим, что такое совесть».

Почему, кстати, осетином? Предположить, будто Зиновьев не знал, что Сталин — грузин, по меньшей мере странно. А может быть, он знал то, чего не знали другие, и в пылу полемики проболтался? Ни тогда, ни позже ответа на этот вопрос никто не дал, а вот репрессии, для начала мягкие, последовали тут же. Сперва Зиновьева вывели из Политбюро, потом сняли с должности руководителя Ленсовета, а несколько позже и с поста председателя Исполкома Коминтерна.

Все — отныне Зиновьев никто. Но имя-то есть, и авторитет в партии немалый. От отчаяния Зиновьев шараялся совсем не в ту сторону: он объединился со злейшим врагом Сталина — Троцким. За что тут же поплатился: в 1927 году его исключили из партии. Но Зиновьев не унывал и использовал уже не раз выручавший его прием. Он прилюдно, то есть в печати, посыпал голову пеплом, покался, как тогда говорили — разоружился, и его не только восстановили в партии, но даже, несмотря на то, что он не имел никакого образования, назначили ректором Казанского университета.

Проявить себя на этом поприще Зиновьев не успел. В ЦК рассудили мудро: такого человека, как Зиновьев, надо постоянно держать в поле зрения, поэтому его вернули в Москву и ввели в редколлегия журнала «Большевик». Но, если можно так выразиться, не уберегли. Уже на следующий год возникает дело «Союза марксистов-ленинцев», по которому проходит и Зиновьев. Его снова исключают из партии и на этот раз отправляют в Кустанай, туда, где нет ни одного оппозиционера, но зато много верблюдов и овец.

В казахских степях Зиновьев вел себя тихо, поэтому его простили, вернули в Москву, восстановили в партии и устроили на работу в Центросоюз. А вскоре состоялся XVII съезд ВКП(б). Трудно сказать, чем руководствовался Сталин, может быть, он испытывал своеобразное чувство удовлетворения, когда смотрел на униженно кающихся грешников, но Зиновьеву предоставили трибуну съезда. Конечно же, он раскаялся во всех своих преступлениях перед партией и народом, воспел хвалу руководству ЦК и лично Сталину, а также согласился на любую работу, где сможет принести пользу стране победившего социализма.

Как оказалось, пользу он может принести только как заключенный одной из самых мрачных тюрем: в январе 1935-го он проходил по делу так называемого «Московского центра» и получил 10 лет тюремного заключения. В надежде, что не раз испытанный способ покаяния спасет и на этот раз, Зиновьев начал бомбардировать Сталина письмами. Именно тогда появилось то письмо, в ко-



тором он уверяет, что больше не враг, что пристально глядит на портреты Сталина и других членов Политбюро с мыслью, чтобы они заглянули в его душу, что принадлежит им душой и телом, что готов сделать все, чтобы заслужить прощение.

Не помогло. Судя по всему, Сталин хорошо помнил, как его обозвали кровавым осетином, как от имени «новой оппозиции» на XIV съезде подвергли унижительной критике, как вместе с подонком Троцким пытались использовать в своих интересах невразумительное письмо больного Ленина...

Пора с этой проблемой кончать, судя по всему, решил Сталин. А проблемы нет тогда, когда нет человека. Но еще одну роль, как всегда роль раскаявшегося грешника, Зиновьеву сыграть пришлось. В августе 1936 года в Москве проходил грандиозный, открытый для прессы и публики процесс по делу «Антисоветского троцкистско-зиновьевского центра». Троцкий далеко, его пока что не достать, а Зиновьев — вот он, рядом, на скамье подсудимых. То, что именно он стал главным обвиняемым, было его последней услугой партии. Именно так сформулировал вопрос Сталин, когда Зиновьев и Каменев были на личном приеме у вождя народов. Сталин убедил их, что раскаяние и признание в антипартийной деятельности пойдет на пользу партии, что единство и сплоченность партии от этого только выиграют.

В обмен на это — жизнь.

— Не так уж мало, — усмехнулся в усы Сталин, — даже если это жизнь где-нибудь в ссылке. Уж мы-то с вами знаем, что такое ссылка. Жили где-нибудь в Сибири или на Урале, работали, читали книги и готовились к грядущим боям за правое дело угнетенного народа. Теперь это дело восторжествовало и его надо защищать. Можете не сомневаться, мы выведем на чистую воду всех наших врагов, в том числе и тех, которые рядятся в тогу друзей! — жестко закончил он.

Своего слова Сталин не сдержал. 24 августа 1936 года Григорий Зиновьев первым из списка Платтена был приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Его участь разделил и шедший с ним до конца Каменев.

## Глава 8

### «Пусть Сталин сперва завоюет доверие»

Можете ли вы представить себе человека, который бы открыто, с трибуны партийного съезда бросил такие слова в адрес заседавшего в президиуме и набиравшего силу отца народов?! Одни скажут: «Никогда и ни при каких обстоятельствах». Другие, немного поразмыслив, философски заметят, что едва ли, если, конечно, он не смертельно болен и не хочет свести счеты с жизнью.

Но это не все! Заинтригую вас еще больше. Что вы скажете, если узнаете, что этот же человек требовал избрать нового генерального секретаря партии, освободив от этой должности Сталина, и не изменил своей точки зрения даже после ночного звонка Иосифа Виссарионовича, который просил его отказаться от своих слов?! И тогда Сталин пока что в бессильной ярости процедил: «Но смотри, Григорий, ты еще об этом пожалеешь!»

Эти события происходили в декабре 1925-го. А неразумно храбрым человеком был Григорий Яковлевич Сокольников (он же Гирш Янкелевич Бриллиант), который в списке Платтена значится под № 18. Как только ни называл его в свое время Ленин: и любителем парадоксов, и ценнейшим работником, и милым, талантливым человеком, и большевистским финансистом, и даже, по аналогии с даровитым царским министром финансов, советским Витте. К этому можно добавить, что сын провинциального врача, который сперва служил в Полтавской губернии, а перебравшись в Москву, завел собственную аптеку, был еще и прекрасным полководцем: в годы Гражданской войны он был членом Реввоенсовета Восточного, а затем Южного фронтов и даже командующим 8-й армией, которая билась за Воронеж, освобождала Луганск, Ростов и дошла до Новороссийска.

Потом был Туркестан, борьба с басмачами и... совершенно неожиданное назначение сначала заместителем, а

потом и наркомом финансов. Правда, до этого он успел «прославиться», причем именно в кавычках, тем, что от имени советской делегации подписал «похабный» Брест-Литовский мир с Германией. Справедливости ради надо сказать, что в первые послеоктябрьские месяцы Сокольников уже занимался всякого рода финансовыми экспроприациями, он даже возглавлял комиссариат бывших частных банков, но эту организацию быстро упразднили, так что разобраться в хитросплетениях финансовых потоков Сокольников не успел.

Хозяйство ему досталось, прямо скажем, аховое! В стране ходили дензнаки номиналом в миллион и даже в миллиард рублей, которые называли «лимонами» и «лимардами». На черном рынке процветала спекуляция, чтобы купить буханку хлеба, надо было заплатить триллион, а то и квадриллион этих самых дензнаков.

И вдруг откуда ни возьмись появился червонец! Он приравнивался к царской золотой десятирублевке. Пошли в ход и серебряные гривенники. Все кинулись обменивать дензнаки на червонцы: принимали их без ограничений, из расчета 30 тысяч дензнаков за один червонец.

Народ ликовал! Признали червонец и за границей, ведь он обеспечивался золотом и стал надежной расчетной единицей. А Григорий Сокольников стал настолько популярен, что Сталин решил зажечь на его пути красный свет: в 1926-м Сокольникова освобождают от обязанностей наркома финансов, перебрасывают в Госплан и поручают заняться разработкой первого пятилетнего плана.

Вникнув в дело, Сокольников тут же ударил в набат. От него требовали большого скачка, сверхиндустриализации страны, а он закладывал в пятилетку такие цифры, которые обеспечивали бы проведение плавной индустриализации, как он тогда говорил, «с наибольшей безболезненностью для масс».

«Что еще за безболезненность?! — раздался окрик из Кремля. — Массы пойдут на любые жертвы. А их заступника от разработки первой пятилетки отстранить!»

И отстранили... Некоторое время Сокольникову доверяли какие-то второстепенные хозяйственные посты, пока, наконец, не сочли за благо отправить с глаз долой: в 1929-м Григория Яковлевича назначили полпредом СССР в Великобритании. Английские газеты, выражавшие официальную точку зрения, были в восторге!

«Назначение Сокольникова советским послом в Англии является благоприятным предзнаменованием для дружественного развития англо-советских отношений, — писали они. — Новый посол является наиболее подходящим лицом для представительства России в предстоящих трудных и сложных переговорах. Его персональное обаяние, независимость его ума и характера в соединении с авторитетом и уважением, которыми он пользуется в России, являются особо ценными качествами для чрезвычайно трудной задачи, стоящей перед ним».

И действительно, дело пошло на лад. Одно за другим были подписаны торговое соглашение, затем соглашение о рыболовстве и ряд других. Произошли положительные сдвиги и в советском экспорте: за три года Великобритания переместилась с двадцать первого на шестое место. Небывало плодотворными стали личные контакты. На всякого рода приемы и завтраки, устраиваемые в полпредстве, охотно приходили такие известные люди, как Ллойд Джордж, Уинстон Черчилль, Бернард Шоу, Бертран Рассел, леди Астор и многие другие. Самого Сокольникова и его жену, писательницу Галину Серебрякову, с удовольствием принимали в самых аристократических и финансово-промышленных домах Лондона.

Англичане были просто изумлены, что в лапотной красной России есть такие интеллигентные и культурные люди. Вот что писала о Сокольникове той поры его супруга:

«Его изысканные манеры, чистое, то что называется аристократическим, лицо с прямым гордым носом, продолговатыми темными глазами, высоким, необыкновенно очерченным лбом, вся его осанка хорошо натренированного и сильного физически человека вызывали изумление английской знати».

Как ни странно, англичанам вторили вчерашние белогвардейцы. В их газетах, выходящих в Париже, появились статьи с недвусмысленными заголовками: «Сталин и Сокольников» и, что более рискованно, «Сталин или Сокольников?». Речь в них шла о принципиально важном, о том, кто победит: Сокольников, который является сторонником сосуществования двух систем и верности взятым на себя обязательствам, или Сталин, который по-прежнему не только мечтает о победе мировой революции, но и ввязывается к этому стремится.

Прочтя все это, Григорий Яковлевич сильно встревожился: противопоставление Сталину, да еще не в пользу последнего чревато серьезными последствиями. А тут еще как черт из табакерки откуда-то выскочил Троцкий, и тоже с дифирамбами.

«Григорий Сокольников, — писал он, — это человек выдающихся дарований, с широким образованием и интернациональным кругозором».

Похвала от смертельного врага Сталина — это все равно что стакан цикуты вместо чая: чуть раньше, чуть позже, но обязательно убьет.

— Этого Сталин мне не простит и обязательно отомстит, — обеспокоенно говорил он жене. — Надо знать его характер: он никогда ничего не забывает и ничего не прощает. К тому же однажды он мне уже пригрозил, проронив: смотри, Григорий, пожалеешь, но будет поздно.

Но пока что тучи над головой Сокольникова только сгущались, время для удара молнии еще не настало... Первый звонок прозвенел в сентябре 1932-го, когда якобы согласно его просьбе Григория Яковлевича отозвали в Москву. В честь его отъезда Англо-русская торговая палата организовала прощальный банкет, на котором видные промышленники, банкиры и предприниматели, забыв о британской сдержанности, произносили такие прочувствованные тосты, что, как писали на следующий день газеты, «всем стало ясно, что Григорий Сокольников пользуется действительным уважением лондонского общества».

Как и следовало ожидать, об этом тут же настучали Сталину, и, когда Сокольников вернулся в Москву и предстал пред очи вождя, вместо приветствия тот зловеще бросил:

— Говорят, Григорий, ты так полюбился господам англичанам, что они тебя отпускать не хотели. Может, лучше тебе жить с ними?

Это уже не шутка и не случайная обмолвка. Это — хорошо продуманный и жестко сформулированный приговор. Григорий Яковлевич, конечно, вздрогнул, но выводов не сделал. Самое странное: решительных, с конкретными последствиями выводов не сделал ни один из высокопоставленных партийных или государственных деятелей той поры. Они как загипнотизированные лезли в пасть удава, а ведь у многих была возможность избежать опасности: достаточно было последовать совету Сталина и во время заграникомандировки остаться в том же Лондоне, Париже или Стамбуле.

Что касается Григория Сокольникова, то его даже приласкали, назначив на некоторое время заместителем наркома иностранных дел, а буквально через год, в соответствии с иезуитской сталинской логикой, перебросили в Наркомат лесной промышленности. Так дипломат с мировым именем стал заниматься вопросами заготовки древесины, корчевания пней и переработки сучьев. Но и тут его не оставили в покое: начались проработки на партсобраниях, требования признать ошибки и покаяться в грехах. Сокольников, как мог, отбивался...

Так продолжалось до мая 1936-го, когда ни с того ни с сего Григорию Яковлевичу позвонил Сталин и спросил, есть ли у него дача. Оказалось, что нет. Тут же последовала соответствующая команда, и за несколько недель в Баковке построили прекрасную дачу, куда уже в июне переехала вся семья: жена, теща, двое детей и сам Григорий Яковлевич.

Казалось бы, на некоторое время можно перевести дыхание и забыть о неприятностях последних лет. Но Сокольникова не отпускало: он с тревогой следил за судебными процессами над «врагами народа», многих из

которых хорошо знал, и... готовился к самому худшему. Все чаще он топил печь, а на участке разводил костры — так Григорий Яковлевич уничтожал письма и документы, которые могли скомпрометировать его самого и его близких.

Тогда же он начал подумывать о самоубийстве.

«Иного выхода, кроме пули в лоб, нет, — говорил он жене. — Этим я спасу тебя, а моя жизнь все равно прожита».

И вдруг, если можно так выразиться, новая кислородная подушка: Сталин пригласил его к себе на дачу. Уже был подписан ордер на арест, уже ждали сигнала, чтобы приступить к обыску на его квартире, уже получили разрешение на арест жены и старшей дочери, а Сталин, получая при этом иезуитски-гнусное удовольствие, поднимает бокал и провозглашает тост:

— За Сокольников, моего старого боевого друга, одного из творцов Октябрьской революции!

Пришли за Григорием Яковлевичем 26 июля 1936 года. Потом была Лубянка, были пытки, издевательства, карцеры, словом, весь «джентльменский» набор чекистов. Требовали от него одного: признания в том, что он является членом так называемого параллельного троцкистского центра, который ставил своей задачей свержение советской власти в СССР.

Процесс проходил в Доме союзов, на него даже пускали кое-кого из журналистов. Один из них писал: «Бледное лицо, скорбные глаза, черный лондонский костюм. Он как бы носит траур по самому себе».

Другой же, англичанин, видимо знавший Сокольникова в лучшие времена, не скрывает своего сочувственного отношения: «Сокольников производит впечатление совершенно разбитого человека. Подсудимый вяло и безучастно сознается во всем: в измене, вредительстве, подготовке террористических актов. Говорит тихо, его голос едва слышен».

30 января 1937 года огласили неожиданно мягкий приговор. То ли Сталин вспомнил, как Сокольникова ценил и уважал Ленин, то ли всплыли эпизоды совместных

боевых действий во время Гражданской войны, то ли он уже насладился местью, но Сокольников приговорили лишь к 10-летнему тюремному заключению. Но это вовсе не значило, что его приговорили к жизни. Григория Яковлевича бросили в одну из самых лютых тюрем — Верхнеуральский политизолятор. Дольше года там не выдерживали. Сокольников выдержал два. По одной версии, его убили сокамерники, по другой — не выдержало сердце.

Так из списка Платтена была вычеркнута еще одна фамилия — фамилия человека, который был одним из тех, кто привел большевиков к власти, а потом отстаивал эту власть как с помощью оружия, так и мудрого слова. За что и поплатился...

Что касается Карла Радека (настоящая фамилия Собельсон), который тоже проходил по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и тоже получил 10 лет лагерей, то о нем, как это ни странно, сколько я ни рылся в архивах, не нашел ни одного теплого слова. Одни считали его «ярчайшим представителем коммунистической журналистики, при этом по беспринципности превосходящим всех своих коллег». Другие, вспоминая его поездку в якобы опломбированном вагоне и недоумевая по поводу отсутствия его фамилии в списке Платтена, намекали на то, что он был «одним из главных связных между руководством партии и германским Генштабом». Третьи выражались куда более пространно. Чего стоит хотя бы такая характеристика бойкого уроженца тогда еще австро-венгерского Львова:

«Карл Радек явил собой пример классического революционера и идеального коммунистического журналиста, ставшего символом приспособленчества и заказной журналистики. Он всю жизнь прожил без принципов, сносился с Генштабом воюющей против России страны, потом заигрывал с Троцким, а затем сдавал троцкистов, отправляя их на смертную казнь.

Изворотливый, шустрый, беспринципный — он так умел приспособливаться к любой власти, что сталинскому режиму пришлось отказаться от публичного смертного приговора».



Что касается контактов Радека с германским Генштабом, то мы уже знаем, что это явное преувеличение, так как основная заслуга в организации поездки Ленина и других политэмигрантов через территорию Германии принадлежит Фрицу Платтену. А вот что касается его беспринципности, — это в самую точку. То он был активнейшим сторонником Троцкого, то заявлял об идейном разрыве с троцкизмом. При этом Радек ни на секунду не забывал, что раскаявшихся грешников любят не только на небесах, но и в Кремле, поэтому, не стесняясь в выражениях, обливал вчерашнего союзника грязью и клеймил последними словами.

Так как одно время Радек был заместителем народного комиссара по иностранным делам, ему довольно часто приходилось общаться с представителями тех или иных посольств. Один из них впечатления от встреч с Радеком не замедлил изложить письменно. Вот что он, в частности, писал:

«Еврей Собельсон был в некотором смысле гротескной фигурой. Маленький человечек с огромной головой, с торчащими ушами, с гладко выбритым лицом (в те дни он еще не носил этой ужасной мочалки, именуемой бородой), в очках, с большим ртом, в котором всегда торчала большая трубка или сигара, он всегда был одет в темную тужурку, галифе и гетры.

Чуть ли не каждый день он заходил ко мне на квартиру — в английской кепке, лихо сидящей на голове, с жестко дымящей трубкой, со связкой книг под мышкой и с огромным револьвером, торчащим сбоку. По внешности он был нечто среднее между профессором и бандитом.

В блеске его ума, во всяком случае, можно было не сомневаться. Это был виртуоз большевистского журнализма, и его разговор был так же блестящ, как и его передовицы.

Послы и иностранные министры были мишенью для его острот. В качестве заместителя комиссара по иностранным делам он принимал послов и министров во второй половине дня, а на следующее утро под каким-ни-

будь псевдонимом атаковал их в «Известиях». Это был человек полный коварства и очаровательного юмора. Когда приехало немецкое посольство, он всячески испытывал терпение представителей кайзера: в те дни этот маленький человечек был свирепым антигерманистом. Он присутствовал на переговорах в Брест-Литовске, где с особым удовольствием пускал дым своей скверной сигары в физиономию генерала Гофмана.

Когда Радек приходил к нам и получал полфунта морского табака, он с неподражаемой легкостью высмеивал свои огорчения, происхождение которых объяснял завистью со стороны коллег. Его сатиры были направлены на всех и на всё. Он не щадил никого, даже Ленина, и во всяком случае не щадил русских. Когда Брест-Литовский мир был ратифицирован, он чуть не со слезами восклицал: «Боже, если бы в этой борьбе за нами стояла другая нация, а не русские, мы бы перевернули мир! А с этими разве что путное сделаешь?! Нарком Чичерин — старая баба. Его заместитель Карахан — осел классической красоты».

Считая себя истинным ленинцем, в конце 1920-х Радек позволил себе усомниться в правильности сталинского курса. Как раз в это время проходил XV съезд ВКП(б), на котором его заклеили как участника троцкистской оппозиции и из партии исключили. Радек неосмотрительно возмутился, начал жаловаться, протестовать. Успокоили его довольно быстро: в январе 1928-го Особое совещание при коллегии ОГПУ за антисоветскую деятельность приговорило к трем годам ссылки.

Оказавшись в Томске, Радек снова начал каяться и разоружаться. Чего он только на себя не наговорил и чего только не наобещал! Удивительно, но все эти перлы охотно печатали в центральных газетах, а потом обсуждали на митингах и собраниях. В конце концов, покаянный голос Радека услышали в Кремле и из ссылки вернули. Это благодеяние надо было отрабатывать — и Радек садится за письменный стол. Первый же панегирик в адрес Ста-

дина был милостиво замечен и даже отмечен. «К сжатой, спокойной, как утес, фигуре нашего вождя шли волны любви и уверенности, — писал он, — что там, на мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции».

А отмечен этот панегирик был тем, что Радеку разрешили издать полное собрание своих сочинений, разумеется с учетом исторического момента. Радек намек понял и тут же накатал восторженный очерк «Зодчий социалистического общества», которым и открыл многотомное издание. Это тоже было замечено, и Радека включили в комиссию по разработке проекта сталинской Конституции.

Кто знает, быть может, и дальше все шло бы по нарастающей: Радек снова стал бы членом ЦК и доверенным лицом вождя. Но в какой-то момент он потерял бдительность и начал позволять себе двусмысленные шуточки в адрес кремлевских бонз. Очень скоро он стал известен как автор рискованных анекдотов. Например, на удаление Троцкого и Зиновьева из Политбюро Радек откликнулся таким анекдотом: «Какая разница между Моисеем и Сталиным? Большая. Моисей вывел евреев из пустыни, а Сталин — из Политбюро».

Это еще куда ни шло. Но на обвинение в том, что он плетется в хвосте у Льва Троцкого, Радек позволил себе неслыханное. «Уж лучше быть хвостом у Льва, чем задницей у Сталина!» — выпалил он.

Надо ли говорить, что это тут же стало известно вождю народов! В конце концов терпение Сталина лопнуло. А тут как раз подоспел процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Так как он был открытым, в том числе и для представителей зарубежной печати, нужен был человек, который бы ярко и талантливо разоблачил проходящих по этому делу партийных и государственных деятелей.

«Лучшей кандидатуры, чем Радек, на эту роль не сыскать, — решил Сталин. — Вон как лихо он разделал своих недавних дружков — от Зиновьева и Каменева камня на камне не оставил. Все газеты перепечатали его статью,

в которой он называет их мразью, фашистской бандой и требует для них расстрела. Это хорошо, это очень хорошо, когда врагов народа разоблачает человек их круга! Так мы поступим и в дальнейшем. Деятели из «Параллельного центра» должен разоблачать член этой организации».

Дальнейшее было делом техники. В сентябре 1936-го Радека арестовали, объяснили ему ситуацию, сказали, что если будет вести себя разумно, то жизнь ему сохранят, — и Радек, отбросив всякие сомнения, согласился давать показания какие угодно и против кого угодно. Договоренность была соблюдена.

После того как Радек признал себя японским шпионом, одним из организаторов готовящегося покушения на Сталина, мечтающим о свержении советской власти и реставрации капитализма, почти всех подсудимых приговорили к высшей мере наказания, а ему дали 10 лет лагерей.

Продержался он там недолго. В мае 1939-го пришло известие о его смерти. По некоторым сведениям, Радека убили подосланные уголовники. В те годы такой способ расправы с политическими заключенными был довольно модным и с молчаливого одобрения Лубянки часто использовался. «Нет человека — нет проблемы» — этот лозунг вождя чекисты тех лет понимали буквально.

## Глава 9

### Товарищ Инесса

В этой истории так много таинственного, нежного, романтически-трепетного и в то же время самоотверженного, жертвенного и трагического, что хватило бы не на один роман. Но если в романах действуют придуманные автором персонажи, которые говорят то, что вложил в их уста автор, совершают поступки, которые считает органичными для них автор, любят и ненавидят тех, кого предписывает автор, то в повести, которую расскажу я, не будет никакого вымысла. Все действующие

лица не просто абсолютно реальные, а в самом прямом смысле слова исторические личности, о жизни и деятельности которых известно практически все, кроме их личной, если хотите — интимной, жизни.

Этих людей принято считать суровыми, аскетичными личностями, которым в их жестокой, полной опасностей и смертельного риска жизни было не до нежности, любви и страсти. Абсурднейшее заблуждение!

Прочтите для начала несколько писем и подумайте: как нужно относиться друг к другу, чтобы доверить бумаге такие душевные, идущие от самого сердца слова:

«Дорогой друг! От Вас еще нет весточки. Не знаем, как доехали и как поживаете. Хорошо ли устроились? Хорошо ли работается в библиотеке?

Ваш Иван».

Проходит несколько дней, от дорогого друга по-прежнему нет ни строчки, и обеспокоенный Иван отправляет еще более тревожное письмо, которое на этот раз подписывает «Ваш Базиль». Что за конспирация? Зачем? От кого нужно таиться?

От кого? Конечно, от жены, от кого же еще! И Базиль, он же Иван, сообщает об этом в следующем письме:

«Сегодня великолепный солнечный день со снежком. Мы с женой гуляли по той дороге, по которой — помните — мы так чудесно гуляли однажды втроем. Я все вспоминал и жалел, что Вас нет».

Значит, треугольник, классический любовный треугольник? Да, треугольник, и, судя по всему, с довольно острыми углами и неизбежными в таких случаях выяснениями отношений. Последствия не замедлили сказаться, что видно из смиренно-умоляющего письма женщины: «Никому не будет хуже, если мы вновь будем все втроем вместе».

Иван промолчал. И тогда отчаявшаяся женщина срывает маски и, наплевав на конспирацию, выплескивает всю свою боль и всю свою любовь в полном безысходной тоски письме:

«Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому не могло бы причинить боль... Я немного попривыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал... Крепко тебя целую».

Затем следовала подпись. И знаете, как оно было подписано? «Твоя Арманд». А как было подписано письмо с описанием великолепного солнечного дня и прогулки втроем? «Ваш Ленин». Да-да, что бы там ни говорили пуритане, пытающиеся сделать из Ленина сухого, лишенного нормальных человеческих чувств борца за правое дело рабочего класса, он, будучи неудачливым в браке, был счастлив в любви.

Что касается Надежды Крупской, то, по свидетельству современников, она была далеко не красавицей. К тому же ее всю жизнь мучила базедова болезнь, а это — пучеглазие, потливость и повышенная возбудимость, не говоря уже о сердцебиении и нервных срывах. Не случайно в качестве партийных псевдонимов к ней прилипли не совсем благозвучные клички Минога и Рыба. И даже в годы советской власти товарищи по борьбе позволяли себе потешаться над женой Ленина. Например, в одну из молодежных газет какая-то девушка написала письмо, в котором сетовала на то, что некрасива и поэтому парни не обращают на нее никакого внимания. Так вот от имени редакции был напечатан такой ответ: «Дорогая Катя, ты не должна отчаиваться. Вот Надежда Константиновна уж на что мордovorот была, а какого парня отхватила!»

Встреча Ленина с Инессой Арманд изменила всю его жизнь! Он стал веселее, контактнее, оживленнее, часто улыбался, сыпал шутками, начал следить за своей внешностью. Крупская все видела, все понимала и... смирилась. Она даже говорила, что «в доме становится светлее, когда приходит Инесса».

Так кто же она такая, эта чаровница Инесса Арманд? Начнем с того, что никакая она не Арманд, а Стеффен. Ее отец — французский оперный певец Теодор Стеффен. Мать — Натали Вильд, полуфранцуженка, полуангличанка, тоже оперная певица, а несколько позже учительница пения. Отец умер довольно рано, матери было не под силу дать образование дочери, и Инессу забрала с собой тетка, которая нашла в Москве место учительницы французского языка и пения.

Обворожительная, изящная и раскованная Инесса на балах и вечеринках пользовалась сумасшедшим успехом. Она прекрасно танцевала, недурно пела, очаровательно болтала не только по-французски, но и по-русски. А ее внешность! «Пышная прическа, грациозная фигура, маленькие уши, чистый лоб, резко очерченный рот, зеленые глаза» — так описывал ее в своем дневнике один из влюбленных современников.

Но Инесса была практичной девушкой и всем подпоручикам, студентам и присяжным поверенным предпочла сына купца первой гильдии, владельца торгового дома «Евгений Арманд с сыновьями» Александра Арманда. И не прогадала! Семья Арманд была по-настоящему богатой. У них были текстильные фабрики, лесные угодья, доходные дома и многое другое. Александр оказался мягким, добрым человеком, молодую жену ни в чем не ограничивал, но на одном настаивал непреклонно: он не только любил детей, но и любил, как тогда говорили, их делать. Инесса это тоже любила — и рожала чуть ли не каждый год. Пятеро детей — даже по тем временам достаточно много!

Но ни роды, ни заботы о детях не убили в ней духа суффражизма — модного тогда движения женщин за равные права с мужчинами. Став на этот путь, Инесса не преми-

нула не только его обосновать, но и объяснить логически. На недоуменные вопросы дочери Инесса ответила письменно.

«В «Войне и мире» Толстой говорит, — писала она, — что Наташа, выйдя замуж за Пьера Безухова, стала самкой. Эта фраза показалась мне обидной, она была по мне как хлыстом, и она выковала во мне твердое решение никогда не стать самкой — а остаться человеком. А сколько вокруг нас самок!»

Инесса вступает в «Общество улучшения участи женщин», запоем читает книги идеологов народничества, а оказавшись на отдыхе в Швейцарии, сближается с социалистами. Тогда же в ее дневнике появляется имеющая судьбоносные последствия запись: «После короткого колебания между эсерами и эсдеками, под влиянием книги Ильина «Развитие капитализма в России», становлюсь большевичкой».

Бедная Инесса, она тогда не знала, что Ильин — это ее судьба, что Ильин — это Ленин. Кстати говоря, Лениным Владимир Ульянов стал лишь в 1901 году, когда одну из своих статей в журнале «Заря» впервые подписал псевдонимом Ленин. История появления этого псевдонима — одна из самых интересных загадок жизни Ильича. Кто только ни пытался докопаться до истины и узнать, почему десятку других псевдонимов Владимир Ильич предпочел именно этот и в историю вошел именно как Ленин, ничего путного из этого не получилось. Хотя версий — великое множество. Прежде всего, обратились к Надежде Константиновне: уж кто-кто, а она-то, казалось бы, должна знать. Вот что ответила Крупская редакции газеты «Комячейка»:

«Я не знаю, почему Владимир Ильич взял себе псевдоним «Ленин», никогда его об этом не спрашивала. Мать его звали Мария Александровна. Умершую сестру звали Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене в ссылке он не был. Вероятно, псевдоним выбран случайно, вроде того, как Плеханов писал однажды под псевдонимом «Волгин».



А вот брат Ленина Дмитрий Ильич считал, что появление псевдонима связано с названием великой сибирской реки, хотя никаких доказательств этой версии не приводил.

Есть и другие, куда более экзотические версии. Скажем, некоторые исследователи допускают, что, находясь в Германии, Владимир Ильич побывал в расположенном неподалеку от Потсдама живописном местечке под названием Ленин, и это название ему так понравилось, что он решил сделать его своим псевдонимом.

Нет, уверяют другие исследователи, село под названием Ленин было не только в Германии, но и в Мозырском уезде Минской губернии, там-то и обнаружил его Владимир Ильич.

Не обошлось и без романтических версий. Одни историки считают, что псевдоним Ленин выбран в честь дочери друга и соратника по партии Пантелеймона Лепешинского, другие ни секунды не сомневаются, что всему виной артистка хора Мариинского театра Лена Зарецкая, в которую, еще до знакомства с Крупской, был влюблен 23-летний Владимир Ульянов. Третьи убеждены, что в казанский период жизни студент Владимир Ульянов был без ума от местной красавицы Елены Лениной, которая несколько позже обещала поехать вместе с ним в Сибирь, но потом передумала.

Удивительно, но ни одна из этих версий так и не нашла документального подтверждения. Сам Владимир Ильич, как только у него пытались вывести тайну происхождения псевдонима, который фактически стал его фамилией и под которым его знал весь мир, тут же переводил разговор на другую тему. Это очень и очень странно, но эту тайну Владимир Ильич унес в могилу и до сих пор она не раскрыта.

А тогда, на заре XX века, став Лениным, Владимир Ильич знать не знал, что, напечатав небольшую книжечку, «увел» в революционный большевистский стан многодетную купеческую жену, которая впоследствии станет самым близким и самым любимым человеком.

А пока что Инессе было не до большевистской революции. В ее личной жизни произошла такая революция,

что ее имя на долгие годы стало предметом насмешек, сплетен и издевательств. Надо же было так случиться, что Инесса по уши влюбилась не в оперного тенора, известного адвоката или юного отпрыска княжеского рода, а... в младшего брата своего мужа.

«Владимир — редкой души человек. У него значительное образование, глубокий взгляд на жизнь и вместе с тем необыкновенная — апостольская простота!» — такая восторженная запись появилась в ее дневнике.

А как же муж? Как дети? Несчастный, но благородный и великодушный Александр отпустил Инессу вместе с детьми, само собой разумеется, назначив солидное содержание. Больше того, он согласился не оформлять развода, так что формально Инесса оставалась его женой и, следовательно, наследницей капиталов и совладелицей текстильных фабрик.

Поселились «молодые» на Остоженке, сняв роскошную квартиру в доме купца Егорова. Так как Владимир считал себя социал-демократом, они вместе со свежеиспеченной большевичкой ударились в революцию. Игра зашла так далеко, что после двух арестов Инессу на два года сослали в Архангельскую губернию. Если раньше вместе с мужьями в ссылку ездили жены, которых потом стали называть декабристками, то теперь все было наоборот: вместе с женой в ссылку поехал ее невенчанный муж Владимир.

Жили они то в городе Мезень, то в деревне Койда. Климат там был отвратительный, и Владимир серьезно заболел: врачи обнаружили туберкулез. Инесса замечалась. Что делать? Как быть? Любимый человек тает на глазах, а она ничем не может помочь. Единственный выход — побег. Надо любой ценой добраться до Швейцарии — туберкулез умеют лечить только там! Деньги, слава богу, есть, а за деньги можно все.

Раздобыв поддельный паспорт, Инесса добралась до Москвы. Там она усадила Владимира в поезд, а сама, опасаясь быть задержанной на границе, осталась в Москве. Сначала Владимир пошел на поправку, но буквально через три месяца Инесса получила извещение, что ему стало хуже. Несмотря на угрозу из-за побега оказаться не

просто в ссылке, а в каторжной тюрьме, Инесса бросилась в дорогу. Через Финляндию, а потом Швецию и Германию она домчалась до альпийского санатория и застала Владимира живым.

Как же он был рад, увидев любимые зеленоватые глаза! А как была счастлива Инесса! Она не отходила от Владимира две недели, все две недели, пока он был жив. Похоронив любимого и памятуя о том, что в России ее ждет неизбежный арест, домой она решила не возвращаться. Перебравшись в Брюссель и страдая от потери невенчанного мужа, Инесса не придумала ничего лучшего, как заглушить неизбывную тоску учебой. Она поступила в университет, за год прошла полный курс экономического факультета и была удостоена ученой степени лиценциата экономических наук.

А в 1909-м Инесса переехала в Париж. Там-то и произошла встреча, решившая ее дальнейшую судьбу: она познакомилась с Лениным. Что было дальше, мы уже знаем. Завороженный женскими чарами Инессы, Владимир Ильич даже не пытался скрывать своих чувств, тем более что жена, видя, как благотворно влияет на него Инесса, не особенно противилась их близости.

Еще больше их сблизило горе — настоящее, большое горе. Так сложилось, что все находящиеся за границей русские социалисты дружили с дочерью Карла Маркса Лаурой и ее мужем, одним из основателей французской Рабочей партии Полем Лафаргом. И вдруг 3 декабря 1911 года пришло потрясшее всех сообщение: Поль и Лаура покончили жизнь самоубийством. Хоронил их, как тогда говорили, весь Париж, вся Франция и, конечно же, все находившиеся в эмиграции русские социалисты.

Инесса пришла на похороны вместе с Лениным и Крупской. Неожиданно для многих на траурной панихиде слово получил Ленин. По-французски Ильич говорил, но не совсем уверенно, поэтому он набросал свое выступление по-русски, попросил Инессу перевести его на французский и затем прочитал эту речь без единой запинки.

Поскорбев и погоревав, Ленин, Крупская и товарищ Инесса — так ее прилюдно называл Ильич — затеяли со-

вершено новое дело. Однажды, когда дамы чинно прогуливались по аллеям пригорода Парижа, который по-русски называется Длинная ослица, а по-французски куда более благородно — Лонжюмо, Ленин сел на велосипед и уехал далеко вперед.

И вдруг он заметил большой застекленный сарай. Спросил, что здесь было раньше? Ответили, что столярная мастерская. А что теперь? Теперь пустует. В аренду сдается? Сдается.

Это то, что нам нужно, решил Ленин, и позвал дам. И Крупская, и Инесса пришли в неописуемый восторг, не забыв отметить поразительную наблюдательность Ленина. Не откладывая дела в долгий ящик, тут же договорились об аренде, а потом нашли и жилье. Ленин с Крупской поселились в доме рабочего-кожевника, а в двух шагах от этого жилища Инесса сняла вполне приличный двухэтажный дом.

Так была создана ставшая впоследствии знаменитой партийная школа в Лонжюмо. Сюда под видом сельских учителей из России приехали 18 рабочих-большевиков, которых учили не только азам марксизма, но и методам конспирации, способам тайнописи и другим премудростям нелегальной борьбы с царизмом.

Как только выпускники школы вернулись в Россию, выяснилось, что квалифицированные руководители нужны не в Париже, а в Петербурге.

Раз надо — значит, надо. И в Петербург отправляется привлекательная, элегантно одетая дама с паспортом на имя Франциски Казимировны Янкевич. Надо ли говорить, что это была Инесса Федоровна Арманд!

Два месяца пани Янкевич будоражила Петербург. А потом произошла осечка: сперва жандармы арестовали одного большевика, потом — второго и, поработав как следует с ними, вышли на след руководителя группы. Как же они были удивлены, когда этим неуловимым руководителем оказалась женщина! Как и положено, ее сфотографировали, не забыв, видимо в качестве особых примет, сделать нелицеприятную приписку: «Выражение лица арестованной серьезное, злое, ехидное».

Ну, а когда выяснилось, что пани Янкевич не кто иная, как находящаяся в розыске Инесса Арманд, следственная машина завертелась с головокружительной быстротой...

Вот-вот должен состояться суд, а потом — каторжная тюрьма, выжить в которой удастся далеко не всем. Узнав об аресте неверной жены, в Петербург примчался Александр Арманд. Сколько он привез с собой денег, история умалчивает, но из Петербурга он уехал с пустыми карманами. Зато Инесса каким-то таинственным образом оказалась в варшавском поезде, причем на границе ее никто не досматривал и паспорта не проверял.

Из Варшавы Инесса перебралась в Краков, а оттуда — в Поронино, где ее с нетерпением ждал... Попробуйте догадаться кто. Ну конечно же «Базиль», он же «Иван», а в последнее время «Ваш Ленин».

Как же они тогда были счастливы! Ленин писал статьи для «Правды», Инесса ему помогала, под псевдонимом Елена Блонина писала и сама, но в какой-то момент, взглянув друг на друга, они швыряли в угол карандаши и ручки, надевали подходящую обувь и уходили в горы. Они так много гуляли и лазали по горам, что в шутку их стали называть «партией прогулистов».

К сожалению, как это часто бывает, счастье оказалось недолгим: началась Первая мировая война. После кратковременного ареста австрийскими властями и почти месячного пребывания в тюрьме Нового Тарга Ленин был освобожден по просьбе дальновидного социал-демократа Адлера и в тот же день перебрался в нейтральную Швейцарию. Инесса последовала за ним.

Некоторое время Ленин, Крупская и товарищ Инесса жили в горной деревушке Зоренберг... Где-то грохочут пушки, стучат пулеметы, звучат предсмертные вопли, а здесь тишина, покой и неправдоподобно безмятежная сельская идиллия. Инесса играла на рояле, Ленин что-то писал, Крупская, ревниво поглядывая на них, вычитывала корректуру.

Но и на этот раз счастье было недолгим. Мы уже знаем, как Ленин рвался в Россию, знаем, кто и как ему по-

могал, знаем и о знаменитом списке Платтена. Надо ли говорить, что Инесса и мысли не допускала остаться в тихой Швейцарии и отпустить Ленина одного, вернее с Крупской, но это все равно что одного. Поэтому в список Платтена она попала одной из первых и проходит там под № 7.

Любопытная деталь. Как мы знаем, деньги на поездку добывал Платтен. Между тем, как стало известно позже, у Ленина была определенная сумма денег, и доверить их он мог только самому близкому человеку. Незадолго до поездки Инесса Арманд с паспортом на имя Софи Попофф по заданию партии отправилась в Париж. Ленин тут же заскучал и начал бомбардировать ее письмами. Среди них было послание отнюдь не лирического, а сугубо делового характера:

«Дорогой друг! Если Швейцария будет втянута в войну, французы тотчас же займут Женеву. Тогда быть в Женеве — значит быть во Франции и оттуда иметь сношения с Россией. Поэтому партийную кассу я думаю сдать Вам (чтобы носили ее на себе, в мешочке, сшитом для сего, ибо из банка во время войны не выдадут). Это только планы, пока между нами.

Ваш Ленин».

Как мы знаем, до России политэмигранты добрались благополучно. В Петрограде они разделились: одни остались в столице, а другие подались в Москву. Среди последних оказалась и Инесса. Работы было невпроворот: выпускать листовки, печатать плакаты, организовывать митинги, проводить демонстрации. А тут еще подоспели выборы в Московскую городскую думу. Большевики рискнули и выставили свои кандидатуры, сформировав список № 5.

Что тут началось! Не было газеты, митинга или собрания, где бы их ни обвиняли во всех смертных грехах, в том числе и в самом главном — предательстве интересов России. Например, газета «Русское слово» писала:

«Люди из безопасного далека приехали к нам, когда совершилась революция. На готовое. В запломбированных немецких вагонах. Что же, скажем гостям: приходите, берите наше добро, владейте и распоряжайтесь?

Да не будет этого позора! Не допустит этого Москва. Не голосуйте за список № 5!»

Но большевики в Думу прошли. Прошла по этому списку и товарищ Инесса.хлопот и забот у нее прибавилось: помимо дел партийных пришлось заниматься проблемами экономическими, снабженческими, транспортными и многими другими. Она так вошла в роль деловой дамы, что даже после победы Октября осталась на своем месте, правда, теперь у нее была достаточно высокая должность председателя Московского губернского Совета народного хозяйства.

Жила она в гостинице «Националь». Получала 1000 рублей в месяц, кроме того, у нее было «право на первую категорию классового пайка». На фоне дикой разрухи и всеобщего голода такой паек дорогого стоил. Инессе его хватало, но здоровья все равно не было. Прихварывать она стала все чаще и чаще. Ленин это заметил и в феврале 1919-го организовал ей поездку в Париж, где можно было не только подлечиться, но и выполнить благороднейшую миссию по возвращению на Родину солдат Русского экспедиционного корпуса.

Напомню, что в начале Первой мировой войны Франции приходилось туго — поражение следовало за поражением, и людские потери были огромны. Пополнять полуразбитые полки и бригады было и нечем, и некуда. И тогда французский президент ударил челом русскому царю и попросил прислать в его распоряжение 400 тысяч русских солдат. Царь просьбу президента уважил, но послал ему не 400 тысяч, а 44 тысячи русских солдат. Сперва их везли в теплушках через всю Сибирь до Владивостока, а потом морем до Бреста и Марселя. Им тут же выдали французское оружие, разбили на четыре бригады и бросили в бой.

Сражались русские храбро, но потери несли огромные: на полях Франции полегло более трети личного состава.

После Февральской революции русские солдаты потребовали отправки на Родину, но французское командование не желало оголять фланги. Тогда русские бригады подняли восстание. По ним открыли артиллерийский огонь. После пятидневного обстрела, когда было убито несколько сот человек, восстание было подавлено. Часть солдат бросили в тюрьмы, а часть отправили на каторжные работы в Северную Африку.

В этой-то непростой ситуации Инесса Арманд занялась освобождением солдат из тюрем и возвращением их на Родину. Одной с таким делом не справиться, поэтому в качестве помощников она взяла Дмитрия Мануильского и Якова Давтяна. Если с Мануильским она познакомилась в Париже, когда тот учился в Сорбонне, то Давтяна знала как представителя российского Красного Креста, работавшего в годы войны в Брюсселе, а потом вместе с ней в губсовнархозе.

Так как Инесса была официальным лицом и выполняла задание правительства, ей выдали дипломатический паспорт. Этот документ, напечатанный чуть ли не на тетрадном листке, сохранился. Подписал его заместитель наркома иностранных дел Лев Карахан и для солидности поставил номер — 1003. Вот что там было написано: «Объявляется всем и каждому, что предъявитель сего Российская гражданка Елизавета-Инесса Арманд отправляется в качестве члена Миссии Всероссийского Общества Красного Креста во Францию».

Любопытен этот документ прежде всего тем, что в паспорт было вписано второе имя Инессы, хотя Елизаветой ее никто и никогда не называл.

Так как Европа еще не остыла от войны и железные дороги были разрушены, немногочисленная делегация Красного Креста избрала морской путь. До Дюнкерка добрались благополучно, хотя море все время штормило, а их старенький пароход от усталости и безысходности время от времени норовил пойти на дно.



На торжественную встречу и дружеские объятия советские посланники не рассчитывали, но то, что их ожидало, превзошло самые неприятные предвидения: делегацию тут же окружили полицейские, затолкали в крытый грузовик и куда-то увезли. Лишь после того как Инесса пригрозила голодовкой и международным скандалом, режим был смягчен и ей разрешили связаться с Москвой. Инесса побежала на почту и, сознательно не пользуясь шифром, послала взволнованную телеграмму:

«С момента нашего приезда во Францию мы были интернированы в Мало-лэ-Бен, сначала в гостинице, а в настоящее время на вилле, причем офицеры не спускают с нас глаз. Без сопровождения мы не можем выходить за пределы виллы. Не будучи в состоянии вступить в контакт с нашими соотечественниками, мы не можем принять ни одного посетителя».

И все же Инесса вырвалась за пределы виллы, зафрахтовала пароход «Дюмон Дюрвилль» и отправила на Родину первую тысячу русских солдат. На этом же пароходе вернулась и она, а Мануильский и Давтян продолжали комплектовать новые группы, пока не вернули всех, кто хотел оказаться на Родине.

А Инессу ждало новое назначение: по возвращении в Москву она стала заведующей Женским отделом ЦК РКП(б). С одной стороны, это назначение Инессу обрадовало — чуть ли не каждый день она виделась с Лениным, а с другой — уж очень странным делом пришлось ей заниматься. В соответствии с учением Маркса, нужно было убедить всех женщин России, что главная их задача не забота о семье, а классовая борьба, что домашний труд вот-вот отомрет, что вместо кастрюль и корыт появятся общественные кухни, столовые и прачечные, что воспитание детей на себя возьмут детские сады и ясли, а что касается любви, то она должна быть свободной, настолько свободной, что ее следует рассматривать как свободу выбора партнера — и не больше.

Новая советская семья — это семья тружеников. Иначе говоря, участвовать в строительстве социализма должны все — мужчины, женщины, достигшие трудоспособ-

ного возраста дети и даже не потерявшие способности работать старики и старухи.

Надо ли говорить, какое неприятие в обществе вызвали эти идеи! Но Инесса моталась по фабрикам и заводам, выступала на митингах и собраниях, писала статьи и фельетоны. Она даже провела Международную конференцию коммунисток, где была и докладчиком, и переводчиком, и гидом, и завхозом. Провела — и свалилась с ног, причем в самом прямом смысле слова. В феврале 1920-го обеспокоенный Ленин пересылает ей записку:

«Дорогой друг! Итак, доктор говорит, воспаление легких. Надо архиосторожной быть. Непременно заставьте дочерей звонить мне (12-4) ежедневно.

Напишите откровенно, чего не хватает? Есть ли дрова? Кто топит?

Есть ли пища? Кто готовит? Компрессы кто ставит?

Вы уклоняетесь от ответов — это нехорошо. Ответьте хоть здесь же, на этом листке. По всем пунктам.

Выздоровливайте!

Ваш Ленин.

Починен ли телефон?»

Как это было свойственно Ильичу, наиболее важные слова он подчеркивал, причем многократно. Так вот все, что касается архиосторожности, откровенности, пищи и особенно «всех пунктов», — подчеркнуто по три-четыре раза.

Мне кажется, что комментировать это письмо нет смысла — и так ясно, что написать его мог не просто соратник по борьбе, не просто друг, а очень и очень близкий человек.

Но Ленин на этом не успокаивается. Он понимает, что ни компрессы, ни дрова здоровье Инессе не вернут, нужно более серьезное, санаторное лечение. И он пишет ей новое, умоляюще-тревожное письмо:

«Дорогой друг! Грустно очень было узнать, что Вы переутомились и недовольны работой и окружающими (или коллегами по работе). Не могу ли помочь Вам, устроив в

санатории? С великим удовольствием помогу всячески. Если едете во Францию, готов, конечно, тоже помочь: побаиваюсь и даже боюсь только, очень боюсь, что Вы там влетите... Арестуют и не выпустят долго. Надо бы поосторожнее. Не лучше ли в Норвегию (там по-английски многие знают) или в Голландию? или в Германию в качестве француженки, русской (или канадской?) подданной.

Лучше бы не во Францию, а то Вас там надолго засадят и даже едва ли обменяют на кого-либо. Лучше не во Францию...

Если не нравится в санаторию, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ? Серго устроит отдых, солнце, хорошую работу, наверное устроит. Он там власть. Подумайте об этом.

Крепко, крепко жму руку.

Ваш Ленин».

Вы заметили, как часто в этом письме упоминается Франция? И это не случайно. Дело в том, что на свою историческую родину Инесса собиралась не лечиться и отдыхать, а на подпольную работу. В те годы все коммунисты бредили мировой революцией и почему-то считали, что ситуация в Европе предреволюционная, что стоит только поднести спичку — и вспыхнет мировой пожар. Такой спичкой должны стать опытные пропагандисты-агитаторы, которые убедят рабочих Англии, Франции, Германии и других стран взяться за оружие.

Францию задумали препоручить заботам Инессы: в конце концов, она француженка, и ее там примут как свою. Инесса уже упаковывала чемоданы, когда последовала команда «отбой» — с революцией во Франции решили повременить. Сидеть без дела Инесса не могла ни минуты, а бабские митинги ей осточертели — и тогда она решила: займусь собой! Не исключено, что рокового решения поехать на Кавказ она бы так и не приняла — о себе Инесса беспокоилась мало, но вот младший сын Андрей расхворался основательно, и помочь ему мог толь-

ко горный воздух. «Еду!» — решила Инесса и сообщила об этом Ленину.

Ильич тут же озаботился организацией этой поездки. Прежде всего, он собственноручно написал сопроводительное письмо в Управление курортами и санаториями Кавказа:

«Прошу всячески помочь наилучшему устройству и лечению подательницы, тов. Инессы Федоровны Арманд, с большим сыном.

Прошу оказать этим, лично мне известным партийным товарищам, полное доверие и всяческое содействие».

Устроить в санаторий — это одно. А обеспечить безопасность? Ведь на Кавказе еще стреляют, да и по Кубани гуляют недобитые банды. И обеспокоенный Ленин отправляет члену Реввоенсовета Кавказского фронта Серго Орджоникидзе шифрованную телеграмму:

«Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировать, в случае надобности, вовремя на Петровск и Астрахань или устроить (сын болен) в горах около Каспийского побережья и вообще принять все меры».

Меры были приняты, и в конце августа 1920 года Инесса Арманд вместе с сыном приехала в Кисловодск. Причем прибыла она, как свидетельствует запись в журнале, «одиночным порядком и согласно приказу наркомата Н. А. Семашко направлена на лечение в одну из санаторий». А уже в санатории на основании (путевке) «отдела лечебных местностей Наркомздрава» сделали отметку: «Явлена и зарегистрирована в Комендантском Управлении гор. Кисловодска 22/VIII — 20 г. за № 555».

Итак, Инесса Федоровна в Кисловодске. Совершенно неожиданно она там встретила со своей давней приятельницей, которая, как ни старалась, не смогла составить ей компанию. Инесса вежливо раскланивалась, выслушивала словоизлияния о погоде и, круто повернувшись, отправлялась на прогулку.

— Это был какой-то запой одиночества! — рассказывала несколько позже словоохотливая подруга. — Инесса приехала такая усталая и разбитая, такая исхудавшая. Ее

утомляли люди, утомляли разговоры. Она старалась уединиться и по целым вечерам оставалась в своей темной комнате, так как там не было даже лампы.

В то же время она отмечала, что Инесса была «сильно истощена и нервно крайне расстроена». Врачи это наблюдение подтвердили, записав точно такие же слова в медицинской книжке.

Между тем прогулки, которые совершала Инесса, становились все продолжительнее, по вечерам в своей темной комнате она уже не сидела, а приходила в музыкальную комнату и часами играла на рояле. У нее появился аппетит, на щеках — румянец, она стала замечать людей, азартно играла в крокет, охотно шутила, заразительно смеялась — словом, пошла на поправку.

Это видно и из письма, которое она отправила дочери:

«Мы уже 3 недели в Кисловодске, и я не могу сказать, чтобы до сих пор мы особенно поправились с Андреем. Он, правда, очень посвежел и загорел, но пока еще совсем не прибавил весу».

Да уж, прибавить весу в тех условиях было трудно: не случайно сами курортники не без иронии говорили: «Мы тут не питаемся, а немножко подкармливаемся».

А вскоре комендант запретил ходить в горы — оттуда доносилась не просто стрельба, а раскаты артиллерийской канонады. Страшновато стало и по ночам: то совсем рядом застучит пулемет, то разорвется граната. Это пытались прорваться из окружения остатки белогвардейского десанта генерала Фостикова, которых поддерживали бандитские шайки всевозможных абреков.

Изменилась обстановка — изменилось и настроение Инессы. Вскоре в Москву полетело совсем другое письмо:

«Я сначала все спала, и день и ночь. Теперь, наоборот, совсем плохо сплю. Принимаю солнечные ванны и душ — но солнце здесь не особенно горячее — не крымскому чета, да и погода неважная. Частые бури, а вчера так совсем было холодно. Вообще не могу сказать, чтобы я была в большом восторге от Кисловодска. И сейчас начинаю уж скучать».

Твоя мать».

Чтобы дочь не волновалась, Инесса ничего не пишет о прифронтовой обстановке в кисловодском санатории. А ситуация между тем сложилась настолько серьезная, что было принято решение — отдыхающих немедленно эвакуировать. Как всегда, кто-то запаниковал, заплакал, запричитал, что не хватит мест, что нужно усилить охрану, что надо потребовать бронепоезд. И тогда на помощь растерявшемуся персоналу пришла Инесса.

— Тихо! — перекрывая вопли и причитания закричала она. — Без паники! Белые еще далеко. А пулеметы стреляют наши. И пушки бьют тоже наши. Пули и снаряды летят не в нашу сторону, так что нечего размазывать сопли! — неожиданно лихо закончила она. — Комендант, прикажите отправить прежде всего женщин и детей. Мужчины поедут на вокзал последними. А замыкать колонну буду я!

Тут уж не на шутку испугался комендант. Он читал сопроводительное письмо Ленина и прекрасно понимал, что если с головы Инессы Арманд упадет хотя бы один волос, ему несдобровать.

— Нет, товарищ Инесса, — набравшись храбрости, заявил он. — Так дело не пойдет! За эвакуацию отдыхающих отвечаю я, и, если что не так, Реввоенсовет будет спрашивать с меня. Хотя вы здесь и по приказу наркома, но раз вы отдыхающая, то извольте соблюдать дисциплину. Первыми едут женщины и дети. Это приказ! На вас он, товарищ Инесса, распространяется так же, как и на других.

— Молодец, комендант! — улыбнулась Инесса. — Давно бы так. Куда хоть едем-то?

— Для начала — в Нальчик. А там посмотрим...

До ближайшей большой остановки, которая была во Владикавказе, тащились четверо суток. Кто-то в пути заболел, кто-то чуть было не отстал, кто-то умолял положить в ближайшую больницу — всем им, то обещая, то успокаивая, на помощь приходила Инесса. Зато во Владикавказе ее ждала совершенно неожиданная, и от этого еще более приятная, встреча. Когда на перроне к ней бросился одетый в военную форму красавец грузин,

Инесса на какое-то мгновение даже отшатнулась, а потом радостно расхохоталась.

— Батюшки-светы! — всплеснула она руками. — Да неужто это мой любимый «сельский учитель»? Неужто вы сюда прямо из Длинной ослицы? А уроки французского не забыли? А как на всю округу пели грузинские песни, помните?

— Помню, дорогая товарищ Инесса, все помню, — почтительно склонил голову Серго Орджоникидзе. — Лонжюмо — это на всю жизнь. Именно там, благодаря вам и Владимиру Ильичу, я научился думать и стал сознательным большевиком.

— Вы далеко пошли, дорогой Серго. Вы стали не просто сознательным большевиком, но еще и полководцем, членом Реввоенсовета Кавказского фронта.

— Ну что вы, — смутился Серго. — Какой из меня полководец?! Военному делу я еще только учусь. А как вы? Как отдохнули? Как здоровье? Как сынишка? — сменил он тему, отметив про себя, что выглядит Инесса неважно.

— Отдохнула вполне прилично, — храбро начала Инесса, хотя прекрасно поняла погрустневший взгляд Орджоникидзе. — Андрюшка поправился. Я тоже. Хотя не прибавила ни одного килограмма, — не удержалась она от кокетливого тона, но тут же поникла. — Что, товарищ Серго, я изменилась? Постарела?

— Что вы, что вы! — вспыхнул Серго. — Абсолютно нет, дорогой товарищ Инесса! Я бы даже сказал — помолодели.

— Ну, это вы хватили, — отмахнулась Инесса. — Это вы говорите как кавказский мужчина. Но все равно приятно! — озорно улыбнулась она.

Отдохнув денек во Владикавказе, горе-курортники двинулись дальше, но буквально через сутки застряли в Беслане. На этот раз надолго. Там было такое скопище людей, такая грязь и мерзость, что, как считали врачи, именно эта стоянка стала для Инессы роковой.

До Нальчика все-таки добрались, и даже неплохо провели там целый день: осмотрели город, побывали на со-

брании местных коммунистов, где Инесса «долго и восторженно говорила о последней работе Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». А ночью ей стало плохо. Так плохо, что утром пришлось отвезти в больницу.

Диагноз установили быстро — холера. Инесса то теряла сознание, то приходила в себя, извинялась, что с ней приходится возиться. От обезвоживания организма она сильно похудела. Потом начались судороги. Стал хриплым, а затем совсем пропал голос.

Эпидемия холеры поразила тогда всю страну. Больные умирали десятками тысяч. Инесса сражалась двое суток. В полночь она в очередной раз потеряла сознание. Врачи делали все возможное — инъекции, уколы, капельницы, но утром ее не стало.

В тот же час из Нальчика полетела телеграмма: «Вне всякой очереди. Москва. Совнарком. Ленину. Заболевшую холерой товарищ Инессу Арманд спасти не удалось тчк Кончилась 24 сентября тчк Тело перепроводим в Москву тчк Назаров тчк».

Гроб с телом Инессы Арманд провожал весь Нальчик. Оркестры играли «Вы жертвою пали», перрон был завален цветами, а у вагона, который отвели Инессе, безутешно рыдали кисловодские курортники, которые успели полюбить то грустную, то веселую, то молчаливую, то озорную, но никогда не унывающую Инессу Федоровну Арманд.

Москва встречала Инессу с нескрываемой печалью. От Казанского вокзала до Дома союзов гроб с ее телом несли на руках. В газетах были напечатаны пространные некрологи с рассказом о жизни и деятельности покойной. А женщины столицы обратились ко всем работникам со специальным призывом:

«Товарищи работницы! Мы призываем вас всех, которым усопшая отдала свою жизнь, почтить память тов. Инессы. Пусть будет жива о ней память среди тех, кто теперь среди голода и разрухи идет упорным трудом к светлой жизни».

Делегаций к гробу шло множество. Но что характерно: шли не только делегации, направленные райкомами



или профкома, шли молоденькие девушки; шли старушки, шли искалеченные солдаты Первой мировой, шли рабочие Лефортовского района, где в молодые годы Инесса занималась пропагандистской работой.

Но вот внесли венок из белых живых цветов. На муаровой ленте надпись: «Тов. Инессе — от В. И. Ленина».

Похороны состоялись 12 октября. Вот как описывала это событие одна из столичных газет:

«У Дома союзов шпалерами выстраиваются пулеметчики. Не по-осеннему жарко. Оркестр Большого театра под управлением знаменитого Вячеслава Сук играет траурный марш Шопена. После шопеновского марша — партийный гимн «Интернационал». Траурная колесница медленно трогается».

Хоть это не принято, но я на секунду прерву этот репортаж. Дело в том, что первым за колесницей шел человек, для которого эта утрата была невозполнимой, для которого это была не просто потеря друга, а потеря любимой женщины, без которой борьба — не борьба и жизнь — не жизнь. Ну кто теперь ему скажет: «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью»? Кто, забыв о женской гордости, воскликнет на весь белый свет: «Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно»?!

Как же ему было больно теперь! Все считают его вождем, твердокаменным человеком, а ведь он простой пожилой мужчина, у которого все сердце в слезах, который готов наплевать на революционные битвы и лечь рядом с женщиной, которая с полным на то правом подписывала свои письма «Твоя Арманд».

Когда шедшая неподалеку от Ленина Александра Коллонтай взглянула на Ильича, она была ошеломлена.

«Ленин был потрясен, — написала она в тот же вечер в своем дневнике. — Когда мы шли за гробом Инессы, Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами, и казалось, вот-вот упадет».

Поразительно, но через четыре года Коллонтай вернулась к этой записи и дополнила ее провидческими словами: «Смерть Инессы Арманд ускорила смерть Ленина: он, любя Инессу, не смог пережить ее ухода».

А теперь вернемся к прерванному репортажу.

«На Красной площади, у Кремлевской стены, у раскрытой могилы — митинг. Прощальные слова произносят представители ЦК и других московских организаций. От Центрального отдела работниц последнее «прости» Инессе сказала Александра Коллонтай. Выступают работницы Москвы, Петрограда, представительницы женщин Средней Азии и горянок Терска.

Сухие комья земли со стуком падают на гроб.

Надежда Константиновна, Владимир Ильич, соратники Инессы обнимают ее осиротевших детей. Звучит троекратный пулеметный салют.

Оркестр опять играет похоронный марш. Потом группа работниц, окружая полусасыпанную могилу, тихо поет «Вы жертвою пали».

Все кончено».

Все — да не все! Надо сказать, что в этой непростой ситуации исключительно деликатно вела себя Надежда Константиновна Крупская. Она видела, как страдает муж, понимала, что сейчас ему не до нее, что помочь ему может только время. Но и молчать она не могла — ведь Инесса была и ее подругой. Поэтому без тени сомнения в день смерти Инессы напечатала в «Правде» горестное сообщение: «Из семьи коммунистов ушел неустанный работник, беззаветно преданный делу, ушел человек с горячим сердцем, искренний и умный».

А спустя полгода, когда Владимир Ильич пришел в себя от перенесенного удара, он снова, как это было не раз раньше, решил позаботиться об Инессе. Не доверяя телефону, он собственноручно написал председателю Моссовета обеспокоенную записку:

«Дети Инессы Арманд обращаются ко мне с просьбой, которую я усердно поддерживаю.

Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?

То же — о небольшой плите или камне?

Если можете, черкните мне, пожалуйста, через кого (через какие учреждения или заведения) это Вы сделали, чтобы дети могли туда дополнительно обратиться, проверить, дать надписи и т. п.

Если не можете, черкните тоже, пожалуйста: может быть, мне следует написать куда-либо, и не знаете ли, куда?»

И еще... Сразу после кончины Ильича, когда еще не был решен вопрос о строительстве мавзолея, ходили упорные слухи, что Крупская предлагала похоронить Ленина рядом с Инессой Арманд. Что и говорить, это было бы не просто благородным поступком, а стало бы великолепным памятником любви, верности и преданности не только до гроба, но и за гробом.

Вчерашние соратники Ильича эту идею конечно же отвергли. О какой там верности и преданности речь, если впереди их ждали бесконечные выяснения отношений, предательство, гнусность, подлость и грязь. В конце концов они перестреляют друг друга. А пока что, памятуя о списке Платтена, уничтожат тех, кого в списке не было, но кто был так или иначе связан с теми, кто в этот список входил.

## **Глава 10**

### **Похвальное слово женщины**

Помните о совместной поездке во Францию Инессы Арманд, Дмитрия Мануильского и Якова Давтяна? Если Мануильскому эта поездка пошла на пользу — со временем он станет и депутатом Верховного Совета СССР, и заместителем Председателя Совета Министров Украины, то у Давтяна все пошло наперекосяк.

После того как подавляющее большинство членов Русского экспедиционного корпуса оказалось дома, вернулся на Родину и Давтян.

Почувствовав вкус ко всякого рода уговорам и переговорам, он обратился в ЦК с просьбой об устройстве на работу «с учетом его зарубежного опыта». Опыт у него и в самом деле был. Еще в 1905-м, будучи петербургским студентом, он вступил в РСДРП, активно участвовал в недозволенной политической деятельности, за что был отчислен, арестован и заключен в тюрьму.

Освободиться ему помог отец, зажиточный армянский коммерсант. Но он поставил сыну условие: никакой политики и продолжение учебы за границей. В тот же день Яков уехал в Бельгию, где через несколько лет получил диплом инженера. Именно в те годы, на свое несчастье, он познакомился с Инессой Арманд, которая привлекла его сначала к работе в губсовнархозе, а потом и в миссии Красного Креста.

Обращаясь с просьбой об устройстве на работу с учетом его зарубежного опыта, Давтян рассчитывал занять какой-нибудь дипломатический пост, а ему выдали кожанку, маузер и снабдили грозным мандатом:

«Тов. Давтяну поручается восстановление порядка в районе Киевского железнодорожного узла, прекращение бесчинств войсковых эшелонов, задержание дезертиров, выселение из вагонов всех лиц, коим по штатам пользование ими не положено. Тов. Давтян имеет право ареста с последующим преданием суду состоящего при нем Ревтрибунала всех, не подчиняющихся его распоряжению, право пользования прямыми проводами, телефонным и телеграфным, право проезда в любом поезде и пользование отдельным паровозом».

Как часто Давтян пользовался этим мандатом и вытаскивал ли из кобуры маузер, история умалчивает, но порядок на Киевском железнодорожном узле был наведен. Только-только Яков Христофорович втянулся в новое для него дело, как его срочно отозвали в Москву и напра-

вили на работу в Народный комиссариат иностранных дел, и не кем-нибудь, а заведующим отделом Прибалтийских стран.

Не прошло и нескольких месяцев, как на него, если так можно выразиться, положил глаз всемогущий глава ВЧК Дзержинский. А «напела» ему о Давтяне Инесса Арманд. Однажды, после ночного заседания в ЦК, они шли по коридору и вдруг почти одновременно прильнули к окну.

— Боже мой! — как-то по-бабы ойкнула Инесса. — Вы посмотрите! Нет, вы только посмотрите! — тормозила она Дзержинского. — Это же не восход, а что-то непостижимое, божественное. Оранжевая середина, зеленоватые края и пурпурные лучи. Я такой восход видела только раз в жизни. И знаете, где? В Поронине. Тогда мы с Владимиром Ильичом много гуляли, лазали по горам и даже создали «партию прогулистов». И вот однажды, на рассвете, видели нечто подобное, — кивнула она за окно. — Красота-а-а...

— Не красота, а красотища! — теребя бородку, мечтательно улыбнулся Дзержинский. — А я такой рассвет видел в Сибири. Меня туда сослали на вечное поселение, но мне сибирский климат не понравился, и я оттуда бежал. И вот однажды, ночью, у костра... Мой проводник услышал подозрительный шорох и огонь быстренько затоптал. Не успел я как следует проморгаться, как вершины сопки вспыхнули вот таким же пурпурным огнем. А в Поронине, как вы, наверное, помните, я бывал наездами, в «партии прогулистов» не состоял, тем более что вскоре оказался в Варшавской цитадели, а потом и в Орловском центре.

— Помню, Феликс Эдмундович, я все помню, — не отрывала глаз от окна Инесса. — Я даже помню, как на похоронах Лауры и Поля Лафарга переводила на французский...

— Стоп! — остановил ее Дзержинский. — Мне нужна ваша помощь. Да-да, — заметив ее удивленный взгляд, с нажимом продолжал Дзержинский. — Мне нужен человек, который бы не только знал пару-тройку иностранных

языков, но, кроме того, имел опыт жизни за границей. Вы меня понимаете? Манеры, привычки, поведение...

— Чтобы в любом обществе мог сойти за своего? Чтобы по манере одеваться, говорить и вести себя за столом никто не догадался, что он приехал из России?

— От вас ничего не скроешь, — покорно склонил голову Дзержинский. — Но этот человек должен быть абсолютно надежным товарищем и преданным делу революции коммунистом.

— Надежный и преданный, — покусывая губы, задумчиво произнесла Инесса. — Ручаться, как за себя, конечно, не могу, но... есть у меня такой человек. Да вы с ним знакомы. Хотя в деле его видела только я: мы занимались возвращением на Родину солдат Русского экспедиционного корпуса. Умен, находчив, ловок, сметлив, за словом в карман не лезет, но и лишнего не скажет. К тому же откровенно красив — женщины таких любят, в обществе — душа компании. Ну и что для вас немаловажно: в тюрьмах сидел, эмигрантского хлеба наелся досыта, в партии с 1905-го.

— Так-так-так! — азартно потирая руки, воскликнул Дзержинский. — И кто же этот герой?

— Давтян. Яков Христофорович Давтян.

— Слышал о таком, — раздумчиво произнес Дзержинский. — И даже немного знаком. Надо будет подумать... Спасибо, товарищ Инесса. Ваша рекомендация дорогого стоит, — шутливо раскланялся Дзержинский. — А вы говорите — восход. Восход восходом, а вон мы какое дело спроворили. Вы еще о своем протезе услышите!

Дело было настолько серьезным, что по этому поводу состоялось специальное заседание Оргбюро ЦК РКП(б), которое приняло решение: «Просьбу тов. Дзержинского удовлетворить. Откомандировать в его распоряжение тов. Давтяна».

Так Яков Христофорович Давтян стал первым в истории советских спецслужб начальником Иностранного отдела ВЧК, более известного как ИНО. Разведка, да еще закордонная, дело настолько тонкое и серьезное, что не имевший никакого опыта Давтян поначалу от нового на-

значения растерялся. А потом его осенила гениальная идея: а почему бы нашим разведчикам не работать под крышей дипломатических представительств, а ему, их начальнику, не совмещать две должности и не работать одновременно и в Наркоминделе, и в ВЧК? Руководство его поддержало, и Давтян с присущим ему энтузиазмом занялся созданием ИНО.

Был, правда, один червячок, который постоянно точил самолюбие Якова Христофоровича: он считался не полноправным начальником ИНО, а всего лишь исполняющим обязанности. Давтян терпел-терпел и написал докладную записку в Управление делами ВЧК, прося прояснить ситуацию и утвердить его в должности начальника Иностранного отдела. Но руководство рассудило иначе: оставаясь сотрудником Наркоминдела и находясь за границей, Давтян должен выполнять поручения ВЧК и лично Дзержинского.

С первой зарубежной командировкой у Давтяна вышел полный конфуз: как раз в эти дни в Венгрии случилась революция, и новоиспеченного разведчика-дипломата решили направить в Будапешт.

Но пока тянулась волокита с оформлением документов, революция потерпела поражение, и Венгерская советская республика прекратила свое существование. А ведь планы в Москве были грандиозные: в Венгрию чуть было не бросили Первую конную армию, разумеется, под видом добровольцев-интернационалистов.

Но так как обязанности дипломата, и особенно разведчика, требуют постоянного присутствия за границей, Якова Христофоровича непрерывно перебрасывают из одной страны в другую. За пятнадцать лет своей закордонной службы он успел поработать в Эстонии, Литве, Китае, Туве, Франции, Греции, Иране и Польше. Одно время он даже был ректором Ленинградского политехнического института. Что там было делать карьерному дипломату и такому же карьерному разведчику, можно только гадать.

Если результаты работы Давтяна в Греции, Польше и Франции до сих пор засекречены, то о его пребывании в

Китае кое-что известно. Прибыв в Китай в 1922 году, буквально через две недели Яков Христофорович отправляет шифровку в Москву:

«Нашу работу здесь я считаю чрезвычайно важной и полагаю, что тут можно много сделать. Здесь узел мировой политики и ахиллесова пята не только мирового империализма, но и наша. И исключительно от нас зависит здесь завоевание прочных позиций на Дальнем Востоке».

Сделал он действительно много, особенно как резидент ИНО. Спустя год Давтян с нескрываемой гордостью сообщает:

«Несколько слов о нашей специальной работе. Она идет хорошо. Если вы следите за присылаемыми материалами, то, очевидно, видите, что я успел охватить почти весь Китай. Ничего существенного не ускользает от меня.

Наши связи расширяются. В общем, смело могу сказать, что ни один шаг белых на Дальнем Востоке не остается для меня неизвестным. Все узнаю быстро и заблаговременно.

С сегодняшним курьером посылаю вам весь архив белогвардейской контрразведки, полученный в Мукдене. Прошу принять меры, чтобы этот архив не замариновался и был использован.

Ставлю серьезный аппарат в Харбине. Есть надежда проникнуть в японскую разведку».

Увлечение разведывательной работой не могло не сказаться на делах дипломатических. Из Наркоминдела на имя Давтяна стали поступать телеграммы с требованием предпринять «определенные усилия и добиться успеха» на чисто дипломатическом фронте. Яков Христофорович сделал вид, что ничего не понял. Тогда ему вклеили выговор от имени коллегии Наркоминдела.

Давтян страшно обиделся! В сердцах он посылает возмущенную телеграмму в Москву:

«Думаю, что Пекин будет моей последней работой в этом милом учреждении. Хочу работать в Москве или в крайнем случае на Западе.

Предпочел бы с НКВД вообще порвать, ибо все-таки не могу ужиться с ними».



Но, поостыв, Давтян взял себя руки и еще пятнадцать лет не просто уживался, а много и плодотворно работал на внешнеполитическом поприще. Последней его должностью была должность полпреда в Польше.

В 1938-м Якова Христофоровича отозвали в Москву и тут же арестовали. Что заставило его соратников по партии отдать такой приказ, одному богу известно. Но если учесть, что список Платтена к этому времени был исчерпан и его начали чистить по второму кругу, то есть уничтожать людей, которых в списке не было, но которые так или иначе были связаны с людьми, что находились вместе с Лениным и в вагоне, и на пароме, то все станет ясно.

Обвиняли Якова Христофоровича в полнейшей чепухе: участие в армянской антисоветской националистической организации, руководство правотроцкистской группой, созданной в полпредстве СССР в Польше, и, конечно же, работа на польскую разведку. Никакие объяснения и никакие оправдания создателя Иностранного отдела ВЧК Военная коллегия Верховного суда СССР в расчет не приняла и приговорила Давтяна к расстрелу.

Прожил Яков Христофорович Давтян всего 50 лет. С его-то кавказскими генами жить бы ему и жить, если бы... не похвальное слово Инессы Арманд.

## Глава 11

### От Бреста до Стамбула

Последним, кто имел косвенное отношение к списку Платтена и из-за этого пострадал, был Лев Михайлович Карахан. Напомню, что это он подписал дипломатический паспорт Инессы Арманд за номером 1003, это он вместе с Каменевым, Сокольниковым и Радеком участвовал в подготовке и подписании позорного Брест-Литовского мира и, как выяснила впоследствии Военная коллегия Верховного суда СССР, «с 1934-го был участником антисоветского заговора правых, в который был завербован Ягодой (он же Иегуда Енох Гершенович), а с 1927-го агентом германской разведки».

Суд над Караханом состоялся 20 сентября 1937 года. Время тогда было лихое. Сталин затеял такую грандиозную чистку, что пулю в затылок получали маршалы и генералы, дворники и полотеры, учителя и инженеры, врачи и дипломаты, народные комиссары и вчерашние чекисты. Среди чекистов оказался проливший моря крови нарком внутренних дел Ягода, а среди дипломатов — Лев Карахан.

Так кто же он на самом деле, «заговорщик» и «шпион» Лев Михайлович Карахан (он же Леон Михайлович Караханян)?

Родился он в Тифлисе, в довольно обеспеченной и благополучной семье армянского адвоката. Идти бы ему по стопам отца, и прожил бы не сорок восемь, а, быть может, сто лет, так нет же, начитался книжек про свободу, равенство и братство и решил бороться за счастье угнетенного народа.

Пятнадцатилетним гимназистом вступил в РСДРП. Из гимназии его исключили. Он экстерном сдал экзамены за гимназический курс, с великим трудом получил аттестат зрелости и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Со второго курса его исключили и оттуда.

Потом были аресты, ссылки, жизнь под надзором полиции — словом, все, что положено борцу за счастье простого народа.

Как бы то ни было, следует признать, что карьеру при большевиках Карахан сделал отменную: в 1917-м он один из руководителей штурма Зимнего, а в 1918-м выезжает в Брест и участвует в подписании грабительского мира с Германией. Брестский мир подписали в марте, а в мае Лев Карахан становится заместителем наркома иностранных дел.

Тифлисскому армянину всего 29 лет, а он уже замнаркома — это ли не блестящая карьера?!

Его непосредственный начальник нарком Чичерин в таком восторге от своего заместителя, что пишет Ленину сверхблестящую аттестацию на Карахана:

«Я могу смело сказать, что наша борьба с затопляю-

щей нас страшно ответственной политической работой за последние месяцы при развитии сношений с массой государств была героической. Мы в состоянии с этим справиться только потому, что я с тов. Караханом абсолютно спелись, так что на полуслове друг друга понимаем без траты времени на рассуждения.

В общем и целом у меня более общая политическая работа, у него же море деталей, с которыми он может справиться только благодаря своей замечательной способности быстро и легко ориентироваться в делах и схватывать их, своему ясному здравому смыслу и своему замечательному политическому чутью, делающему его исключительно незаменимым в этой области».

Ленин тоже проникся особым доверием к Карахану: многие документы Ильич подписывал лишь тогда, когда на них свою визу ставил Карахан. Так было до 1923 года, когда Карахана направили в Южный Китай, где было создано демократическое правительство во главе с Сунь Ятсеном, убежденным сторонником сотрудничества с Советской Россией.

Правда, до этого Лев Михайлович успел побывать полпредом в Польше, а в период Генуэзской конференции, когда Чичерина не было в Москве, Карахан исполнял обязанности наркома.

Учитывая то, что в Северном Китае, то есть в Пекине, заседало совсем другое правительство, которое не разделяло взглядов Сунь Ятсена, задачей Карахана было не только установить дипломатические отношения с Южным Китаем, но и способствовать победе Сунь Ятсена во всем Китае. Не случайно почти одновременно с Караханом в Южный Китай отправилась группа военных советников во главе с Блюхером и Путной (через пятнадцать лет они будут расстреляны как шпионы и враги народа). Да и два миллиона долларов, направленных из голодающей России просоветски настроенным китайцам, тоже чего-то стоили.

Все это возымело действие, и в одном из первых сообщений в Москву Карахан пишет: «Нет ни одной китайской газеты, которая не приветствовала бы моего приезда

и не требовала немедленного урегулирования отношений с нами».

Тем не менее переговоры шли ни шатко ни валко: Пекин упорно не признавал Советский Союз. Карахан неделями не выходил из дома, его никто не навещал, телефон молчал, почту не приносили. От нечего делать Лев Михайлович занялся английским, да так успешно, что в одном из писем с гордостью сообщил: «Месяца через два смогу читать газеты, а это главное».

И вдруг — как гром среди ясного неба! — пришли газеты с вестью о кончине Ленина. Карахан не находил себе места. Он метался по дому, собираясь немедленно уехать в Москву, чтобы попасть на похороны, потом распаковывал чемоданы, садился к столу, отправлял телеграммы соболезнования и снова бегал из угла в угол.

«У меня такое чувство, что умер родной отец, что не стало самого близкого человека», — говорил он своим сотрудникам.

Потом Лев Михайлович перебрался в Пекин и после сложнейших переговоров добился установления дипломатических отношений с Китайской республикой.

«Дьявольски трудно было добиться результатов, — написал он в тот день в дневнике. — Весь дипломатический корпус делал все, чтобы сорвать дело. Но удалось провести всех! Для дипломатического квартала — это разорвавшаяся бомба. Я рад этому больше всего».

Справившись с одним делом, Лев Михайлович тут же берется за другое: между СССР и Японией не было дипломатических отношений, и их надо было установить. Переговоры с японским посланником Иосидзавой шли туго, главным препятствием было нежелание японцев выводить свои войска с Северного, а проще говоря советского, Сахалина. Но Карахан, почувствовав слабость Иосидзавы, давил изо всех сил.

«Последние два дня у меня большое оживление с японцами, — писал он. — Заседания два раза в день. Сидим по четыре часа подряд. Утомительно, но я гоню вовсю. Японцы с непривычки к концу заседания начинают заметно пухнуть. Но это только весело и полезно для дела».

Для дела это действительно было полезно: в январе 1925 года между СССР и Японией была заключена Конвенция об установлении дипломатических и консульских отношений. Больше того, японцы обязались в течение четырех месяцев вывести войска с Северного Сахалина, а Советский Союз не возражал против предоставления японцам концессий на разработку минеральных и лесных богатств на севере Сахалина.

«Исторические заслуги Л. М. Карахана перед СССР пополняются блестящими страницами его дипломатических работ и переговоров с Японией, — писала выходящая в Харбине газета «Новости жизни». — За этот мир с нашими великими соседями история отметит на своих страницах блестящую роль дипломатического ума и такта Л. М. Карахана».

В Китае той поры было неспокойно: перевороты, заговоры, свержения одних правительств, приход к власти других. Был случай, когда Карахану объявили, что правительство не отвечает за его личную безопасность. Но Лев Михайлович не дрогнул и продолжал исполнять свои обязанности полпреда.

Так продолжалось до сентября 1926 года, когда Карахана отозвали в Москву: формальным поводом был долгожданный отпуск. Но в Китай Лев Михайлович больше не вернулся. В Москве он занял свой прежний кабинет заместителя наркома, отвечающего за отношения СССР со странами Востока. За эти годы он наносил официальные визиты в Турцию, Иран, Монголию, а в 1934-м назначен полпредом СССР в Турции.

Когда его успел завербовать тогдашний нарком внутренних дел Ягода, как он стал участником антисоветского заговора правых, а заодно и агентом германской разведки, история умалчивает, да и в уголовном деле каких-либо доказательств этих преступлений нет.

А за исторические заслуги перед СССР Льва Михайловича Карахана сразу после суда расстреляли. Но вот что любопытно. То ли у вождя народов было хорошее настроение, то ли ему обольстительно улыбнулась какая-нибудь актриса, то ли он вспомнил своего учителя и его

единственную любовь Инессу Арманд, но ни одну из бывших жен Карахана он приказал не трогать.

Это было беспрецедентным нарушением правил! В те годы жен врагов народа рассматривали либо как особ, отравленных тлетворным влиянием своих супругов, либо, что еще хуже, как женщин, знавших, чем занимаются их мужья, и не сообщивших об этом в компетентные органы, — это называлось недоносительством. Наказание за это следовало незамедлительно: самое мягкое — семь-восемь лет Колымы, самое жесткое — расстрел.

Так вот бывших жен Карахана почему-то не тронули. Ни Клавдию Манаеву, на которой он женился еще до революции, ни довольно популярную киноактрису Веру Джениеву, к которой он ушел в 1919-м, ни известнейшую балерину Марину Семенову, которая стала его женой в 1930-м.

А вот теперь — все! Теперь список Платтена был закрыт. Оставались какие-то малозаметные фигуры, но они никакого влияния не имели, ни на что не претендовали, жили тихо, о дружбе с Лениным не трезвонили и тем более помалкивали о событиях той январской ночи, когда мишенью был затылок Ильича и когда, не будь Платтена, история России могла пойти совсем другим путем.

---

## ЧАСТЬ II

# ЖЕНСКАЯ КРОВЬ НА БРУСЧАТКЕ КРЕМЛЯ

### Глава 1

### Второе покушение

История со вторым покушением на Ленина настолько таинственна, запутанна и туманна, что разобраться в ней до сих пор не могут ни медики, ни историки, ни юристы. Не случайно несколько лет назад к этому эпизоду нашей истории вернулась Генеральная прокуратура России и, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Фанни Каплан, пришла к выводу, что следствие было проведено поверхностно, и, руководствуясь соответствующими статьями Уголовного кодекса, приняла постановление «возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам».

Этих «обстоятельств» обнаружилось так много и они оказались настолько противоречивыми и взаимоисключающими друг друга, что в Генеральной прокуратуре произошел самый настоящий раскол: одни специалисты пришли к выводу, что Каплан к покушению на Ленина не причастна или, говоря юридическим языком, «бесспорных доказательств ее вины не установлено», другие считают, что в Ленина стреляла она.

Никакого решения до сих пор так и не принято, поэтому попробуем разобраться в этой истории сами. Так что же произошло 30 августа 1918 года? Очевидцев этого происшествия так много и версии они высказывают настолько непохожие одна на другую, что истину установить и в самом деле трудно. Вот что, например, сообщил по горячим следам в своих показаниях шофер Ленина Степан Гиль:

«Я приехал с Лениным в 10 часов вечера на завод Михельсона. Когда Ленин был уже в помещении завода, ко мне подошли три женщины. И одна из них спросила, кто

говорит на митинге. Я ответил, что не знаю. Тогда одна из трех сказала, смеясь: «Узнаем». По окончании речи Ленина, которая длилась около часа, из помещения, где был митинг, бросилась к автомобилю толпа человек 50 и окружила его. Вслед за толпой вышел Ильич, окруженный женщинами и мужчинами. Он жестикулировал рукой. Среди окружавших его была та самая женщина, блондинка, которая спрашивала меня, кого я привез. Она говорила, что отбирают муку и не дают провозить. Когда Ленин был уже на расстоянии трех шагов от автомобиля, я увидел, что сбоку, с левой стороны от него, в расстоянии не более трех шагов, протянувшуюся из-за нескольких человек женскую руку с браунингом, и были произведены три выстрела, после которых я бросился в ту сторону, откуда стреляли. Стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе».

Перед тем как подписать эти показания, Гиль сделал несколько существенных уточнений, главное из которых — время приезда на завод. Оказывается, Ленина он привез не в 10 вечера, а в 18.30. Это очень важная деталь, и мы еще к ней вернемся.

Все это Гиль рассказал 30 августа вечером. На допрос он явился сразу же после того, как доставил раненого Ленина в Кремль. Иначе говоря, с ним еще не успели «поработать» и его показания были искренними, но, судя по всему, не теми, которые нужны следствию. Прошло всего три дня — и Гиль заговорил иначе.

— Стрелявшую я заметил только после первого выстрела, — вдохновенно «вспоминал» он забытые подробности покушения. — Она стояла у переднего левого крыла автомобиля. Тов. Ленин стоял между стрелявшей и той в серой кофточке, которая оказалась раненой, — это та самая, которая спрашивала про муку.

Заметьте, Гиль ни слова не говорит о том, как выглядела стрелявшая женщина: молодая она или старая, блондинка или брюнетка, в кофточке или в пальто... Но много лет спустя, когда партия захочет опубликовать вос-



поминания личного шофера Ленина, Гиль «вспомнит» то, чего не мог видеть, но что стало официальной версией: во-первых, он во всех подробностях опишет лицо стрелявшей женщины, которое один к одному соответствует словесному портрету Фанни Каплан, и во-вторых, не преминет осветить свое героическое поведение.

«Раздался еще один выстрел, — рассказывал он. — Я мгновенно застопорил мотор, выхватил из-за пояса наган и бросился к стрелявшей. Рука ее была вытянута, чтобы произвести следующий выстрел. Я направил дуло моего нагана ей в голову. Она это заметила, и ее рука дрогнула».

Вот так-то! Не выхвати Гиль свой наган и не испугай террористку, не быть бы Ленину живу... А теперь представьте все это. Уже темновато. Сгрудившаяся толпа. Тесный пятачок, на котором Ленин беседует с Марией Поповой, интересующейся провозом муки. Террористку от Ленина отделяют всего три шага — это метра полтора, не больше. Началась стрельба. Первая пуля попадает в руку Поповой. Вторая — в Ильича. Гиль держит на прицеле террористку. Вот-вот грянет третий выстрел, но Гиль ответного огня не открывает. А ведь рука террористки хоть и дрогнула, но третий выстрел она произвела.

Так почему же все-таки Гиль не сразил террористку, ведь он держал свой наган у ее головы? Ответа на этот вопрос нет. Как нет ответа на еще более серьезный вопрос: выстрелов было три, а на месте происшествия нашли четыре гильзы. Откуда они? И еще. Несколько позже, когда сравнили пули, извлеченные из тела вождя во время операции в 1922 году и при бальзамировании его тела в 1924-м, оказалось, что пули разного калибра. Значит, либо в Ленина стреляли двое, либо один, но из разных наганов.

Еще большее удивление вызывает донныне сохранившееся пальто Ильича, на котором видны следы от пуль. Так вот: эти следы никак не соответствуют местам ранений.

Но вернемся в 1918-й год... В середине и конце лета положение большевиков было критическим: численность партии уменьшилась, один за другим вспыхивали крестьян-

янские мятежи, почти непрерывно бастовали рабочие. А если принять во внимание еще и жестокие поражения на фронтах Гражданской войны, то всем здравомыслящим людям стало ясно: дни пребывания у власти сторонников Ленина сочтены.

Подлили масла в огонь и выборы в местные Советы — большевики их вчистую проиграли, набрав всего лишь около сорока пяти процентов голосов. Кремлевские небожители запаниковали. Именно в эти дни Лев Троцкий встретился с германским послом Мирбахом и заявил ему с коммунистической прямоотой: «Собственно, мы уже мертвы, но еще нет никого, кто бы мог нас похоронить».

А желающих это сделать было много, очень много! Причем все потенциальные заговорщики неперменным условием прихода к власти считали физическое устранение Ленина. Один из таких планов разработал эсеровский депутат от Ставрополя Федор Оникко. Главным в этом плане было то, что Ленина должен устранить не герой-одиночка, а специально созданная террористическая организация, которая будет отслеживать каждый шаг вождя, пока не сочтет возможным либо застрелить его, либо взорвать его автомобиль.

Когда такая организация была создана, как дисциплинированный член эсеровской партии Оникко обратился в Центральный комитет с просьбой одобрить его план. Руководители партии план Оникко не поддержали, резонно заметив, что убийство Ленина вызовет ответный террор, от которого пострадают рядовые члены партии.

А вскоре в руки чекистов попал командир 6-го авиапарка, то есть целой эскадрильи, бывший офицер с довольно странной фамилией Хризосколес-де-Платан. Арестовали его по доносу подчиненных, которых он якобы уговаривал перелететь к белым. И вдруг во время допросов с пристрастием выяснилось, что бывший командир эскадрильи готовил покушение на Ленина, причем не один, а вместе с группой таких же летчиков. Шла ли речь о бомбежке с воздуха или выстрелах из-за угла, чекисты выяснить не успели: Хризосколес-де-Платан таинственным образом бежал из Таганской тюрьмы и скрылся.



В. И. Ленин после победы Октябрьской революции



Глава Временного  
правительства  
Александр Керенский

Эрих Людендорф



Яков Станиславович Фюрстенберг,  
более известный  
как Яков Ганецкий

Григорий Сокольников (Бриллиант)





Израиль Лазаревич Гельфанд,  
более известный  
как Александр Парвус

Лев Карахан



Фриц Платтен,  
организатор возвращения  
в Россию В. И. Ленина

Карл Радек (Собельсон)



43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ ИМЛ при ЦК КПСС

Название фонда

ФОНД №11

ОПИСЬ №2

ЕД. ХР. № 43

Родословная Марии Александровны Ульяновой  
(урожденной Бланк).

Машинописный текст (на шведском языке) -  
1 л. (л.1); косерокопия архивных матери-  
алов г.Любека (ФРГ) - 15 лл. (лл.2-16).

НИКОМУ НЕ ВДАВАТЬ!

(указание А.А.Соловьева  
от 9/III-65 г.)

Начато \_\_\_\_\_

Окончено \_\_\_\_\_

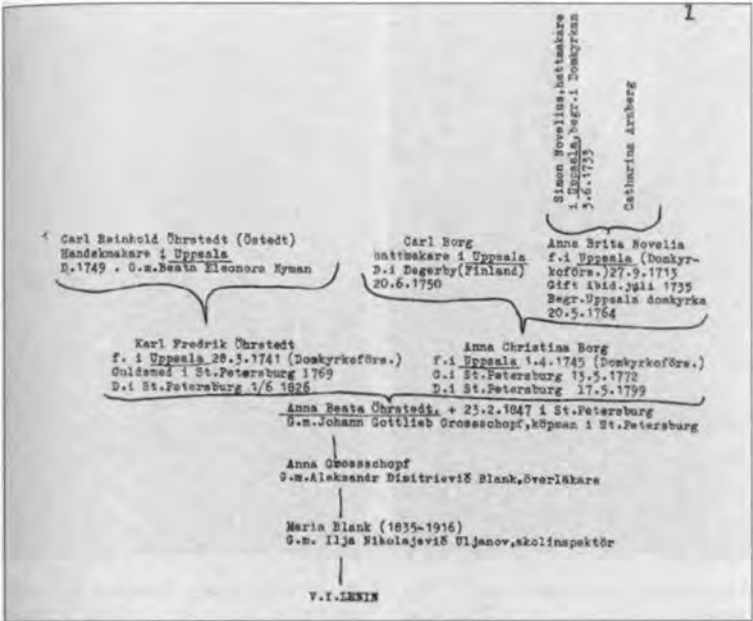
На 16 листах

ФОНД №11

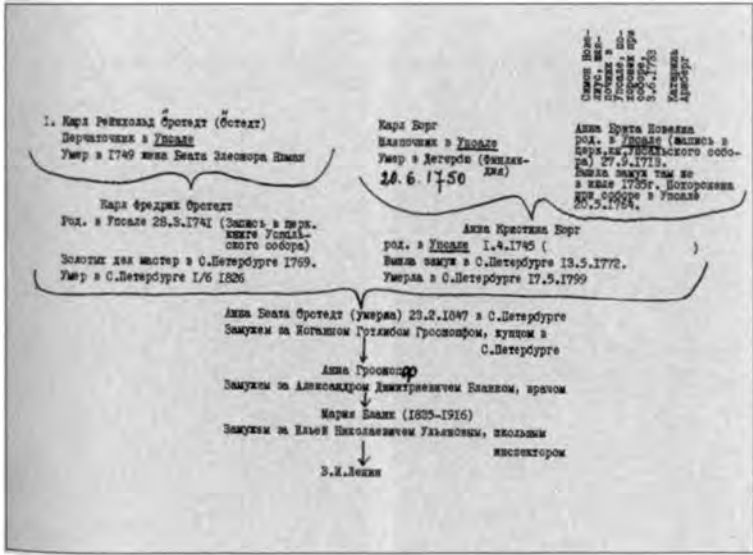
ОПИСЬ №2

ЕД. ХР. №43

Обложка архивного дела Марии Александровны Ульяновой  
(урожденной Бланк)



Родословная М. А. Ульяновой (урожденной Бланк), матери В. И. Ленина





**Александр Дмитриевич  
Бланк**

**Граф А. И. Апраксин,  
крестный отец А. Д. Бланка**



**Илья Николаевич Ульянов,  
отец В. И. Ленина**

**Мария Александровна Ульянова  
(Бланк), мать В. И. Ленина**







Лев Троцкий  
(Бронштейн)

Надежда  
Крупская



В. И. Ленин.  
*Париж, 1910 г.*

Инесса  
Арманд





Григорий Евсеевич Зиновьев  
(Радомысльский)

Самуил Шварцбард,  
убивший Петлюру



Моисей Соломонович Урицкий,  
организатор «красного террора»

Симон  
Петлюра





Великий князь  
Николай Михайлович

Великий князь  
Георгий Михайлович



Великий князь  
Дмитрий Константинович

Великий князь  
Павел Александрович





Николай II в окружении семьи

Ипатьевский дом в Екатеринбурге





Яков Свердлов



В. Д. Бонч-Бруевич

Фейга Каплан



Яков Петерс





Демьян Бедный

Павел Мальков,  
первый комендант Кремля



Виктор Кингисепп

Яков Давтян,  
первый начальник ИНО





Мария Спиридонова



Брюс Локкарт

**Автомобиль Ленина, отобранный у него  
известным московским бандитом Кошельковым**





«Хозяин Москвы ночью» Яшка Кошельков



**Ф. Э. Дзержинский,  
председатель  
ВЧК и МЧК**



**Федор Мартынов,  
руководитель  
группы МЧК  
по борьбе  
с бандитизмом**





Федор Мартынов  
на докладе  
у Феликса  
Дзержинского



Артур Христианович  
Артузов,  
начальник Активного  
отделения Особого  
отдела ВЧК,  
а затем легендарный  
начальник ИНО

Но эти заговоры — детская забава по сравнению с тем, что затеяло ближайшее окружение Ленина. Первым звонком было категорическое несогласие Дзержинского, Урицкого и Бухарина с заключением Брестского мира на грабительских германских условиях. Дело дошло до того, что в июле 1918-го Дзержинский подал в отставку с поста Председателя ВЧК. Несколько позже, когда его уговорили вернуться, Дзержинский вместе со Сталиным выступил против ленинской позиции в вопросе о Грузии.

Иначе говоря, авторитет Ленина стремительно падал. Скорее всего, Ильич понимал, чем это пахнет. Не случайно именно в эти дни у него состоялся весьма знаменательный разговор с Троцким, который тот изложил в своих воспоминаниях.

«А что, — спросил меня совершенно неожиданно Владимир Ильич, — если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться?»

— Авось не убьют, — ответил я, смеясь.

— А черт их знает, — сказал Ленин и сам рассмеялся».

Как показало время, и Ленину, и его сторонникам было не до смеха. Тревогу Ленина можно понять: он или чувствовал, или знал, что назревают трагические события.

Это подтверждают и сотрудники германского посольства в Москве. В августе 1918-го они сообщали в Берлин, что руководство Советской России «переводит в швейцарские банки значительные денежные средства», что обитатели Кремля просят заграничные паспорта, что «воздух Москвы пропитан покушением как никогда».

А теперь снова прервем плавный ход повествования.

### ЭПИЗОД № 3

Первым пал Моисей Володарский (настоящая фамилия Гольдштейн). Его убил эсер Сергеев, которого то ли не искали, то ли не смогли найти. О Моисее Володарском известно не так уж много, хотя его именем были названы города, поселки, улицы и проспекты — и этот своеобразный аванс говорит о том, что проживи Моисей не

двадцать семь, а хотя бы сорок лет, дров он наломал бы куда больше и крови пролил бы не моря, а океаны.

Лучше всего о моральном облике этого человека говорит его же собственное заявление, сделанное на страницах «Красной газеты»:

«Мы сделаем сердца наши стальными, чтобы не проникла в них жалость, чтобы не дрогнули они при виде моря крови! И мы выпустим это море. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть они захлебнутся в собственной крови. Больше крови!»

Откуда в этом еврейском мальчике, родившемся в семье отнюдь не бедного портного, столько звериной жестокости, ведомо, пожалуй, только его тезке, ветхозаветному Моисею. Сказать, что он голодал, что его родственники погибли во время погрома или что его по национальному признаку притесняло царское правительство, никак нельзя. Его даже приняли в гимназию, где он без каких-либо проблем доучился до 6-го класса, а потом ударился в политику и, конечно, был выгнан вон.

Несколько позже, превратившись из Гольдштейна в Володарского, он вступил во Всеобщий еврейский рабочий союз, больше известный как Бунд, откуда переметнулся к меньшевикам. Его бурная деятельность была замечена и отмечена арестами, а затем и ссылкой в Архангельскую губернию. Но надолго он там не задержался и бежал в США, где вступил в Американскую социалистическую партию и, в соответствии со своей основной профессией, в Интернациональный профсоюз портных.

На фронт он во время войны не рвался и, благополучно дождавшись Февральской революции, вернулся в Россию. Причем не один, а вместе со своим другом и учителем Троцким.

Что касается Моисея Володарского, то поначалу он примкнул к так называемым межрайонцам, а потом к большевикам. Тогда-то и познакомился с ним впоследствии очень известный человек Анатолий Васильевич Луначарский. Несколько позже будущий нарком просвещения так вспоминал об этой встрече:

«Я даже не знал фамилии этого человека. Я только видел перед собой этого небольшого роста ладного человека, с выразительным орлиным профилем, ясными живыми глазами, чеканной речью, точно выражавшей такую же чеканную мысль. Потом мы вместе с ним пошли в какое-то кафе, где я сказал, что ужасно рад видеть его в нашей группе. И только после этого спросил, как его фамилия и откуда он. Я — Володарский, ответил он. По происхождению и образу жизни рабочий из Америки. Агитацией занимаюсь уже давно и приобрел некоторый политический опыт».

Именно в те дни, между маем и октябрём 1917-го, раскрылся его истинный талант агитатора, оратора и пропагандиста. Он мог прийти на митинг меньшевиков, эсеров или анархистов и такое произнести зажигательное слово, так убедительно, доходчиво и темпераментно разбить их доводы и отстоять лозунги большевиков, что собравшиеся без тени сомнения принимали большевистскую резолюцию.

На него даже возникла своеобразная мода: все фабрики, заводы и даже воинские части наперебой просили прислать на митинг Володарского.

Побывав на одном из таких митингов, тот же Луначарский не удержался от восторга и записал в своем дневнике:

«Речь его была как машина, ничего лишнего, все приложено одно к другому, все полно металлического блеска, все трепещет внутренними электрическими зарядами. Быть может, это — американское красноречие, но Америка, вернувшая нам немало русских, прошедших ее стальную школу, не дала все же ни одного оратора, подобного Володарскому».

Голос его был словно печатающий, какой-то плакатный, выпуклый, металлически-звонящий. Фразы текли необыкновенно ровно, с одинаковым напряжением, едва повышаясь иногда. Ритм его речей по своей четкости и ровности напоминал мне больше всего манеру декламации Маяковского».

Ничего удивительного, что после победы Октября Моисею Володарскому предложили пост народного ко-

миссара по делам печати, пропаганды и агитации. А чтобы в его руках был гласный инструмент, Володарского назначили главным редактором «Красной газеты».

Первое, что он сделал на новом посту, — без каких-либо оснований закрыл около ста пятидесяти газет. И хотя в соответствии с принятым по предложению Ленина Декретом о печати закрытию подлежали газеты, «призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству, а также сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов и призывающие к деяниям явно преступного, то есть уголовно наказуемого характера», а проще говоря, только сугубо контрреволюционного направления, Володарский рубил шашкой репрессий всех, кто не пел славу большевикам и их гениальным вождям. Он даже опубликовал нечто вроде программного заявления, в котором были и такие слова:

«Оставить прессу у буржуазии — то же самое, что оставить бомбы и пулеметы у своих врагов. Она создает в массах нервное, агрессивное настроение, с помощью сенсаций пытается поколебать умы. В тяжелый момент, когда общественного спокойствия и так мало, когда жизнь каждую минуту хлещет трудящихся по нервам, красть это неустойчивое спокойствие, воровски подкладывать поленья в костер, на котором и без того достаточно жарко, — колоссальное преступление».

Памятуя о своем ораторском искусстве, Володарский не чурался и личных встреч с журналистами. Вот как описывал одну из таких встреч корреспондент популярной тогда «Новой жизни»:

«Вчера представители печати обратились к комиссару советской печати Володарскому с вопросом о судьбе закрытых по постановлению Комиссариата печати вечерних и некоторых утренних газет. Володарский заявил, что все вечерние газеты закрыты за систематически ложные сообщения, помещенные в них в течение двух месяцев. Что касается «Нашего века», то ему будет предъявлено обвинение в государственной измене, выразившейся в оправдании переворота на Украине.

Все дела закрытых газет предполагается рассмотреть в Революционном трибунале не позже чем через четыре дня. Государственным обвинителем выступит комиссар советской печати Володарский. В дальнейшей беседе Володарский заявил, что советская власть будет бороться с печатью до тех пор, пока она ее не перевоспитает и не заставит давать добросовестную информацию. Мы терпим буржуазную печать только потому, сказал в заключение Володарский, что еще не победили. Но когда мы в «Красной газете» напечатаем «Мы победили» — с этого момента ни одна буржуазная газета не будет допущена».

Если кто-то подумал, что Революционный трибунал был не более чем мнимой угрозой, то он жестоко ошибался. Как и было обещано, через четыре дня редакторы газет оказались в охраняемом латышскими стрелками помещении, где им устроили такую выволочку и намекнули на такие репрессии, что они мигом исправились и клятвенно обещали советскую власть больше не критиковать.

Если не помогал трибунал, а такое изредка случалось, Володарский прибегал к более изощренному методу: газеты он не запрещал, но не разрешал типографиям их печатать.

Так Володарский стал гонителем свободы и мрачным символом советской цензуры. Даже товарищи по партии считали его террористом, убежденным в том, что кровью, и только кровью можно сцементировать блоки большевистской власти. Когда стало ясно, что через месяц-другой в Петрограде не останется ни одного органа печати, кроме «Красной газеты», эсеры, которым было не привыкать организовывать теракты, вынесли Володарскому смертный приговор. А вскоре и представился случай, позволивший привести его в исполнение.

20 июня 1918 года Володарский ехал на митинг. И тут, на первый взгляд случайно, совпали три происшествия. Во-первых, в последний момент заболел прикрепленный к нему чекист, и Володарский поехал без охраны. Во-вторых, буквально в ста метрах от места митинга ни с того

ни с сего лопнула шина и машина остановилась. И в-третьих, когда Володарский вышел из машины, чтобы дойти до места митинга пешком, откуда-то появился невзрачный прохожий, который достал пистолет, расстрелял Володарского в упор и исчез.

Похороны Володарского стали поводом продемонстрировать не только горечь утраты, но и сплоченность рабочего класса вокруг партии большевиков и ее героических вождей. Вот как описывала это траурное событие «Правда».

«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи и злобы. Ибо сегодня плачет петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и своего трибуна. Тяжелую утрату понес питерский пролетариат. Он это ярко почувствовал и весь, как один, явился отдать последний долг Володарскому.

Несмотря на проливной дождь, улицы с утра полны народом. Вокруг Таврического дворца сплошная масса рабочих и красноармейцев. В Екатерининском зале, утопая в цветах, стоит гроб, окруженный почетным караулом. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся с гроба на память.

У Смольного гроб был положен на специальный катафалк, воздвигнутый на грузовом автомобиле. Процессия двинулась к Марсову полю. Гроб ставится у могилы. Воз царяется жуткая тишина. Тихо проходят мимо рабочие делегации, воинские части, конница, пехота и артиллерия. Вокруг могилы растет лес знамен.

При спуске гроба в могилу с Петропавловской крепости дан пушечный салют в 21 выстрел».

«Красная газета» похороны своего главного редактора описывала как «путь следования мученика пролетарской революции на Красную Голгофу — Площадь Жертв Революции».

Так как большевики считали Володарского своим «знаменосцем, барабанщиком и трубачом», к тому же



первым вождем, павшим от руки террориста, через несколько месяцев ему воздвигли памятник. Простоял он всего несколько дней. След, который оставил в душах петроградцев этот «барабанщик и трубач», был такой отвратительный, что однажды ночью они этот памятник взорвали.

А теперь — о соратнике Володарского по иступленной работе в Петрограде, тоже большом любителе без пощады избивать врагов и проливать моря крови. Им был сын зажиточного купца Моисей Соломонович Урицкий. Этот человек заслуживает отдельного рассказа не только из-за своей звериной жестокости, но, прежде всего, потому, что он был убит в тот самый день, когда была предпринята попытка убить Ленина.

Как у всех еврейских мальчиков, впоследствии ставших неистовыми борцами с царским режимом, у купеческого сына не было никаких проблем ни с учебой, ни с работой. Он окончил сначала прогимназию, потом гимназию и стал студентом Киевского университета. Казалось бы, учись, зубри римское право, но это ему было не интересно, и Моисей ударился в политику. Причем, надо сказать, крайне неудачно: аресты следовали один за другим, пока в 1901 году он не оказался в известной всем киевлянам Лукьяновской тюрьме.

Надо же так случиться, что как раз в это время туда уехали Луначарского. Для него это был не первый арест, поэтому он мог сравнить эту тюрьму с той, в которой сидел раньше. Вот что написал Луначарский в своих воспоминаниях:

«Когда мы немного осмотрелись, то убедились, что это какая-то особенная тюрьма: двери камер не запирались никогда, прогулки совершались общие и во время прогулок вперемежку то занимались спортом, то слушали лекции по научному социализму. По ночам все садились к окнам, и начинались пение и декламация.

В тюрьме имелась коммуна, так что и казенные пайки, и все присылаемое семьями поступало в общий котел.

Закупки на базаре за общий счет и руководство кухней, с целым персоналом уголовных, принадлежало той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битые и даже ругательства.

Как же совершилось это чудо превращения Лукьяновки в коммуну? А дело в том, что тюрьмой правил не столько ее начальник, сколько староста политических Моисей Соломонович Урицкий. Он носил большую черную бороду и постоянно сосал маленькую трубку.

Флегматичный, невозмутимый, похожий на боцмана дальнего плавания, он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал все, попевал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других.

Над тюремным начальством он господствовал именно благодаря своей спокойной силе, властно выделявшей его духовное превосходство».

Луначарского освободили через два месяца, а Урицкий на восемь лет загремел в Восточную Сибирь. Ссылка есть ссылка: хоть ты и не за решеткой, но под гласным надзором полиции особенно не порезвишься. Урицкий же ухитрился устроиться писарем в Чекурском волостном правлении и начал портить нервы местному начальству. Посчитав, что чиновники творят беззакония по отношению к жителям Якутии, он чуть ли не ежедневно бомбардировал вышестоящие власти письмами, докладами и пространными справками.

Может быть, поэтому его не особенно искали, когда он утонул во время купания в Лене. Каково же было удивление жандармов, когда утопленник под именем «товарищ Кузьмич» объявился сначала в Красноярске, а потом и в Петербурге. Оказывается, тонуть Урицкий и не собирался, а разыграл тщательно продуманный спектакль, к тому же исполненный на людях.

Для начала он раздобыл дырявую лодчонку, но те дырки, которые под водой, аккуратно залатал; а те, кото-

рые над водой, чтобы все их видели, не тронул. На дне лодки он сколотил непромокаемый, густо просмоленный отсек, куда сложил верхнюю одежду, пищу, книги и табак. Со стороны лодка производила впечатление никому не нужной посуды, которая вот-вот затонет. Вытолкнув ее из кустов, Урицкий не спеша разделся и, ежась от холода, пошел купаться.

Сидевшие на бсрсгу рыбаки крутили пальцем у виска и незлобиво посмеивались над чудаковатым купальщиком. А Моисей, обратив всеобщее внимание на проплывавшую мимо полузатопленную лодчонку, с криком «Я ее пригоню!» бросился в воду. До лодки он добрался быстро, но ухватиться за борт не смог и начал тонуть. Он кричал, звал на помощь, но так как на берегу не было ни одной другой лодки, рыбаки только охали да ахали, а в воду не лезли.

Между тем лодку вынесло на середину реки, сильное течение подхватило ее как щепку и понесло к океану. В последний раз мелькнула голова купальщика, в последний раз донесся его слабый голос — и все. Дальше, как говорится, тишина. Рыбаки, как по команде, встали, сняли шапки, истово перекрестились, сказали, что так было угодно Богу, и снова устались на поплавки.

А наш утопленник спокойно доплыл до самого поворота. В лодку он влез только тогда, когда убедился, что с берега его никто не видит. За весла на всякий случай так и не сел, а просто спускался по течению. Главное было засветло добраться до отмели, где на якоре стоял небольшой пароходик, капитану которого Урицкий оказал кое-какую услугу и который согласился доставить его в безопасное место.

Дни в этих краях летом длинные, и Урицкий на пароход успел. Жандармы его, конечно, искали, но когда рыбаки на иконе поклялись, что всем миром видели, как ссыльнопоселенец ушел на дно, составили необходимый в таких случаях рапорт и облегченно вздохнули: одной заботой стало меньше.

Живи Урицкий в Красноярске или, скажем, в Самаре, быть может, его бы и не нашли, но нелегкая понесла его

в Петербург, где он и попался. В конце концов его отпустили, потом снова арестовали, потом, в связи с обострением туберкулеза, отпустили — и так несколько раз, пока он не уехал в Германию, откуда из-за начавшейся войны перебрался в Данию.

Об этом периоде жизни будущего руководителя Петроградской чрезвычайки, ставшего, по словам того же Луначарского, «воплощением большевистского террора», известно мало, а вот то, что вскоре после победы Февральской революции он оказался в Петрограде, установлено совершенно точно. Так же точно установлено его участие в июльских событиях 1917 года. Это он пропагандировал 176-й запасной пехотный полк, подтолкнув его к выступлению против Временного правительства.

То, что несколько десятков солдат погибло, не имело никакого значения. Главное — пролилась кровь, первая кровь, в которой был повинен Моисей Урицкий. Позже ее будет так много, что об этом эпизоде забудут, но то, что человек, ставший «воплощением большевистского террора», почувствовал вкус крови именно 4 июля 1917 года — бесспорный факт. Не случайно же Особая следственная подкомиссия, созданная Временным правительством, с безусловной очевидностью установившая «участие в вооруженном выступлении 176-го полка некоего Урицкого», приняла решение «в случае розыска обвиняемого избрать в отношении Урицкого мерой пресечения безусловное содержание под стражей».

Обошлось... Найти Урицкого так и не смогли. А в октябре он стал членом Военно-революционного комитета по подготовке и проведению вооруженного восстания. Уверяют, что все эти дни и ночи «с красными от бессонницы глазами» Урицкий оставался на посту, занимаясь созданием боевых отрядов и вооружением Красной гвардии. Зимний он не штурмовал, так как получил куда более деликатное задание: ему вручили специальный мандат и наделили чрезвычайными полномочиями «для допроса заключенных и освобождения тех из них, каких он найдет нужным».

Этими заключенными были министры Временного правительства, помещенные в Петропавловскую крепость.

Освобождать он никого не стал, а, напротив, усилил охрану и ужесточил режим посещения крепости. Когда один из министров пожаловался, что в камерах холодно и сыро, Урицкий недобро усмехнулся и процедил сквозь сжатые зубы: «Не мы, а вы строили эти тюрьмы. Так что наслаждайтесь тем, что есть».

В начале декабря Урицкий получил новое, очень щекотливое назначение: он стал комиссаром Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание. Если смотреть на это с точки зрения закона, то ситуация у большевиков была, прямо скажем, патовая. Дело в том, что выборы в Учредительное собрание проводились по спискам, составленным еще до октябрьского переворота, и большевики там были в меньшинстве. Правые эсеры, которых было больше, планировали вступить в коалицию с другими партиями, и так как Учредительное собрание, а проще говоря парламент, обладало законодательными функциями, намеревались отрешить большевиков от власти.

Допустить этого ни Ленин, ни его сторонники, почувствовавшие вкус власти, не могли. Поэтому Урицкий получил тайное задание: «Учредилку разогнать!» Но как это сделать, если вся Россия выбирала депутатов и теперь с надеждой смотрела на Таврический дворец, где 18 января 1918 года состоялось первое и, как оказалось, последнее заседание съехавшихся со всей страны народных избранников? Многие считают, что Учредительное собрание распустил матрос Железняков, всю ночь охранявший депутатов, а в пять утра заявивший, что караул, мол, устал и он, начальник караула, просит депутатов покинуть дворец.

На самом деле все было не так. Дворец депутаты покинули, но им и в голову не приходило, что попасть туда они уже не смогут. Анатолий Железняков всего лишь выполнял распоряжение Урицкого, который приказал под любым предлогом выкурить депутатов из здания. Не пускать их туда было гораздо проще. А тут как раз подоспел декрет ВЦИКа о роспуске Учредительного собрания. Как ни шумели народные избранники, как ни яри-

лись, но против декрета, извините за выражение, не попрешь — это им Урицкий объяснил.

Единственное, что оставалось наиболее решительным депутатам, — убить Урицкого. В ту же ночь они организовали покушение на виновника всех их бед. Все было сделано в соответствии с лучшими традициями эсеровских терактов. Исполнитель поджидал Урицкого у входа в Таврический дворец и, когда тот шагнул к машине, открыл огонь. Но, как оказалось, стрелком он был неважным — ни разу не попал, стреляя с пяти шагов.

А потом Моисей Соломонович чуть было не нажил себе смертельного врага в лице... Ленина. Дело в том, что Урицкий был категорическим противником заключения Брест-Литовского мира. Он даже подал в отставку и, недобро поглядывая в сторону ленинского кабинета, так, чтобы его все слышали, говорил: «Неужели не лучше умереть с честью?»

Если же учесть, что еще большим противником заключения этого мира был Троцкий, которого Моисей Соломонович считал своим другом, учителем и покровителем, то становится ясно, почему Урицкий, рискуя всем на свете, говорил в коридорах Смольного: «Вот пришла великая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого».

Когда же большинство членов ЦК проголосовало за предложение Ленина о заключении мира с Германией, Урицкий покаянно склонил голову, сказал, что «партийная дисциплина прежде всего», и вернулся в свой кабинет. Сделал он это, прямо скажем, вовремя. Дело в том, что во второй половине января немцы прервали перемирие и начали наступление на Петроград. Большевики запаниковали. Они понимали, что, если немцы возьмут Петроград и дадут волю народу, в городе не останется ни одного фонаря, на котором бы не висело по большевику.

Надо было бежать! Но куда? Есть ли в России город, который бы понял и принял ленинское правительство? Решили, что таким городом, а стало быть, новой больше-

вистской столицей, может стать Москва. В конце февраля этот вопрос подняли на заседании Совета народных комиссаров. Обсуждение было таким бурным, что многие опять грозили подать в отставку.

— Это дезертирство! — кричали одни.

— Рабочие нас не поймут! — продолжали другие.

— Петроград — колыбель революции. Бежать из него, как крысы с тонущего корабля, это несмыслимый позор!

— А Смольный?! Это же символ, это синоним советской власти. Как можно его оставить на милость исконного врага России?!

И тогда слово взял основательно рассердившийся Ленин.

— Можно ли такими сентиментальными пустяками загораживать вопрос о судьбе революции? — гневно вопрошал он. — Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если правительство — в Москве, то падение Петрограда будет только частным тяжелым ударом. Как же вы этого не видите, не понимаете? Более того, оставаясь при нынешних условиях в Петрограде, мы увеличиваем военную опасность к захвату Петрограда. Если же правительство — в Москве, искушение захватить Петроград должно чрезвычайно уменьшиться: велика ли корысть оккупировать голодный революционный город, если эта операция не решает судьбы революции и мира? Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный — потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся наша символика перейдет к Кремлю.

Эти аргументы возымели свое действие, и решение о переезде в Москву было принято. Трудно сказать, было ли это своеобразной мстостью со стороны Ленина, который, конечно, знал о фрондерстве Урицкого, но в Москву он его решил не брать. В последний момент он, правда, подсластил пилюлю, сказав остающимся в Петрограде сторонникам: «Вам будет очень трудно. Но в городе остается Урицкий».

А чтобы для наведения порядка и устрашения врагов в руках Урицкого был надежный инструмент, его назна-

чили председателем Петроградской ЧК. Переехав в печально известное здание на Гороховой улице, Урицкий превратил его в самую настоящую Голгофу для тысяч и тысяч жителей Петрограда.

Самое странное, что находились люди, которые упрекали Урицкого в мягкотелости.

— Ничуть я не мягкотелый, — гневно возражал он. — Если не будет другого выхода, я собственной рукой перестреляю всех контрреволюционеров и буду совершенно спокоен.

Но так как его власть распространялась только на петроградцев, а Моисею Соломоновичу этого показалось мало, он добился утверждения себя в должности народного комиссара внутренних дел Северной коммуны. Теперь от благорасположения Урицкого зависела жизнь людей, проживающих в Петроградской, Новгородской, Псковской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Северодвинской и Череповецкой областях, которые в те годы назывались губерниями.

#### ЭПИЗОД № 4

Одной из самых подлых акций, организованных Урицким, была высылка из Петрограда, а затем и арест четырех великих князей. 26 марта 1918 года Моисей Урицкий вкупе с Григорием Зиновьевым подписали специальный декрет, который в тот же день опубликовали в «Красной газете»:

«Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны постановляет: членов бывшей династии Романовых — Николая Михайловича Романова, Дмитрия Константиновича Романова и Павла Александровича Романова выслать из Петрограда и его окрестностей впредь до особого распоряжения, с правом свободного выбора места жительства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской губерний.

Все вышепоименованные лица обязаны в трехдневный срок со дня опубликования настоящего постановления явиться в Чрезвычайную Комиссию по борьбе с



контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2) за получением проходных свидетельств в выбранные ими пункты постоянного местожительства и выехать по назначению в срок, назначенный Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией».

До Вологды великие князья добрались, причем заболевшего Павла заменил Георгий Михайлович, но на свободе были недолго: уже 1 июля их арестовали и бросили в тюрьму. Петроградским чекистам вологодская тюрьма показалась ненадежной, и арестантов перевезли в Петропавловскую крепость, добавив к ним и Павла Александровича.

А вот дальнейший ход Урицкого был таким иезуитски мерзким, что даже кое-кто из большевиков, что называется, развел руками. Зная, как его люто ненавидят, Моисей Соломонович сделал себе щит из живых людей. Набив тюрьмы заложниками, он заявил, что, если с головы руководителей большевиков упадет хотя бы один волос, все заложники будут расстреляны. Но одно дело держать в заложниках отчаянных поручиков и убеленных сединами генералов, и совсем другое — членов царской династии, которых любят, знают и уважают не только в России, но и во всей Европе.

Великий князь Николай Михайлович, например, терпеть не мог муштру, шагистику, пушки, ружья и сабли, иначе говоря, армию, а его заставили окончить военное училище и поступить в Кавалергардский полк. Он обожал науку, особенно историю, с увлечением собирал коллекцию насекомых, любил кабинетную тишь, а ему приходилось ходить на разводы, в караулы и участвовать в парадах. Он имел склонность к шалостям, розыгрышам и шуткам, а его заставляли болтаться в свите императора, да еще на строго отведенном месте.

По большому счету, великий князь Николай, который имел довольно забавное прозвище князь Бимбо, был эдаким плейбоем своего времени. Он то проигрывал, то выигрывал бешеные деньги в Монте-Карло, так и не женив-

шись, имел побочных детей, обожая тайные общества, стал масоном. В конце концов, терпение венценосных родственников лопнуло, и Николаю Михайловичу позволили снять военный мундир. Великий князь с облегчением вздохнул и погрузился в изучение истории России. Он рылся в императорских и семейных архивах, листал хроники, беседовал с очевидцами тех или иных событий — и вскоре стал одним из авторитетнейших экспертов по эпохе Александра I.

Среди прочих недостатков Николая Михайловича была уже не причуда, а серьезный порок, который венценосная семья не могла простить: Бимбо был убежденным пацифистом. Первая мировая война привела его в ужас, а массовый ура-патриотизм первых дней всемирной бойни он считал дурным предзнаменованием. И уж совсем ужасно было то, что он осмелился критиковать политику Николая II и требовал ограничить вмешательство императрицы в работу правительства. Тут уж показал характер и Николай II: он приказал Бимбо покинуть столицу и уехать в деревню.

Февральскую революцию Николай Михайлович приветствовал, а вот с Октябрьской разобраться не успел: по воле Урицкого он оказался в Петропавловской крепости и стал очень ценным заложником.

Другим ценным заложником стал родной брат Бимбо — великий князь Георгий Михайлович. Так как он родился неподалеку от Тифлиса, в семье его на грузинский манер звали Гоги. Он был богатырского сложения и ростом под два метра. Другой карьеры, кроме военной, для великих князей почему-то не было: пошел служить в Уланский полк и Гоги. Кто знает, быть может, со временем он дослужился бы до генерала, но так случилось, что он серьезно повредил ногу — и мечты о военной карьере пришлось оставить.

Это огорчило всех, кроме самого Гоги. Скорее всего, его ободрял пример старшего брата Бимбо: у Георгия довольно рано проявился интерес не к кутежам и скачкам, а к усидчивой, тихой и скромной работе ученого. Это был единственный случай, когда все Романовы с восторгом

поддержали увлечение великого князя искусством и нумизматикой. А вскоре император назначил его директором музея Александра III — ныне он называется Русским музеем. Это был совсем иной масштаб — и Георгий со свойственной ему страстью начал пополнять собрание картин и других уникальных раритетов.

Во время войны в должности генерал-инспектора он мотался по фронтам, пришел к выводу, что революция в России неизбежна, и советовал императору, пока не поздно, принять конституцию и даровать демократические свободы. Тот его не послушал — и случилось то, что случилось...

Что касается Дмитрия Константиновича, то судьба уготовила ему испытание морем. Он любил лошадей и мечтал служить в кавалерии, но отец, сам в прошлом генерал-адмирал, отправил его на флот. Море встретило великого князя неприветливо: его так укачивало, что Дмитрий и шагу не мог ступить по палубе. В конце концов, он в самом прямом смысле слова упал отцу в ноги, умоляя разрешить покинуть флот. Но отец был неумолим.

— Кто-то из Романовых обязательно должен служить на флоте, — сказал он. — Такова традиция, и здесь ничего не поделаешь. Надо терпеть.

Выручила Дмитрия мать. В обмен на обещание не брать в рот ни вина, ни водки она взялась уговорить отца. Покряхтев и повздыхав, Константин Николаевич разрешил сыну служить в кавалерии. Но военной карьеры Дмитрий не сделал: помешала активно развивающаяся близорукость, да такая сильная, что к началу мировой войны он почти ослеп.

Но князь не унывал! Он так серьезно увлекся лошадьми, что отдавал им все свое время. Он даже завел себе конный завод, где выращивал чистокровных рысаков. Во время войны Дмитрий заявил, что великим князьям нужно отказаться от высоких постов, которые они занимают лишь по традиции, а не по праву таланта или больших знаний. В семье это вызвало шок. Но, поразмыслив, Романовы решили сделать вид, что никто ничего не слышал и о заявлении Дмитрия никто ничего не знает.

После Февральской революции Дмитрий решительно снял военный мундир, заявив, что не хочет иметь никакого отношения к никому не нужной, нелепой войне. Большевики и петроградский наместник ВЧК Урицкий этого не оценили, превратив князя в дорогостоящего заложника.

Великий князь Павел Александрович был младшим сыном императора Александра II. Он был высок, худ, широкоплеч и, что немаловажно, его обожал племянник Николаша — будущий император Николай II. Усатый дядюшка сверх меры был наделен тем, что напрочь отсутствовало у племянника: он прекрасно танцевал, был раскован и обаятелен, его уважали мужчины и любили женщины. Командуя то гусарами, то кавалергардами, Павел Александрович иногда сутками не вылезал из седла.

Во время войны он часто выезжал на фронт, командовал гвардейским корпусом, а когда Николай II принял на себя командование армией, находился вместе с ним в Ставке. Там-то в декабре 1916-го он узнал об убийстве Распутина. Как свидетельствовали очевидцы, и он, и император облегченно вздохнули. Но буквально на следующий день Павла Александровича ждал ни с чем не сравнимый удар: оказалось, что в убийстве Распутина замешан его сын Дмитрий, которого тут же посадили под домашний арест.

Началось следствие, впереди замаячил позорный суд, но император решил, что для отпрыска дома Романовых это уж слишком, — и отправил Дмитрия на персидский фронт. А Павел Александрович, понимая, что революция неизбежна, возглавил своеобразный бунт великих князей, сочинив от их имени манифест, который обещал конституцию и прочие демократические свободы. Этот документ лег на стол председателя Думы Михаила Родзянко. Но бунт великих князей запоздал: на следующий день Николай II отрекся от престола.

Между Февралем и Октябрем Павел Александрович продолжал жить со своей семьей в Царском Селе, пока по приказу Урицкого его не арестовали и не бросили в

Петропавловскую крепость. Его энергичная супруга пыталась организовать побег, и не исключено, что он бы удался, но Павел Александрович от побега отказался, сославшись на то, что в этом случае большевики всю свою злобу выместят на его родственников.

Вот таким благородным, надежным и солидным был живой щит, которым оградил себя от неприятностей Моисей Соломонович Урицкий. До поры до времени этот щит прикрывал его лучше батальона латышских стрелков. А чтобы потенциальные террористы не забывали, из каких людей состоит этот щит, время от времени Урицкий выступал в печати и мрачно предвещал: «Рано или поздно Романовы заплатят за триста лет угнетения народа».

Когда пытались уточнить, какой народ он имеет в виду — русский, татарский или еврейский, Урицкий только отмахивался, а когда спрашивали особенно настойчиво, отвечал, что как последовательный интернационалист он говорит о трудовом народе.

Забегая вперед скажу, что зловещее предсказание Урицкого сбылось, правда, сам он насладиться этим зрелищем не смог. 9 января 1919 года Президиум ВЧК утвердил вынесенный ранее приговор к высшей мере наказания «членов бывшей императорской Романовской своры». Узнав об этом, забеспокоилась Академия наук, небывалую активность проявил Максим Горький. Они обратились в Совнарком и лично к Ленину с просьбой освободить хотя бы Николая Михайловича, приводя доводы о том, что он всегда был в оппозиции к императору и во всем мире известен как ученый-историк. 16 января состоялось заседание Совнаркома, на котором рассматривалось это ходатайство. Резолюция была запротоколирована и звучала пещерно просто: «Революции историки не нужны!»

А дальше все шло по хорошо отработанному сценарию. 24 января 1919 года среди ночи люди в кожанках явились в камеру, приказали великим князьям раздеться догола и вывели их на январский мороз. Тут же загремели выстрелы. Первым в уже заполненный трупами ров

упал Бимбо. За ним — Гоги. Потом — Павел. А вот последние слова Дмитрия Константиновича кто-то услышал и даже записал.

— Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят, — сказал он, близоруко щурясь и пытаясь разглядеть лица палачей.

Что касается «ничуть не мягкотелого» Урицкого, то он продолжал проливать реки крови. Дошло до того, что 18 августа 1918 года по его инициативе петроградские власти приняли чудовищное постановление, в котором были такие слова:

«Враги народа бросают вызов революции, убивают наших братьев, сеют измену и тем самым вынуждают коммуны к самообороне. Совет комиссаров заявляет: за контрреволюционную агитацию, за призыв красноармейцев не подчиняться распоряжениям советской власти, за тайную или явную поддержку того или иного иностранного правительства, за шпионство, взяточничество, за спекуляцию, за грабежи и налеты, за погромы, за саботаж и т. п. преступления виновные подлежат немедленному расстрелу. О каждом случае расстрела публикуется в газетах».

Как же тогда выросли объемы и тиражи газет! Каждое утро петроградцы дрожащими руками раскрывали ставшую непомерно толстой «Красную газету», которая имела эксклюзивное право на публикацию расстрельных списков, и искали фамилии своих родственников и друзей. Другие большевистские газеты эти списки перепечатывали, и те, кто не успели купить «Красную газету», брали их нарасхват.

Но как ни хитер был Моисей Урицкий, как ни надежно охранял его щит из заложников, нашелся в Петрограде человек, который ради устранения большевистского монстра пошел на верную смерть. Одни считают его бывшим юнкером Михайловского военного училища, большая часть офицеров-преподавателей которого был расстреляна по приказу Урицкого, другие — студентом Леонидом Канегиссером.

Кем бы он ни был, но в отличие от профессиональных заговорщиков стрелять Канегиссер умел. 30 августа 1918 года он подкараулил Урицкого на Дворцовой площади и в подъезде Комиссариата внутренних дел всадил ему несколько пуль в затылок.

Через полчаса о гибели Урицкого доложили Ленину. Он тут же снял трубку и приказал Дзержинскому выехать в Петроград и лично провести расследование. До Петрограда Дзержинский доехал, но тут же повернул назад: пришло сообщение о покушении на Ленина. Он даже не участвовал в похоронах Урицкого, которого со всеми почестями предали земле на Марсовом поле.

## **Глава 2**

### **Кто стрелял в Ленина?**

Этот вопрос возник сразу же после публикации воззвания, которое подписал председатель ВЦИК Яков Свердлов:

«Всем советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем!

Несколько часов тому назад совершенно злодейское покушение на тов. Ленина. По выходе с митинга тов. Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выясняются. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов».

Всего-то несколько строчек, а как много в них заложено! Во-первых, речь идет о двоих стрелявших. А во-вторых, и это самое главное, указан адрес организаторов покушения — и это наводит на определенные размышления. Личности задержанных еще только выясняются, следствию не известно ни их гражданство, ни принадлежность к той или иной партии, а председатель ВЦИК (по-нынешнему — президент, то есть глава государства) уже назвал, говоря современным языком, заказчиков преступления.

Откуда он их знает? А он их не знает, но ему нужно, чтобы люди думали именно так и чтобы следствие шло

именно этим путем. Ближайшие события покажут, что в этом предположении нет никакой натяжки. Начнем с того, что воззвание Свердлов подписал в 22 часа 40 минут — это установлено совершенно точно. А теперь вспомним показания Гиля о времени приезда на митинг: вначале он сказал, что на завод Михельсона приехал в 10 вечера, а потом почему-то «вспомнил», что на часах было не 10 вечера, а всего лишь 18.30.

Давайте-ка разберемся с этими цифрами. Первое: митинги в те времена проходили только в нерабочее время. Второе: митинг на заводе Михельсона в тот день для Ленина был не первым — сначала он около часа выступал в здании Хлебной биржи. Если считать, что рабочий день заканчивался в 5 вечера, то, по крайней мере, до 6 часов он был в Басманном районе, а это другой конец Москвы, откуда дорога до завода Михельсона должна была занять около часа. Так что в 18.30 на заводе Михельсона Ленин оказаться не мог.

И еще. По словам того же Гиля, речь Ленина на заводе продолжалась около часа, и, когда он вышел во двор, заметно стемнело. В конце августа солнце в Москве заходит в 20.30, а темнеет не раньше 22 часов. Из всего этого следует элементарный вывод: на завод Ленин приехал в 22 часа, около 23 часов закончил выступление, потом вышел во двор и попал под обстрел.

А когда Свердлов подписал небезызвестное воззвание? В 22 часа 40 минут. А его еще надо было довести до редакции, набрать и опубликовать.

И что из этого следует? А то, что воззвание было написано заранее. Но раз оно было написано заранее, значит, Свердлов о предполагаемом покушении знал, как знал и о том, что его организаторами были правые эсеры. Тогда почему он его не предотвратил? Почему не отдал приказ об аресте эсеровской верхушки?

Не может не вызывать удивления и еще один факт: почему Ленин поехал на митинг без какой-либо охраны? Ведь когда он выступал на этом же заводе 28 июня, его охранял начальник гарнизона Замоскворечья Блохин. На сцену Ильич вышел в окружении красноармейцев, и как



он ни просил их удалиться, они не уходили. Тогда Ленин обратился к Блохину, но тот выполнил просьбу Ильича лишь после звонка Дзержинскому, который разрешил солдатам спуститься со сцены, но далеко не уходить.

Кстати говоря, в целях безопасности о том, кто будет выступать на том или ином митинге, заранее не сообщалось. Да и сам Ленин узнал о своем маршруте лишь 29 августа, получив соответствующую путевку в агитотделе ВЦИК. 30 августа Ленину вообще было не до митингов: пришло сообщение об убийстве Урицкого, и он приказал Дзержинскому немедленно выехать в Питер. Учитывая ситуацию, Бухарин и Крупская уговаривали Ленина никуда не ездить.

— Если мне не изменяет память, на заводе Михельсона вы уже были, — напомнил ему Бухарин. — И что?

— Как это что?! — вспыхнул Ленин. — Бузить на заводе перестали? Перестали. Производительность труда в гранатном цехе повысилась? Повысилась. В армию молодежь пошла? Пошла.

— Так-то это так, — не унимался Бухарин, — но за два месяца, что прошли со дня вашего выступления, многое изменилось: был эсеровский мятеж, была отставка Дзержинского, был убит Володарский, а сегодня — и Урицкий. Все это не случайно, все это — звенья одной цепи! Да что я вам толкую о том, что вы и сами прекрасно знаете!

— Да! — забегал по кабинету Ленин. — Буржуазия просто так не сдастся. Буржуазия будет сопротивляться, не жалея крови пролетариата и его вождей. Мы должны ответить тем же. Белому террору необходимо противопоставить красный террор! Иначе их не остановить.

— А я о чем говорю?! — воскликнул Бухарин. — Как ответственный редактор «Правды» я хотел бы посвятить этой проблеме ряд статей, но для этого необходимо одобрение ЦК, иначе меня сочтут якобинцем.

— Напомните на ближайшем заседании. Думаю, что ЦК вас поддержит. Но многое зависит от того, с чем вернется из Питера Дзержинский. Одно дело, если Урицкого убил террорист-одиночка, и совсем другое, если он до-

стал револьвер по заданию партии. А вот какой партии, надо будет разобраться! — наклонился он над столом и впился в глаза Бухарина.

— Разберемся, — все понял Бухарин, — и так пропесочим, что либо уйдут в подполье, либо самораспустятся.

— Ну, это вы хватили, — улыбнулся Ленин. — А на митинг надо бы съездить...

— Надо, — согласился Бухарин. — Но только на один. На Хлебной бирже вы еще не были, ждут вас там с большим нетерпением, да и от Кремля это сравнительно недалеко: туда-сюда успеете засветло.

— А ведь Николай Иванович прав, — подала голос Крупская. — Зачем лишний раз подставляться? Хватит с нас и Моисея Соломоновича, вечная ему память, — чуть было не перекрестилась Надежда Константиновна.

— Уговорили, — поднял руки Ленин. — Никуда я, пожалуй, не поеду. Да и дел накопилось — прорва. Весь стол завален бумагами, и каждую нужно прочитать, отредактировать и подписать. К тому же я задумал одну острейшую статейку, — азартно потер он руки. — Надо кое-кому задать перцу! А то болтают на каждом углу про гуманизм, не понимая, что в период исторических изломов права личности на свободное развитие творческих сил, равно как и принципы справедливости и равенства подлежат существенной коррекции.

— Вот и славно! — обрадовался Бухарин. — В ближайшем номере напечатаем вашу переперченную статью.

— Да и ты, Наденька, права, — вздохнув, продолжал Ильич. — Хоть и говорят, что дважды снаряд в одну и ту же воронку не попадает, но на сегодня нам хватит и Урицкого.

— Попадает, Володя, еще как попадает, — словно что-то предчувствуя, достала платок Крупская и промокнула набежавшую слезу.

— Решено, — направился к столу Ленин. — Сегодня я работаю здесь. Но допоздна! — шутливо погрозил он пальцем. — И попрошу по пустякам меня не беспокоить.

— Что это вы тут решаете без санкции ВЦИКа? — раздался от двери шутливо-грозный голос.

— А-а, это вы! — обрадованно привстал Ленин. — Входите, Яков Михайлович, входите. А решили мы вот что: в связи со сложившейся обстановкой и из-за крайней занятости на митинг я сегодня не поеду.

— Как это не поедете?! — с едва заметным металлом в голосе переспросил Свердлов. — И что это за сложившаяся обстановка?

— Имеется в виду убийство Урицкого. И вообще... — как-то неуверенно ответил Ленин.

— Что ж мы теперь, прятаться начнем? — презрительно кривя губы, бросил Свердлов. — Рабочие нас не поймут. Скажут, что большевики отчаянные трусы, и будут правы.

Свердлов знал, куда бил: на обвинения в трусости Ленин реагировал мгновенно и неадекватно — он тут же, забывая об элементарной осторожности, лез на рожон. Короче говоря, на оба митинга он поехал, и без какой-либо охраны. Это было грубейшим нарушением сложившихся правил.

А теперь попробуем разобраться с утверждением Свердлова о том, что двое стрелявших в Ленина задержаны. Кто они? Одним из них был бывший левый эсер Александр Протопопов. Сведения о нем довольно скудны, но известно, что он — из матросов, что был начальником контрразведки красно-советско-финского отряда, влившегося в ВЧК, что во время выступления левых эсеров в июле 1918-го стал известен тем, что лично разоружил самого Дзержинского.

И вот что поразительно: Протопопова, который был одним из основных подозреваемых в деле о покушении на Ленина, без каких-либо допросов, расспросов или иных следственных действий быстренько расстреляли — и вся недолга. А ведь в том, что в него стрелял мужчина, ни секунды не сомневался и сам Ильич. Он даже успел спросить у наклонившегося к нему Гиля: «Поймали его или нет?»

Казалось бы, если необходимо выяснить, кто задумал и организовал покушение, какая партия или организация стоит за терактом, нужно, как следует поработать с

задержанным на месте покушения Александром Протопоповым, — а его без каких-либо расспросов расстреливают. Предположить, что Дзержинский, Петерс и другие чекисты были настолько безграмотны, что не знали, как в таких случаях ведется следствие, было бы по меньшей мере наивно — ведь они уже раскрыли немало хитроумных заговоров и разоблачили десятки смертельных врагов революции. Невольно возникает мысль, что они выполняли чье-то указание и, чтобы не заносить в протокол то, что мог выболтать Протопопов, поставили его к стенке.

А вот второй задержанной была женщина, и задержал ее помощник военного комиссара 5-й Московской пехотной дивизии Батулин. В показаниях, данных по горячим следам, он заявил:

— Я находился в 10—15 шагах от Ленина, когда услышал три выстрела и увидел Ленина, лежащего ничком на земле. А когда от выстрелов люди стали разбегаться, я закричал: «Держи! Лови!» И тут я заметил женщину, которая вела себя очень странно. На мой вопрос, кто она и зачем она здесь, женщина ответила: «Это сделала не я». Когда я ее задержал и когда из окружившей толпы стали раздаваться крики, что стреляла эта женщина, я спросил еще раз, она ли стреляла в Ленина. Последняя ответила, что она. Нас окружили вооруженные красногвардейцы и милиционеры, которые не дали произвести самосуда над ней, и мы отвели ее в Замоскворецкий военкомат.

Прошла всего неделя, и Батулин заговорил иначе:

— Подойдя к автомобилю, на котором должен был уехать Ленин, я услышал три резких, сухих звука, которые принял не за револьверные выстрелы, а за обыкновенные моторные звуки. Вслед за этим я увидел Ленина, неподвижно лежавшего лицом к земле. Я понял, что на его жизнь было произведено покушение. Человека, стрелявшего в Ленина, я не видел. Я не растерялся, закричал: «Держите убийцу товарища Ленина!» и с этими криками выбежал на Серпуховку, по которой в одиночном порядке, и группами бежали перепуганные выстрелами люди.

Добежавши до так называемой Стрелки, я увидел позади себя, около дерева, женщину с портфелем и зонтиком в руках, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного.

Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей идти за мной. В дороге я ее спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на товарища Ленина: «Зачем вы стреляли в товарища Ленина?» На что она ответила: «А зачем вам это нужно знать?» Что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на Ленина. После этого я еще раз спросил: «Вы стреляли в товарища Ленина?» На что она ответила утвердительно, отказавшись указать партию, по поручению которой стреляла.

А теперь попробуем сопоставить показания Батулина, данные с разницей в одну неделю. Вопросов возникает множество. Прежде всего, не понятно, где же все-таки Батулин задержал террористку — во дворе завода или на Серпуховке? Выстрелы он слышал или «моторные звуки»? Почему он решил задержать не кого-нибудь из бегущих, а спокойно стоящую женщину? Что за пролетарское чутье позволило ему распознать по зонтику и портфелю «лицо, покушавшееся на товарища Ленина»? И почему, наконец, террористка, не будучи арестованной и не находясь в ЧК, запросто и без всяких церемоний признается в покушении первому встречному?

Согласитесь, что что-то здесь не так, есть в этом сценарии что-то недописанное: во всяком случае, белые нитки торчат отовсюду.

Так кого же привезли в тот роковой вечер в Замоскворецкий военкомат? Что за женщина была задержана Батулиным и взяла на себя ответственность за покушение на Ленина? Ею оказалась Фейга Хаимовна Каплан, известная также под именами Фанни и Дора и под фамилиями Ройд, Ройтман и Ройтблат.

Ее биография довольно запутанна, но все же известно, что происходит она из мещан Речицкого еврейского

общества, что родилась в 1887 году, что ее родители уехали в США, а она увлеклась политикой и стала анархисткой. В 1906 году, будучи в Киеве, она вместе с двумя другими анархистками готовила теракт против киевского генерал-губернатора, однако изготовленная террористками бомба взорвалась в их комнате. Каплан была ранена в голову, и у нее на всю жизнь остался шрам над правой бровью.

А вскоре состоялся военно-полевой суд, который приговорил Фаню к бессрочной каторге. Так она оказалась сначала в Мальцевской, а потом в Акатуевской тюрьме Нерчинской каторги. В те годы это место было своеобразным средоточием радикально настроенных женщин-революционерок. Тон задавали, конечно же, эсерки, среди которых особенно заметной была Мария Спиридонова, которая застрелила советника Луженовского, жестоко усмирявшего крестьян Тамбовской губернии. Фаня тут же попала под ее влияние, забыла о своих анархистских взглядах и стала завзятой эсеркой.

Под стать Спиридоновой были и ее подруги, которые приняли активное участие в перевоспитании Фани. Ну что, казалось бы, за дело до поротых крестьян Поволжья жене самарского купца Анастасии Биценко?

Так нет же, вместо того, чтобы заказать молебен или помочь крестьянским семьям, она берет револьвер и убивает генерала Сахарова, повинного в подавлении мужицких волнений. А Шура Измайлович! Дворянка, дочь генерала подняла руку на губернатора Минска. Интеллигентная и прекрасно воспитанная учительница Мария Школьник, вместо того чтобы учить гимназисток изысканным манерам и прививать любовь к русской словесности, участвовала в покушении на жизнь черниговского губернатора.

Все они были так называемыми «вечницами», то есть сначала их приговорили к смертной казни, а потом, в порядке особой милости, петлю заменили вечной каторгой. Находясь вдали от столиц, молодые образованные женщины не унывали. Они писали стихи, пели хором, осваивали новые профессии, изучали иностранные языки и,

что особенно важно, жили своеобразной коммуной, то есть все вещи, продукты, лекарства и деньги, которые им присылали с воли, делили на всех. Фаня чувствовала себя в этой среде как рыба в воде. Она даже освоила профессию белошвейки, что тут же отразил в ее карточке начальник тюрьмы.

А потом с ней случилась беда. Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях одна из каторжанок.

«В смысле заболеваний был у нас в Мальцевской один, поистине трагический случай. Одна из мальцевитянок, Фаня Ройтблат (Каплан), еще до ареста была ранена в голову осколком взорвавшейся бомбы. Так как прошло около двух лет после взрыва и рана зажила, то никто из нас, да и она сама, никогда не думали о каких-либо осложнениях от ранения.

Мы привыкли видеть ее всегда здоровой и жизнерадостной. И вдруг однажды вечером, кажется летом 1909 года, в тюрьме поднялась тревога: с Фаней неожиданно случился странный припадок — она перестала видеть. Глядела широко раскрытыми глазами и ничего не видела вокруг себя. Через день или два припадок слепоты кончился, Фаня опять увидела свет, но мы поняли, что дело может принять печальный оборот. И действительно, через короткое время она совсем потеряла зрение. У нее по-прежнему оставались прекрасные серые лучистые глаза, такие ясные и чистые, что по внешнему виду трудно было определить, что она слепая.

Слепота так потрясла ее, что она хотела лишиться себя жизни. Пока особо острый период не миновал, мы ни на минуту не оставляли ее одну.

Когда прошел месяц, другой и ничего не изменилось, она постепенно начала приспосабливаться к своему новому положению. Стала учиться читать по азбуке для слепых без посторонней помощи и приучилась обслуживать себя. Так странно было видеть, как она, выйдя на прогулку, быстро ощупывала лица новеньких, которых она не знала зрячей.

Неоднократно к ней вызывались тюремные врачи, но их мнение долго сходилось на одном, что она симулирует

ет слепоту. Так она прожила много лет слепой, и только в 1913 году была переведена в Читу для лечения. Оказалось, что ее слепота все-таки поддается лечению. После лечения ее зрение, конечно, не стало вполне нормальным, но, во всяком случае, это уже не был тот полный мрак, в котором она жила столько лет».

Воспоминания воспоминаниями, они могут быть субъективными, но в подтверждение этих драматических событий мне удалось найти любопытнейшие документы тех лет. Вот, например, начальник Мальцевской тюрьмы в ноябре 1909 года пишет врачу Нерчинской каторги: «Ссылно-каторжную Каплан, потерявшую зрение, разрешено перевести для содержания в тюрьму в том же городе, где имеется специалист по глазным болезням. В том случае, если лечение может принести ей пользу».

Судя по всему, тюрьмы со специалистом по глазным болезням в Забайкалье не было, поэтому начальник Акатуевской тюрьмы получает от врача официальное послание: «Имею честь сообщить Вам, что каторжная Фейга Каплан совершенно слепа на оба глаза и потому, как совершенно не способная к работам, подлежит призрению в богадельне».

Это означало, что Фаня подлежит освобождению. Но отпускать ее на волю начальство не хотело и продолжало поиски подходящей больницы.

Такую больницу удалось найти лишь в октябре 1913-го. Начальник Акатуевской тюрьмы не стал откладывать дело в долгий ящик и тут же телеграфировал начальнику Читинской каторги: «Сообщаю, что этапом сего числа отправлена во вверенную Вам тюрьму для помещения во вновь открываемую лечебницу для излечения болезни глаз каторжная вверенной мне тюрьмы Фейга Каплан».

Операцию Фане делать не стали, но лечили на совесть, что подтверждает сопроводительное письмо врача Читинской тюремной больницы врачу Акатуевской тюрьмы: «У Ф. Каплан мною констатирована слепота на исте-



рической почве. В настоящее время у нее появляется зрение, хотя и в незначительных размерах. В течение всего лечения она подвергалась электризации (сначала постоянным, потом переменным током), впрыскиваниям стрихнина и пила йодистый калий».

То, что зрение у Фани появилось, подтверждает и докладная записка врача Нерчинской каторги начальнику Акатуевской тюрьмы: «Ссылно-каторжной Каплан Фейге ввиду сильного ослабления зрения прошу разрешить иметь при себе для пользования при чтении лупу».

Я потому так подробно рассказываю о перипетиях Фани со зрением, что несколько позже, когда ее будут обвинять в прицельной стрельбе в Ленина, для понимания сути дела нам это понадобится.

А пока что поздравим Фаню с тем, что она стала различать хотя бы силуэты, обрела способность передвигаться без посторонней помощи, а с помощью лупы даже смогла читать.

После Февральской революции десять каторжанок, в том числе и Фейга Каплан, на тройках отправились в Читу, там сели на поезд — и в Москву. Подруги и здесь не оставили Фаню без присмотра и раздобыли ей путевку в крымский санаторий в Евпатории. Тамошние врачи с большим сочувствием отнеслись к полуслепой девушке и направили ее в Харьков, в офтальмологическую клинику знаменитого на всю Россию профессора Гиршмана.

Несколько позже всплыла любопытная деталь: по направлению лишь санаторных врачей принять больную Гиршман не имел права, нужно было какое-то солидное поручительство. И знаете, кто поручился за Фаню Каплан, кто дал ей необходимую рекомендацию? Никогда не догадаетесь! Этим человеком был... родной брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Он ведь получил медицинское образование, учился сначала в Московском, а потом в Дерптском университете. С началом войны был призван в армию, и как раз в то время, когда в Крыму появилась Фаня, служил военным врачом в Севастополе. Ему очень понравилась девушка с серыми лучистыми глазами, и, видимо, он очень хотел, чтобы она его разглядела получше.

Лечение у Гиршмана пошло на пользу, и Фаня стала видеть гораздо лучше: она уже не только различала силуэты, но с расстояния полуметра могла узнавать лица. После Харькова она вернулась в Крым и поселилась в Симферополе, работала заведующей курсами по подготовке работников волостных земств. Встречалась ли она в это время с Дмитрием Ильичом, неизвестно, так как никаких сведений об этом в архивах нет.

А вот то, что в конце февраля 1918 года она вернулась в Москву и поселилась у подруги по каторге Анны Питигит, известно точно. Известно и то, что в это время она часто встречалась с такими завзятыми эсерками, как Мария Спиридонова и Анастасия Биценко, которых считала героинями и которым поклонялась.

Но вернемся в Замоскворецкий военкомат, куда привели Фейгу Каплан. Первое, что она сделала, это сняла левый ботинок.

— Так я и думала, — вздохнула она. — Гвоздь. Так, проклятый, колет, что прямо спасу нет.

— А я думал, что вы хромоножка, — ухмыльнулся Батулин.

— Никакая я не хромоножка! — вскинула голову Фаня. — Чем смеяться над девушкой, лучше бы помогли.

— Вам нужно к сапожнику. А я — комиссар!

— Тогда я сама, если, конечно, товарищ комиссар не возражает.

С этими словами Фаня взяла со стола несколько конвертов со штемпелем военкомата, сделала из них некое подобие стельки и вложила в ботинок.

Знала бы тогда Фаня, что натворила, ни за что бы не взяла эти проклятые конверты: ведь при обыске их обнаружат, решат, что в военкомате служат ее сообщники, и начнут такое дело, что целая группа людей едва избежит расстрела.

Тем временем в военкомат приехал председатель Московского ревтрибунала Дьяконов и приказал тщательнейше обыскать Каплан. Эту операцию поручили трем наи-

более доверенным лицам, но и за ними присматривал вооруженный караул. Одной из этих женщин была Зинаида Легоньяка.

«Меня вызвал товарищ Дьяконов, — рассказывала она год спустя, когда ее саму арестовали по подозрению в покушении на Ленина, — и сказал, что я обязана исполнить поручение и обыскать женщину, которая покушалась на товарища Ленина. Вооруженная револьвером, я приступила к обыску. В портфеле у Каплан были найдены: браунинг, записная книжка с вырванными листами, папиросы, железнодорожный билет, булавки, шпильки и всякая мелочь».

Слухи о том, что именно Зинаида стреляла в Ленина, ходили упорные, но, хоть и с трудом, ей удалось доказать свое алиби. Дело в том, что в августе 1918-го Зинаида училась в инструкторской коммунистической школе красных офицеров, но доказать, что во время покушения на Ленина она сидела в классе, было довольно трудно: ее однокашники разъехались по фронтам и многие из них погибли. К счастью, кое-кто уцелел, и они подтвердили, что в момент покушения вместе с Зинаидой были в классе, и лишь во время перерыва, когда им сказали о покушении, Зинаида помчалась в военкомат, где в то время служила. А тут вдруг привели Фейгу Каплан, и товарищ Дьяконов поручил Зинаиде как следует ее обыскать.

Если Зинаида не нашла ничего существенного, то другое «доверенное лицо», чекистка по фамилии Бем, обнаружила злосчастные конверты, которые Фаня использовала в качестве стельки. Еще более тщательно и профессионально работала Зинаида Удотова, у которой, судя по хватке, был немалый, скорее всего дореволюционный, опыт в такого рода делах.

«Мы раздели Каплан донага, — вспоминала она, — и просмотрели все вещи до мельчайших подробностей. Так, рубцы и швы просматривались нами на свет, каждая складка была разглажена, были тщательно осмотрены ботинки, вынуты оттуда и вывернуты подкладки. Каждая вещь просматривалась по несколько раз. Волосы были

расчесаны и выглажены. Но при всей тщательности обнаружено что-либо не было».

Как только Фаня оделась, Дьяконов приступил к допросу. Протокол этого допроса сохранился, и, что немало важно, указано точное время, когда он состоялся: 23 часа 30 минут. Это лишний раз подтверждает, что на завод Михельсона Ленин приехал именно в 22 часа, как говорил Гиль вначале, а не в 18.30, как он заявил позже. Ведь если Ленин выступал около часа и выстрелы были произведены в 19.30 (а поймали Фейгу буквально через пять минут), и если добавить на дорогу до военкомата еще 30 минут, то получается, что более трех часов ее только обыскивали, забыв о допросе по горячим следам. Это абсолютно исключено, так как именно допрос по горячим следам, когда преступник еще не сориентировался в ситуации, дает следствию наиболее положительные результаты. Эту азбуку чекисты знали и сидеть три часа без дела не могли.

Что касается протокола допроса (в принципе их было два, но они такие короткие, что я их объединил), то приведу его полностью, причем в стилистике и орфографии тех лет:

«Я Фаня Ефимовна Каплан, под этим именем я сидела в Акатуе. Это имя я ношу с 1906 года. Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению. Сколько раз я выстрелила — не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу, я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Жила раньше не в Москве, в Петрограде не жила. Женщина, которая тоже оказалась при этом событии раненой, мне раньше была абсолютно не знакома.

Стреляла в Ленина я потому, что считала его предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм. В чем это подрывание веры в социализм заключалось, объяснить не хочу. Я считаю себя социалисткой, сейчас ни к какой партии себя не отношу. Арестована я была в 1906 году, как анархистка. Теперь к

анархистам себя не причисляю. К какой социалистической группе принадлежу сейчас, не считаю нужным сказать. В Акатуй была сослана за участие во взрыве бомбы в Киеве.

Меня задержали у входа на митинг, ни к какой партии не принадлежу. Я стреляла в Ленина потому, что считаю, что он предатель и считаю, что чем дольше он живет, тем он удаляет идею социализма на десятки лет. Я совершила покушение лично от себя».

Добавим, что протокол допроса подписать Фаня отказалась. Почему? Ведь Дьяконов вел себя предельно корректно, он даже внес в протокол исправления, на которых настаивала Каплан. Больше того, он ни разу не прикрикнул на террористку, не пригрозил, не поставил на место, хотя Фейга вела себя вызывающе и откровенно провокационно. Все эти «не хочу», «не скажу», «не считаю нужным сказать» могли бы взбесить кого угодно — ведь в главном-то, в том, что она стреляла в Ленина, Фейга созналась, и этого вполне достаточно, чтобы без всяких церемоний поставить ее к стенке. Но Дьяконов понимает, что Фейга что-то скрывает, что совершить покушение без сообщников, как она говорит, «лично от себя» не могла.

А вскоре за Фейгой приехали чекисты и отвезли на Лубянку, где ее с нетерпением ждали нарком юстиции Курский, член коллегии Наркомата юстиции Козловский, секретарь ВЦИК Аванесов и, конечно же, заместитель Дзержинского Яков Петерс.

Допросов будет много. К счастью, протоколы этих допросов сохранились, и мы еще их не просто рассмотрим, а тщательнейшим образом проанализируем.

А пока что вернемся во двор завода, где около автомобиля лежит раненый Ленин. О том, что было дальше, лучше всего рассказать устами Степана Гиля, который, как вы, наверное, помните, держал на прицеле террористку, но почему-то в нее не выстрелил, а всего лишь испугал — и ее рука дрогнула.

«Я обернулся и увидел Владимира Ильича упавшим на землю, — рассказывал несколько позже Гиль. — Я бросился к нему и, став на колени, наклонился к Владимиру Ильичу. Сознания он не потерял и спросил:

— Поймали его или нет?

Он, очевидно, думал, что в него стрелял мужчина. Я вижу, что спросил он тяжело, изменившимся голосом и с каким-то хрипом.

В эту минуту поднимаю голову и вижу, что по направлению к нам из мастерских бегут какие-то люди с револьверами в руках. Я выхватил свой револьвер и закричал:

— Стой! Стрелять буду! Кто вы?

— Мы свои, товарищ! Свои. Из заводского комитета, — ответили они.

Узнав одного из них, я подпустил их к Владимиру Ильичу. Среди них оказался фельдшер эвакогоспиталя Сафронов. Он спросил у Ленина, куда тот ранен, и, услышав ответ, что в руку, оказал ему первую помощь, перевязав рану платком и остановив кровотечение.

Все настаивали, чтобы я вез Владимира Ильича в ближайшую больницу, но я решительно ответил:

— Ни в какую больницу не повезу. Везу домой!

— Домой, домой, — подхватил Ильич, услышав наш разговор.

Мы помогли Ленину подняться на ноги, и он сам прошел несколько шагов до машины, а потом с нашей помощью поднялся на подножку и сел на заднее сиденье, на обычное свое место. Так как у нас не было охраны, то я попросил двоих товарищей из завкома сесть с нами.

Я поехал очень быстро, а когда обеспокоенно оглядывался, то видел, что лицо Ильича очень бледно. Но он не стонал и не издавал ни звука.

В Троицких воротах я не остановился, а проехал прямо к квартире Ильича. Здесь мы помогли ему выйти из автомобиля и наверх хотели внести на руках. Он наотрез отказался. Мы снова стали его умолять, чтобы он разрешил внести его на руках, но он твердо сказал:

— Я пойду сам... Только помогите снять пиджак. Мне так легче будет идти.

Я осторожно снял пиджак, и он, опираясь на нас, пошел по крутой лестнице на третий этаж. Я провел его прямо в спальню и положил на кровать. Хотел снять рубашку, но у меня никак не получалось, и я ее разрезал.

В этот момент появилась Мария Ильинична и с криком: «Что случилось?» бросилась к Ильичу.

Потом я позвонил Бонч-Бруевичу, рассказал о случившемся и побежал к Надежде Константиновне, чтобы хоть как-то ее предупредить. Она все поняла по моему лицу и спросила, глядя на меня в упор:

— Ничего не говорите. Только скажите — жив или убит?

— Даю честное слово, что Владимир Ильич жив. Он только легко ранен».

После звонка Бонч-Бруевичу в Кремле поднялся страшный переполох. Прежде всего, опасаясь нападения на Кремль, он приказал усилить охрану и все имеющиеся силы привести в боевую готовность. Потом, захватив бинты и йод, помчался на квартиру Ильича. И вот что он там увидел.

«Вбежав в маленькую квартиру Ильича, я прежде всего увидел Марию Ильиничну, метавшуюся из комнаты в комнату и в крайнем нервном возбуждении повторяющую:

— Что же это такое? До каких пор это будем терпеть? Неужели и это пройдет им даром?

Тут же, прижавшись к стене, тихо рыдала сотрудница Совнаркома Анна Петровна Кизас. Я сказал ей, что плакать нельзя, что это расстраивает. Она быстро взяла себя в руки и твердо выполняла все ей поручаемое.

Владимир Ильич лежал на правом боку и тихо стонал. Лицо его было бледно. Разорванная рубашка обнажала грудь и левую руку, на которой виднелись две ранки на плечевой кости. Я предложил немедленно смазать отверстия ран йодом, дабы предотвратить от внешнего заражения, что было тут же сделано. И тут Владимир Ильич открыл глаза, скорбно посмотрел на меня и сказал:

— Больно, сердце больно... Очень сердце больно.

— Сердце ваше не затронуто, — успокоил я. — Я вижу раны, они в руке. А болит у вас не сердце, это отража-  
тельная нервная боль.

— Раны, в руке... А от сердца далеко? Сердце не может быть затронуто?

И он затих, закрыв глаза. Лицо стало еще бледней, и на лбу появился желтоватый восковой оттенок. Тут я по-настоящему перепугался! «Как бы не умер», — пронеслось в голове.

Я бросился к телефону и начал названивать в Московский Совет и кому-то еще, требуя прислать врачей. В Кремле тогда еще не была организована медицинская помощь, не было ни аптеки, ни больницы, так что за лекарствами и кислородными подушками пришлось посылать по городу. Вскоре мне доложили, что профессора Обух, Вейсброд и Минц уже в пути.

Между тем Ленину стало хуже: он был без сознания, лицо сделалось смертельно-бледным и подернулось каким-то матовым, землистым цветом. Мы поняли, что от страшной боли у него может остановиться сердце, и решились впрыснуть морфий. И надо же так случиться, что, пока возились со шприцем, кто-то уронил пузырек с нашатырным спиртом. Пузырек разбился — и комнату заполнил едкий запах нашатыря. Ильич тут же очнулся, сказал: «Вот хорошо» и опять забылся.

А вскоре приехали врачи. Минц уже был одет в белый халат и тут же взялся за дело. Быстрыми гибкими пальцами он начал ощупывать места ранений.

— Одна пуля в руке, — односложно бросил он. — Крупные сосуды не затронуты. А где же вторая?

И вдруг его пальцы побежали вокруг шеи.

— Есть, нашел, — заметно побледнев, сказал он. — Вот она, под самой челюстью.

— Это опасно?

— Если бы она задела пищевод или позвоночный столб, ранение можно было бы считать смертельным. Но, как мне кажется, этого не произошло, хотя легкие пуля задела. Думаю, что он будет жить.



При этих словах все облегченно вздохнули. А я снова посмотрел на Ильича. Его худенькое обнаженное тело, беспомощно распластавшееся на кровати, склоненная набок голова, смертельно-бледное, скорбное лицо, крупные капли пота, выступившие на лбу, — все это было так ужасно, так безмерно больно, вызывало такую острую жалость, что я едва сдерживал слезы.

И лишь после того как, с превеликим трудом втащив на третий этаж тяжеленные сундуки с аппаратурой, сделали рентгеновский снимок груди, врачи с полной уверенностью сказали, что Ленин будет жить. При этом они подчеркнули, что от смерти Ильича спас лишь случайный и счастливый поворот головы и что, уклонись пуля на один миллиметр в ту или другую сторону, Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых».

### **Глава 3**

#### **Сумасшедшая? Экзальтированная?**

Тем временем на Лубянке вовсю шли допросы Фейги Каплан. Первым к делу приступил нарком юстиции Курский.

— Где вы взяли оружие? — спросил он.

— Не имеет значения, — вызывающе дерзко ответила Фаня.

— Вам его кто-нибудь передал?

— Не скажу.

— С кем вы связаны? С какой организацией или группой?

— Отвечать не желаю.

— Связан ли ваш социализм со Скоропадским?

— Отвечать не намерена.

— Слыхали ли вы про организацию террористов, связанную с Савинковым?

— Говорить на эту тему не желаю.

— Почему вы стреляли в Ленина?

— Стреляла по убеждению.

— Сколько раз вы стреляли в Ленина?

— Не помню.

— Из какого револьвера стреляли?

— Не скажу. Не хотела бы говорить подробности.

— Были ли вы знакомы с женщинами, разговаривавшими с Лениным у автомобиля?

— Никогда их раньше не видела и не встречала. Женщина, которая оказалась раненной при этом событии, мне абсолютно не знакома.

— Просили вы Биценко провести вас к Ленину в Кремль?

— В Кремле я была один раз. Биценко никогда не просила, чтобы попасть к Ленину.

— Откуда у вас деньги?

— Отвечать не буду.

— У вас в сумочке обнаружен железнодорожный билет до станции Томилино. Это ваш билет?

— В Томилино я не была.

— Где вас застала Октябрьская революция?

— Октябрьская революция застала меня в Харькове, в больнице. Этой революцией я осталась недовольна. Встретила ее отрицательно. Большевики — заговорщики. Захватили власть без согласия народа. Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за него.

— Где вы учились? Где работали?

— Воспитание получила домашнее. Работала в Симферополе. Заведовала курсами по подготовке работников в волостные земства. Жалованье получала (на всем готовом) 150 рублей в месяц.

— Стреляли в Ленина вы? Подтверждаете?

— Стреляла в Ленина я. Решилась на этот шаг в феврале. Эта мысль назрела в Симферополе. С тех пор готовилась к этому шагу.

— Назовите полностью свое имя, отчество и фамилию.

— Меня зовут Фанни Ефимовна Каплан. По-еврейски мое имя Фейга. До шестнадцати лет жила под фамилией Ройдман. Родилась я в Волынской губернии, уезда не помню. Отец мой был еврейский учитель. Теперь вся моя семья уехала в Америку.

В два часа ночи уставшего Курского сменил Петерс. Ничего нового этот допрос не дал. Единственное, чего добился Петерс, это довел Фаню до слез. «Я до сих пор не могу понять, что означали эти слезы, — говорил он позже, — раскаянье или утомленные нервы».

А присутствовавший на допросе Аванесов был еще откровеннее. «На вид сумасшедшая какая-то. Или экзальтированная», — сказал он.

Параллельно шли допросы кастелянши Павловской больницы Марии Поповой, той самой женщины, которая была ранена первым выстрелом.

— В пятницу, 30 августа, я вышла из дома в шестом часу вечера. Зашла к Клавдии Московкиной, которой снесла кружку молока. Потом мы мимоходом зашли на митинг и подоспели под самый конец речи Ленина.

Когда кончилась речь, я вместе с Московкиной направилась к выходу и очутилась возле Ленина. Я обратилась к Ленину: «Вы разрешили муку, а муку отбирают». Он ответил: «По новому декрету нельзя. Бороться надо!» Тут раздался выстрел, и я упала. Я находилась по правую руку от Ленина и несколько сзади.

Чекисты обратили внимание и на нестыковку во времени, и на то, что она слышала всего один выстрел, и на нелепый вопрос о муке. Тем более что милиционер Сухотин рассказал об этих событиях совсем иначе.

— Товарищ Ленин приехал на митинг часов в 9 вечера. Через полчаса он кончил свою речь и направился к выходу. По дороге его никто не останавливал. Публика расступалась перед ним по обыкновению. Когда толпа начала выходить вслед за Лениным во двор, раздалось три выстрела. Я выскочил из толпы посмотреть в чем дело. И увидел раненого Ленина, лежащего на земле шагах в шести от автомобиля. Шагах в четырех от Ленина на земле лежала женщина и кричала: «Я ранена. Я ранена». А из толпы кричали: «Она убийца». Я бросился к этой женщине, мы ее подняли и отвели в Павловскую больницу.

Пришлось Попову арестовать, а заодно задержать ее дочерей и вызвать на допросы сослуживцев, соседсй и

всех, кто хоть что-то о ней знал. Идея была такова: Попова находилась ближе всех к Ленину, и если не стреляла сама, то, по крайней мере, отвлекала на себя внимание — ранение-то у нее пустяковое, не исключено, что так было задумано. Но затея с Поповой закончилась самым настоящим конфузом.

Следователь, который вел это дело (его имя я назову несколько позже), вынужден был это признать, причем письменно:

«Допросив подробно обеих дочерей Марии Поповой, я вынес вполне определенные впечатления, что Попова является заурядной обывательницей, которая если и интересовалась какими-либо общественными вопросами, то исключительно вопросом о хлебе. Нет никаких подозрений, чтобы она была причастна к правоэсеровской или иной партии или к самому заговору. Дочери являются достойными дочерьми своей мамы, выросли в нужде: и был бы хлеб и картофель — для них выше всякой политики».

Эта бумага явилась основанием для официального документа, который называется «Заключение следствия о Марии Григорьевне Поповой». В нем подчеркивается, что на митинг она попала случайно, что ее пособничество преступлению ничем не подтверждается, что «побудительным мотивом ее обращения к Ленину послужило то обстоятельство, что ее дочери были в поездке за мукой, и она боялась отобрания этой муки». Еще раз подчеркивается, что Попова «заурядная мешанка и обывательница, что ни ее личные качества, ни интеллектуальный уровень, ни круг людей, среди которых она вращалась, не указывают на то, чтобы она могла быть рекрутирована в качестве пособницы при выполнении террористического акта».

Подписал это документ тот самый следователь и еще один человек, имя которого стало символом большевистского палачества, звериной жестокости и лютого изуверства. Его имя в деле покушения на Ленина всплывает еще не раз, и в свое время я об этом ироде расскажу.

А пока что сестер Поповых из-под стражи освободили, засаду с их квартиры сняли, а мать признали лицом,

пострадавшим при покушении на Ленина, назначили единовременное пособие и положили в больницу «для излечения за счет государства».

Хоть и с запозданием, но чекистам пришла в голову дельная мысль: на месте покушения надо провести следственный эксперимент. Степан Гиль пригнал машину на место покушения, трое мужчин стали изображать Ленина, Каплан и Попову, а четвертый все это фотографировал.

Удивительно, но эти снимки сохранились! В роли Ленина выступал председатель заводского комитета Иванов, в роли Поповой — работник завкома Сидоров, а в роли Каплан — тот самый следователь, который допрашивал Марию Попову и отпустил ее на все четыре стороны. Вот «Ленин» подходит к автомобилю, «Попова», беседуя с ним, идет рядом, Гиль — за рулем, а «Каплан» — около переднего колеса машины. Следующий снимок: «Каплан» стреляет, остальные пока что стоят на прежнем месте. А вот на третьем снимке «Ленин» лежит на земле, «Попова» в испуге бежит, Гиль склонился над «Лениным», а «Каплан» спокойно идет к воротам.

Тогда же были найдены четыре гильзы, хотя выстрелов, напомним, было три. Загадка четвертой гильзы так и не будет раскрыта ни по горячим следам, ни через четыре года, когда к делу о покушении на Ленина чекисты вернутся снова. А тогда, во время следственного эксперимента, запутавшийся в своих показаниях Гиль вспомнил, что тот браунинг, который стрелявшая женщина бросила ему под ноги, он затолкал под машину. Куда он потом делся, Гиль понятия не имел, так как ему было не до браунинга: надо было спасти Ленина.

Уже знакомый нам следователь опросил всех чекистов, милиционеров и красноармейцев, которые побывали в тот злосчастный вечер во дворе завода, но никто из них браунинга не видел и не находил. И тогда он придумал потрясающий по своей простоте ход: в «Известиях» напечатали обращение к нашедшему оружие с просьбой вернуть его в ВЧК. Самое удивительное, эта публикация сработала, и уже на следующий день на Лубянку явился рабочий фабрики Савельева Александр Кузнецов, кото-

рый передал следователю браунинг № 150489 и обойму с четырьмя патронами. В тот же день он подал в ВЧК письменное заявление:

«Довожу до сведения ВЧК, что во время покушения я присутствовал и принимал самое активное участие в расследовании на месте покушения. Когда товарищ Ленин выходил из завода, я находился неподалеку от него. Услышав выстрелы, я протиснулся через публику и добрался до автомобиля, на котором приехал Ленин.

Там я увидел такую картину. Ленин уже лежал на земле, и около него валялся брошенный револьвер, из которого были произведены предательские выстрелы. При виде этой картины я сильно взволновался и, поднявши браунинг, бросился преследовать ту женщину, которая сделала покушение. Вместе с другими товарищами мне удалось ее задержать.

Всего было сделано 3 выстрела, потому что в обойме осталось всего 4 патрона. Все это время браунинг находился у меня на груди, и я прошу ВЧК оставить его при мне. Но если комиссия потребует отдать его, я во всякое время, как сознательный рабочий, выполню все требования комиссии».

Эти показания Кузнецова запутали картину преступления еще больше. Где же все-таки лежал револьвер: под машиной, куда его затолкал, если верить его словам, Гиль, или рядом с упавшим Лениным, как говорит Кузнецов. Деталь немаловажная, но ликвидировать разночтения в показаниях этих очевидцев покушения так и не удалось.

Далее. Если около Ленина нашли револьвер, из которого в него стреляли, то что за браунинг обнаружили в портфеле Каплан? Не могла же она из одного стрелять, а другой носить просто так. И кто ее задержал: Степан Батулин или «вместе с другими товарищами» Александр Кузнецов?

Непонятно также, почему не была проведена дактилоскопическая экспертиза, ведь если бы отпечатки пальцев Каплан нашли на револьвере, брошенном под ноги Ленина, — это одно, а если только на том, который лежал в портфеле, — это совсем другое.

А куда девалась пуля, которой была ранена Мария Попова? В деле есть справка санитарного отдела ВЧК о том, что Попова имеет сквозное ранение локтевого сустава левой руки, но нет ни слова о том, искали ли пулю на месте покушения, нашли ли и сравнивали ли с другими пулями из обоймы браунинга.

Вопросов, как видите, множество. На некоторые из них ответы найти удастся, но большинство так и останется без ответа.

А теперь, я думаю, настало время раскрыть имя следователя, который во время следственного эксперимента играл роль Фейги Каплан. Им был человек удивительной, полной приключений и злоключений, трагической судьбы Виктор Кингисепп. Человеком, которого нет на снимках, но который делал фотографии и режиссировал этот спектакль, был тот самый большевистский палач, имя которого будет проклято в веках, Яков Юровский. Да-да, тот самый Юровский, который не только руководил расстрелом царской семьи в печально известном доме Ипатьева, но и сам разрядил не одну обойму. Как видите, партия и правительство по достоинству оценили его заслуги и доверили весьма высокий пост в ЧК.

Что касается Виктора Кингисеппа, то он заслуживает отдельного рассказа, тем более что о нем очень мало известно, между тем как на карте России есть город, носящий его имя.

## ЭПИЗОД № 5

Этот эстонский юноша так рано связал свою жизнь с революцией и так люто ненавидел остзейских баронов, что, когда это стало возможным, они организовали на него самую настоящую охоту. И понять их было можно! Ведь это он, Виктор Кингисепп, возглавляя эстонские Советы, в декабре 1917-го приступил к массовой конфискации баронских поместий — а их было около тысячи. Отряды красногвардейцев во главе с инструктором по конфискации имений (эту должность придумал Кингисепп) носились по Эстонскому краю и вышвыривали из

дворцов, домов и хуторов вчерашних хозяев земли. А когда они пытались сопротивляться, как было в районе мызы Пюсси, их арестовывали и без суда и следствия расстреливали.

«Ничего! — скрипели зубами бароны. — Мы еще до тебя доберемся!»

По большому счету Кингисепп ходил по краю пропасти: ведь эстонские острова были оккупированы немцами, которые были не прочь переправиться через проливы и завладеть Ревелем — так тогда назывался Таллин. А если учесть, что этого же хотели бароны, то нетрудно представить, какая судьба ждала эстонских большевиков.

Так оно и случилось. 18 февраля 1918 года германская армия перешла в наступление по всему фронту, а через день немцы высадились на эстонском берегу. Сопротивляться было бесполезно, и Кингисеппу пришлось бежать в Москву. Там его назначили следователем по особо важным делам Революционного трибунала республики — тогда это был высший судебный орган страны.

Среди сложнейших дел, которыми пришлось заниматься Кингисеппу, было печально известное дело капитана 1-го ранга Алексея Щастного, который весной 1918-го командовал Красным Балтийским флотом и, поддержанный матросами, поднял восстание под лозунгом «Диктатура Балтфлота над Россией». Потом ему поручили разобраться с организаторами июльского эсеровского мятежа. Приговоры Кингисепп не выносил, он лишь вел допросы, изучал документы и сличал показания, но на основании собранных им данных трибунал выносил приговоры, как правило, расстрельные: так было и с Алексеем Щастным, и с целой группой эсеров.

К делу о покушении на Ленина Виктора Кингисеппа подключили буквально в тот же день, но Фейгу Каплан он не допрашивал, ему поручили заниматься ее окружением. Проводя следственный эксперимент на месте покушения, Кингисепп не без удивления обнаружил еще одного активного участника задержания Каплан. Им оказался тот самый председатель завкома Иванов, который во время следственного эксперимента исполнял роль Ленина.



По словам Иванова, именно он председательствовал на митинге и предоставил слово Ленину; потом, когда Ленин закончил выступление и направился к выходу, какой-то сообщник Каплан на узкой лестнице дважды задерживал ринувшихся за ним рабочих.

— Я несколько замешкался в цехе, — вдохновенно продолжал Иванов. — И вдруг слышу, как люди, которые шли за Ильичом, закричали: «Стреляют!» Мне трудно было пробраться через толпу, поэтому я бросился к ближайшему окну и выскочил во двор. Подбежав к Ленину, я увидел, что его поднимают двое рабочих и какая-то женщина. Владимира Ильича немедленно увезли в Кремль. И тут дети, которые тоже были на митинге, увидев меня, закричали: «Дяденька Иванов, та, что стреляла, убежала на улицу!» Я бросился по Серпуховке. Гляжу: действительно, бежит женщина. Косынка у нее свалилась, волосы распущены. Я схватил ее за руку. Нас окружили рабочие. С трудом удалось удержать их от самосуда. Каплан буквально хотели растерзать на части.

После беседы с Ивановым объявился Ефим Мамонов, который тоже присутствовал на митинге и видел, как к Ленину «довольно спокойно подошла какая-то женщина с чемоданом и с расстояния трех шагов начала стрелять. В этот момент к ней подбежал шофер автомобиля и выбил из ее рук револьвер. Она бросилась бежать. Я видел, как она из чемодана разбрасывала бумаги, затем остановилась и начала собирать бумаги, чтобы отвлечь подозрение. Однако же мы ее узнали, задержали и отвели в комиссариат».

Кингисепп все это записал. А потом, сопоставляя эти повествования с рассказом Гиля, Батулина и Кузнецова, только разводил руками: как много людей хотели быть причастными к задержанию террористки.

(Как это ни смешно, но точно такая же ситуация повторится после первого субботника, на котором несколько человек помогали Ленину нести вошедшее в историю бревно. На известной картине их двое. Но каждый год количество помощников увеличивалось, причем настолько, что лет через тридцать, чтобы все они могли нести

пресловутое бревно, оно должно было быть длиной в полкилометра.)

В самый разгар следствия по делу о покушении на Ленина оно вдруг было прервано. Почему и кем — об этом я еще расскажу. И это является одной из самых больших тайн всей этой истории. А пока что, оставшись не у дел, Кингисепп решил вернуться в родную Эстонию. Само собой разумеется, это было сделано с одобрения ВЧК и Исполкома Коминтерна.

Дело в том, что оккупировавшие Прибалтику немцы решили создать из Латвии и Эстонии Балтийское герцогство с сыном кайзера на престоле. Богатые латыши и эстонские бароны против этого не возражали, хотя предпочитали, чтобы это было не герцогство, а буржуазная республика под эгидой Германии или, если она проиграет войну, под эгидой Англии и Франции. Нетрудно понять, что большевиков не устраивал ни один из этих вариантов. Именно для того, чтобы заставить народ взяться за оружие и не допустить создания антибольшевистски ориентированной республики, в Москве решили отправить для подпольной работы в Эстонии Виктора Кингисеппа.

А тут еще бывший главнокомандующий Кавказским фронтом генерал Юденич, который подал было в отставку и эмигрировал в Эстонию, создал Северо-Западную армию и двинулся на Петроград. В его полках было немало эстонцев, их-то и должен был распропагандировать Кингисепп.

Между тем эстонские газеты захлебывались от восторга. «Красный Петроград — слава и гордость коммунистической революции — скоро будет в руках героической армии маленькой Эстонии!» — аршинными буквами писали они на первых полосах. «Белые штурмуют Пулковские высоты. Генерал Юденич разглядывает в бинокль купол Исаакия!» — кричали плакаты с афишных тумб.

Взбешенный Кингисепп, понимая, что среди солдат много отравленных «вирусом бешенства — национализмом» и замордованных «виселичной дисциплиной» вчерашних рабочих и крестьян, садится за стол и диктует

воззвание к эстонским солдатам, которое в виде листовок в тот же день распространили в окопах:

«Солдаты-пролетарии! Еще не поздно! Поверните штык против тех, кто принуждает вас идти в постыднейший поход, подобного которому не знает мировая история. Происходит неописуемо гнусное, позорное дело! Насильно оторванных от наковальни и плуга сынов трудового народа погнали брать красный Петроград!

Смойте пятно позора с эстонских трудящихся. Пусть ни один историк не посмеет сказать, что эстонский рабочий класс смиренно и со страхом глядел, как шли топить в крови красный Петроград!»

Вначале эстонские власти на эти листовки не обратили никакого внимания. Чего стоят какие-то бумажки, если их батальоны стоят у ворот Петрограда?! Но когда в разгар наступления солдаты стали буквально рвать друг у друга нелегально изданную брошюру «За селедку Вильсона», офицеры всполошились — ведь там была такая беспощадная, такая жгучая правда, что кулаки сжимал даже самый покорный и послушный солдат:

«Америка помогает нам! Ее президент Вильсон прислал не только боеприпасы, но также селедку и хлеб. Но за это эстонская армия должна воевать. Вильсон обменивает свои селедки на дымящуюся человеческую кровь!

Радуйтесь, матери и дети! Лепешка американского дядюшки — это кровь ваших мужей, ваших сыновей, отцов и братьев. Каждый кусочек окроплен кровью миллионов искалеченных воинов! Каждый кусочек полит слезами и осыпан страшными проклятиями десятков миллионов скорбящих матерей, жен, братьев, сестер, детей!

Выплюньте эту селедку, возьмите винтовки, свергните эстонское буржуазное правительство!»

Эти призывы были услышаны: в июле 1919-го поднял восстание Тартуский запасной батальон. И хотя это восстание было жестоко подавлено, в августе во весь голос заговорили профсоюзы, потребовавшие начать мирные переговоры с Советским правительством.

Семьдесят четыре делегата профсоюзного съезда и двадцать восемь рабочих-активистов были арестованы.

Их отвезли в Изборск, двадцать пять человек тут же расстреляли, а остальных под огнем орудий погнали на советскую сторону — многие, конечно же, погибли.

То ли подействовала агитация, то ли эстонцы поняли, что Петроград им не взять, но воевать они стали из рук вон плохо — и это привело к полному провалу похода Юденича на Петроград. В ноябре 1919-го он отвел свои потрепанные части в Эстонию, от захватнических планов отказался и эмигрировал в Англию, откуда несколько позже перебрался во Францию.

А что же Кингисепп? Он по-прежнему пребывал в подполье. За ним охотилась полиция, контрразведка армии, всевозможные шпики и осведомители, но он был неуловим. Тогда к охоте на Кингисеппа подключилась местная пресса. Одни газеты называли его агентом Москвы и призывали добропорядочных граждан не оказывать ему никакой помощи и, если им известно место его жительства, немедленно сообщить полиции. Другие утверждали, что его жилище — старинный склеп на заброшенном кладбище, который, к сожалению, никак не удастся найти. Третьи уверяли, что никакого Кингисеппа в Эстонии нет, что он давно живет под Петроградом в небольшом городке Ямбурге и свои статьи и инструкции эстонским коммунистам присылает оттуда.

Между тем все это время Кингисепп жил в кладбищенской сторожке на окраине Таллина. Хозяева понятия не имели, что в их доме живет государственный преступник, за голову которого назначены большие деньги. Но однажды некстати протрезвевший старик, которому не на что было похмелиться, заявил своей жене:

— Ты знаешь, старуха, у меня есть подозрение, что наш жилец и есть тот самый Кингисепп, которого ищет полиция.

— С чего ты это взял? Такой добропорядочный господин: и за квартиру платит вовремя, и женщин не водит, и пьет только пиво. Тебе бы у него поучиться. Пить надо меньше — и никакие Кингисеппы мерещиться не будут!

— Да? А почему он целыми днями сидит дома? Почему прогуляться выходит только ночью и со двора —

ни шагу? И что за люди снуют туда-сюда с какими-то бумагами?

— Ты же видишь, что целыми днями он сидит за столом и что-то пишет, а для этого нужна бумага. Вот ему и приносят.

— И все-таки я думаю дать знать полиции. Пусть проверят. Представляешь, каких деньжищ нам отвалят, если окажется, что это Кингисепп! Тогда бы я перед смертью мог сказать соседям: «Старик в своей жизни хоть раз хорошо выпил!»

— Не дури, рыба твоя голова. Никакой это не Кингисепп.

— А вдруг? — не унимался старик.

К счастью, этот разговор подслушал один из друзей Кингисеппа и все ему передал. Виктор был хорошим психологом и тут же пошел в атаку.

— Вот что, хозяин, — начал он, наливая ему пива. — Стены у тебя тонкие, и я случайно подслушал твой разговор. Денег ты на мне не зарабатываешь, а потерять — потеряешь. И не только деньги, но и последние штаны. А то и в тюрьму попадешь.

— Это еще почему? — гонорливо уточнил старик.

— Потому, что я журналист, которого за крамольные статьи на полгода уперли за решетку. А я из тюрьмы сбежал и поселился у тебя. Так что за укрывательство беглого преступника ты запросто можешь попасть в каталажку.

— Вон как все обернулось! — досадливо крикнул старик. — А я хотел на тебе подзаработать.

— Ты лучше смотри, чтобы никто не пронюхал, что я у тебя живу. А насчет подзаработать... На вот тебе деньги за месяц вперед.

— Вовремя, очень вовремя! — обрадованно засуетился старик. — А насчет того, чтобы кто-нибудь про тебя пронюхал, не бойся: буду нем как рыба.

Надо сказать, что старик свое слово сдержал, и Кингисепп без каких-либо хлопот жил у него еще восемь месяцев.

И так продолжалось до 1922 года. К этому времени Кингисепп сильно сдал: он похудел, его мучили головные

боли, он совсем не спал. Когда ему предлагали съездить в Россию и подлечиться, Виктор только отмахивался и, улыбаясь, говорил, что не хочет доставлять своим отсутствием радость эстонской буржуазии. А в кратком письме жене чуть подробнее объяснил свою позицию:

«Разве это могло бы продлить наше счастье, если бы я, как некоторые другие товарищи, вернулся в Советскую Россию?! Это было бы дезертирством. Такова моя партийная этика. Нас с тобой разделяют товарищи, которых скошил белый террор. Их число растет с каждым месяцем, с каждой ночью. Я похоронил все надежды на личное счастье, у меня нет другой страсти, кроме страсти возмездия классовым врагам. Я исполнен личной ненависти к буржуазии. И я живу этой ненавистью, живу для того, чтобы приблизить минуту расплаты».

В это время Виктор жил в маленьком деревянном домике прачки Елизаветы Тельман. Его друг по кличке Малым, что значит «чугун», выгородил между печкой и комнатой крохотную каморку и так замаскировал дверь, что чужой человек ни за что бы не догадался, что в стене есть ход. Отсюда Кингисепп выбирался в город, выступал на митингах и даже принял участие в подготовке первомайской демонстрации. Так как сам Виктор принять в ней участия не мог, его наиболее близкие друзья решили устроить ему сюрприз и провели праздничные колонны, конечно же с песнями и оркестрами, мимо его дома.

Виктор ликовал и чуть было не выскочил наружу. Он-то не выскочил, а вот Малым и еще один подпольщик по фамилии Креукс, которые скрывались в соседнем доме, выскочили. Они хотели взглянуть на демонстрацию и тут же скрыться. Но так случилось, что их заметили полицейские. Пришлось бежать. Креукс был порезвее и смог удрать, а Мальма схватили.

Об этом тут же оповестили Кингисеппа, но он был так уверен в своем друге, что покинуть свой схрон отказался. В контрразведке Мальма пытаться не стали, а просто предали военно-полевому суду, который приговорил его к смертной казни. Перед расстрелом ему сказали, что если он сообщит, где скрывается Кингисепп, то его помилуют

и дадут возможность уехать из страны. И «чугунный» Мальм сломался.

В ту же ночь усиленный наряд полиции окружил домик Елизаветы Тельман. Когда полицейские ворвались в дом, то обнаружили только перепуганную хозяйку. Опытнейшие шпики перерыли всю квартиру, но Кингисеппа так и не нашли. Помог им все тот же Мальм, который сидел в машине, закутанный в женский платок, чтобы никто не опознал предателя и не свел с ним счеты. Мальм дал точные указания, как найти потайной ход, — и Виктора схватили.

Судить его решили в тот же день, но сначала подвергли пыткам, требуя выдать товарищей. Кингисепп не произнес ни единого слова.

Точно так же он вел себя и на суде. А когда ему предоставили последнее слово, гневно бросил в лицо палачам: «Пусть моя кровь грызет ваши души! И вообще, что тут торговаться? Здесь не продажа лошадей. Я знаю, приговор у вас давно готов. Вы — суд палачей!»

Приговор действительно был готов: после десятиминутного совещания Кингисеппа приговорили к расстрелу. Той же ночью закованного в наручники Виктора привезли к озеру Юлемисте. Могила уже была готова. Когда его поставили у края неглубокой ямы и построили расстрельную команду, Кингисепп лишь насмешливо улыбался. Раздалась команда «Пли!», грянул залп, и Виктор рухнул наземь. По инструкции смерть приговоренного должен зафиксировать полицейский врач, поэтому к Виктору тут же подскочил человек с фонендоскопом, послушал сердце и пискляво закричал: «Он жив! Он еще жив! Стреляйте в голову! Быстрее! Точно в голову!» От расстрельной команды отделился офицер с пистолетом в руке и всю обойму разрядил в голову Кингисеппа.

Тело тут же закопали, а могилу сровняли с землей. 4 мая 1922 года все газеты напечатали сообщение о расстреле Кингисеппа. Пораженные этой новостью таллинцы не сразу пришли в себя, а потом, как по приказу, затрубили гудки заводов, и, потрясая кулаками, народ высыпал на улицы.

Траурные митинги состоялись не только в Таллине, они прошли в Москве, Петрограде, Берлине, Лондоне и даже в Шанхае. Московские власти приняли решение похоронить Кингисеппа у Кремлевской стены, и в связи с этим обратились к правительству Эстонии с просьбой выдать его тело.

Казалось бы, почему это не сделать, почему не отдать тело мертвого врага его московским друзьям? Но эстонские бароны так люто ненавидели Кингисеппа, что продолжали сводить счеты даже с его трупом. Однажды ночью они вскрыли могилу, откопали тело, вывезли на лодке в море, привязали две гири и сбросили в воду. Так могилой Виктора Кингисеппа стало Балтийское море.

А через несколько дней на карте России, недалеко от Петрограда, вместо древнего Ямбурга появился город Кингисепп: так благодарная Россия решила увековечить имя простого эстонского парня, отдавшего ради победы идеалов революции самое дорогое, что есть у человека, — свою собственную жизнь.

## ЭПИЗОД № 6

По большому счету, о человеке с фотоаппаратом следовало бы забыть, его имя предать анафеме и сделать вид, что никакого Якова Юровского в истории России не было. Но в том-то и беда, что Юровские бессмертны: исчезая на какое-то время, они вновь поднимают головы и в соответствии с потребностями кремлевской верхушки размножаются, как грибы-поганки, невозмутимо и хладнокровно проливая реки человеческой крови. Поэтому знать их — надо. А если удастся выкорчевать или затоптать хотя бы одну такую грибницу, можно будет считать, что жизнь прожита не зря. Но еще лучше, если человечество научится предотвращать появление таких чудовищ, поэтому нужно уяснить, как и откуда они берутся.

Яша Юровский родился в многодетной еврейской семье, которая в поисках счастья моталась то с Украины в Сибирь, то из Сибири на Украину, пока не осела в горо-



де Томске. Якову нужно было поднимать на ноги десять братьев и сестер, поэтому в школу он ходил всего один год, а затем начал подрабатывать то у портного, то у часовщика, то у ювелира.

Ни хорошим портным, ни известным часовых дел мастером он так и не стал. А зачем? Чего этим добьешься? Купцом Демидовым не станешь и в Государственную думу не пойдешь. То ли дело — политика! Студенты говорят, что после революции каждый, кто бы никем, станет всем. Совсем другой коленкор!

Надо прибиваться к студентам-большевикам, ратующим за революцию, решил вчерашний часовщик и начал расклеивать листовки, таскать чемоданы с нелегальной литературой и организовывать забастовки. Само собой разумеется, последовали аресты. Но тогда без них было нельзя, тогда считалось, что если не побывал в тюрьме, то революционер ты неполноценный. А раз за правое дело не пострадал, то и доверие тебе минимальное.

Худо-бедно, но после октябрьского переворота Яков Юровский стал настолько доверенным человеком, что его приняли в ЧК, а затем отправили в Екатеринбург, назначив начальником охраны печально известного Дома особого назначения, в котором содержалась под арестом царская семья. Ничего особенного этот каменный особняк не представлял: четыре комнаты наверху занимали Романовы, а в полуподвале разместилась прислуга.

Первый раз Юровский появился в доме Ипатьева 26 мая 1918 года, и пришел он туда в качестве... врача. По крайней мере, так его воспринял Николай II, о чем свидетельствует запись в его дневнике:

«Погода был та же, снег лежал на крышах. Как все последние дни, В. Н. Деревенько приходил осматривать Алексея. Сегодня его сопровождал черный господин, в котором мы признали врача».

Профессор Деревенько приехал вместе с царской семьей из Тобольска, но ему разрешили жить вне Дома особого назначения и время от времени осматривать больного Алексея. Чтобы произвести чисто чекистскую разведку, то есть проверить караулы, осмотреть входы и выходы и

присмотреться к узникам, Юровский вызвал Деревенько и сказал, что в качестве местного врача пойдет с ним к царю, и даже не с ним, а придет чуть раньше. Если же тот проколется и даст знать Николаю, что он не врач, а чекист, ареста профессору не миновать.

Перепуганный профессор был нем как рыба, и, возможно, именно это спасло ему жизнь. Во всяком случае, пули Юровского он избежал. А через год, когда колчаковская контрразведка вела следствие о зверском убийстве царской семьи, профессор Деревенько делился своими впечатлениями о встрече с Юровским:

«Зашедши в комнату, я увидел сидящего у окна субъекта в тужурке, с черной бородой клинчиком. Черные усы и волнистые, не особенно длинные, зачесанные назад волосы. Черные глаза, полное скуластое лицо, чистое, без особых примет. Плотного телосложения, широкие плечи. Короткая шея, голос чистый, баритон. Медленный, с большим апломбом, с чувством собственного достоинства.

Осмотревши больного и увидев на ноге наследника опухоль, Юровский предложил мне наложить гипсовую повязку, обнаружив этим знание медицины. Какую роль в деле императорской семьи играл тогда Юровский, никто не знал. Но я ни секунды не сомневался, что он играл очень, очень важную роль».

А тогда, летом 1918-го, Юровский, если верить официальным отчетам, предотвратил несколько попыток освобождения Романовых, раскрыл не один заговор и даже чуть было не погиб от пули террориста.

Есть в этих отчетах упоминания и о других «подвигах» Якова Юровского. Скажем, проявив незаурядное мужество и пролетарскую принципиальность, он победил двух юных монахинь, которые по поручению матушки-игуменьи приносили молоко, масло и яйца узникам Дома особого назначения. Комендантом тогда был местный большевик Авдеев, который против этого не возражал. Когда это стало известно Юровскому, он устроил выволочку Авдееву, насмерть перепугал монашек и разрешил приносить молоко только для больного Алексея, и не больше одной кружки.

«Прославился» Юровский и тем, что устроил личный досмотр всех членов семьи Романовых. В результате этого, извините за выражение, шмона он обнаружил: у бывшей императрицы — жемчужную нить и золотую иконку, у дочерей — браслеты, у Николая — обручальное кольцо. Все это он опечатал и сложил в специальную шкатулку.

Чтобы Дом особого назначения как можно больше походил на настоящую тюрьму, а его жильцы чувствовали себя не временно задержанными, а настоящими заключенными, Юровский приказал приколотить к окнам решетки. Эта акция нашла отражение в дневнике бывшего императора. Одиннадцатого июля он записал:

«Утром, около 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов, к открытому окну подошли трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи — без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится все менее!»

Как в воду глядел император! В ночь на 17 июля Николай II и все остальные узники Дома особого назначения видели Юровского в последний раз. Но стрелял в них не только он. Такими же хладнокровными палачами оказались еще трое особо доверенных лиц, имена которых нужно знать. Сверхответственное задание по умерщвлению семьи Романовых, а заодно и их окружения партия доверила Петру Ермакову, Григорию Никулину, Павлу Медведеву и уже известному нам Якову Юровскому.

В ту же ночь крестьяне деревни Коптяково заметили активное передвижение красноармейских отрядов в расположенном поблизости лесу.

Подозревая, что большевики затеяли что-то недоброе, мужики решили разведать, что там происходит. Идти в открытую они побоялись, тем более что все дороги были перекрыты патрулями. Тогда местный охотник Михаил Алферов, который знал все звериные тропы, повел мужиков в обход.

— Никак дымом тянет, — насторожился Михаил.

— Точно, — подтвердил его сосед.

· — Может, кашеварят?

— Ага, приспичило среди ночи, — повертел он пальцем у виска.

— Мужики, а я чую какую-то вонь навроде керосина. И вроде бы мясом тенет.

— Окстись, Андрюха! Каким еще мясом? Откуда у большаков мясо? Они жрут одну картошку. Мне братан говорил, он у них навроде повара.

— Может, у кого сперли?

— Ага, сперли поросенка и уехали за двадцать верст от города, чтобы опалить и зажарить на костре.

— Но ведь там старые шахты! — хлопнул себя по лбу Михаил. — Не иначе, хотят что-нибудь спрятать.

— А что, очень даже может быть! Я давеча был в городе и слышал, будто Колчак здорово нажимает — вот-вот будет здесь. Вот большаки и решили что-то сжечь, а что-то спрятать в шахте.

— Верно, мужики! Краснопузые решили что-то спрятать. Так что давайте затаимся и переждем, пока они не уйдут. Не курить, не кашлять, не чихать, а то головы нам не сносить!

Ждать пришлось довольно долго. Трещали горящие сучья, звучал отборный мат, противно воняло керосином и еще противнее — зажаренным мясом.

— Вот гады! — зажимали нос мужики. — Никак не опалят своих поросят. Сколько же они их привезли?

И только на рассвете погасли костры, смолкло клацанье лопат и куда-то исчезли люди в кожанках и длинных шинелях. Еще немного подождяв, мужики выбрались из кустов и двинулись к кострищу.

— Вот это да! — изумился Михаил. — Сперва навалили неведомо из чего бугор, придавили его дровами, облили керосином и подожгли. Такого я еще не видал!

— И не увидишь, — мрачно подхватил сосед. — Из кострища-то кости торчат, и не поросычьи.

— Ой, боженька ты мой! — испуганно перекрестился Михаил. — Кости-то никак человечьи?

— То-то и оно... Давайте-ка, мужики, разгребем этот бугор, поглядим, что там внутри.

Когда они разложили находки, то все стало ясно как божий день: на траве лежали пряжки от подтяжек, четыре корсетных уса, туфли, серьги, пуговицы, бусы и нательный крест с зелеными камнями.

— Антихристы здесь были, — размазывая по лицу сажу пополам со слезами, рвано выдавил из себя Михаил. — Убийцы, душегубы и сатаны. Перед Богом за этот костер они ответят, ох как ответят! Но раньше эти ублюдки должны ответить здесь, на земле. Поэтому все, что нашли, надо сохранить. Никому ни слова, поняли, никому! А когда, даст Бог, придут белые, отдадим все это им: авось дознаются, кого убили и сожгли большевики.

Так они и поступили. Как только в Екатеринбург пришли передовые колчаковские части, Михаил Алферов и его земляки явились в штаб, рассказали о том, что видели, и выложили на стол свои находки. Тут же была создана специальная комиссия, которая занялась расследованием обстоятельств убийства царской семьи. На место кострища немедленно выехала группа следователей, которая обнаружила дамскую сумочку, обгорелые кружева, осколки изумруда и жемчуга, а также довольно крупный бриллиант.

Чтобы установить, кому эти ценности могли принадлежать, допросили чудом оставшегося в живых преподавателя французского языка при дворе Петра Жильяра. Увидев бриллиант, он чуть не шлепнулся в обморок, но, придя в себя, ни секунды не сомневаясь заявил, что видел, как его зашивала в пуговицу великая княжна Ольга, но носить его могла и Татьяна. Указывая на серьги с жемчужинами, Жильяр заметил, что не раз видел их в ушах императрицы. Узнал он и вставные зубы, которые носил доктор Боткин. А вот палец с тщательно ухоженным холеным ногтем и явно принадлежавший породистой руке, опознать не смог.

Тем временем другая группа следователей тщательно обследовала подвальную комнату дома Ипатьева, в которой происходил расстрел. На одной из стен они обнаружили 16 отверстий от револьверных пуль. Судя по их расположению, жертв сначала поставили на колени, а потом уже в них начали стрелять.

Нашелся свидетель, брат которого находился в охране дома Ипатьева. Этот свидетель рассказал, что великая княжна Анастасия никак не хотела умирать и ее при-

шлось добивать прикладами и штыками. Еще больше возни было с фрейлиной Вырубовой: закрываясь подушкой, она бегала по комнате, пока в нее не всадили 32 пули. После этого следы крови замыли и засыпали песком, а трупы погрузили в грузовой автомобиль.

Разыскиали шофера, который подтвердил, что трупы вывезли в лес, причем по дороге чуть не застряли. В другом грузовике были две бочки с бензином — обратно он вернулся с пустыми бочками.

Но самые поразительные показания прозвучали из уст завхоза рабочего клуба Кутенкова, который случайно подслушал разговор большевиков, участвовавших в транспортировке и уничтожении трупов расстрелянных членов царской семьи. Один из них, по фамилии Леватных, похотливо осклабясь и масляно поблескивая мутными глазками, горделиво вещал своим друзьям: «Когда мы пришли, они были еще теплые. Я сам щупал царицу, и она была теплая. Теперь и умереть не грешно: ведь я щупал царицу!»

Пройдет всего двадцать лет, Юровский будет умирать на больничной койке, а его последышам придется трудиться, без всякого преувеличения, в поте лица.

Передо мной несколько послужных списков (теперь их называют личными делами) сотрудников комендатуры НКВД, которые наиболее часто встречаются во всякого рода расстрельных документах. Вот, скажем, акт, составленный 4 июля 1938 года:

«Мы, нижеподписавшиеся, старший лейтенант государственной безопасности Овчинников, лейтенант Шигалев и майор Ильин, составили настоящий акт о том, что сего числа привели в исполнение решение тройки УНКВД МО от 15 июня. На основании настоящего предписания расстреляли нижеследующих осужденных...»

Далее следует список из двадцати двух фамилий.

На этом трудовой день Овчинникова, Ильина и Шигалева не закончился — пришлось расстрелять еще семерых.

Братья Шигалевы — одни из самых известных палачей сталинской эпохи. Старший, Василий, получил в родном Киржаче четырехклассное образование, учился на сапож-

ника, вступил в Красную гвардию, был пулеметчиком, а потом вдруг стал надзирателем печально известной внутренней тюрьмы. В 1937-м он получает должность сотрудника для особых поручений — это был еще один способ зашифровывать палачей.

Со временем он стал почетным чекистом, кавалером нескольких орденов и, само собой, членом ВКП(б).

Его брат Иван, поработав некоторое время продавцом и отслужив в армии, пошел по стопам старшего брата: надзиратель, вахтер и, наконец, сотрудник для особых поручений. Он быстро догоняет старшего брата по количеству расстрелов, а по количеству наград даже обгоняет: став подполковником, он удостоивается ордена Ленина.

И все же, как ни известны и авторитетны были братья Шигалевы, им далеко до самой кровожадной и самой знаменитой среди палачей фигуры. Имя этого человека произносили восторженным шепотом, ведь на его личном счету было около 10 тысяч расстрелянных. Звали этого палача Петр Маго. Латыш по национальности, он окончил всего два класса сельской школы, батрачил у помещика, участвовал в Первой мировой, в 1917-м вступил в партию и почти сразу стал членом карательного отряда, входившего в состав ВЧК. Судя по всему, Маго проявил себя достаточно ярко, так как буквально через год его назначают надзирателем, а затем и сотрудником для особых поручений, или, проще говоря, палачом. Десять лет Маго не выпускал из рук револьвера, за что получил золотые часы, несколько орденов и знак «Почетный чекист».

Изучая личные дела десяти расстрельщиков, я пришел к выводу, что без внутренней предрасположенности, без склонности к хладнокровному убийству, заниматься этим делом невозможно. Ведь у некоторых из сотрудников для особых поручений (иногда их называли исполнителями) были вполне приличные профессии, а они рвались к нагану и затылку невинного человека. Вот, скажем, Петр Яковлев. В его личном деле есть скромная, но очень интересная приписка: «С 1922 по 1924 год был

прикомандирован в Кремль к личному гаражу В. И. Ленина и тов. Сталина. Был начальником гаража и обслуживал их лично».

Ну что, казалось бы, еще нужно малограмотному соромовскому рабочему: вожди — рядом, оклад — полковничий, орденов — некуда вешать, а он пишет рапорт с просьбой перевести его в комендантский отдел на должность рядового исполнителя. Перевели — и он исправно стрелял до самой пенсии. И таких примеров — множество.

## Глава 4

### Прерванное следствие

Как уже говорилось выше, следствие по делу о покушении на Ленина было прервано в самом разгаре. Почему? Кем? Попробуем в этом разобраться.

Все началось с того, что 31 августа к Петерсу зашел Свердлов и поинтересовался, как идет следствие.

— Ни шатко ни валко, — вздохнул Петерс. — Уж очень странная у меня подследственная.

— Странная-то странная, а стрелять научилась без промаха. Где? И кто ее учил? Узнав это, узнаем истинных организаторов покушения. А пока что надо дать официальное сообщение в «Известиях» — народ в неведении держать нельзя. Напиши коротко: стрелявшая, мол, правая эсерка черновской группы, установлена ее связь с самарской организацией, готовившей покушение, активный член группы заговорщиков и все такое прочее.

— Никакими фактами, подтверждающими эту версию, я, к сожалению, не располагаю. Связями с какой-либо организацией от этой дамы пока что не пахнет. А то, что она правая эсерка, не более чем предположение. Так что всех задержанных придется выпустить. И вообще, таких дилетантов, как мы, самих сажать надо, — досадливо закончил он, но, заметив в глазах Свердлова откровенное недоумение, привычно бодро закончил: — А за совет искать инструкторов меткой стрельбы спасибо: мы с этой подслеповатой дамой еще поработаем.



Знал бы Петерс, какую оценку даст Свердлов его работе, наверняка держал бы язык за зубами. Впрочем, глаза и уши у ВЧК были везде, поэтому о ядовитой реплике главы государства Петерс знал уже через несколько минут.

— Вы спрашиваете, как идут дела на Лубянке? — возмущенно блеснув пенсне, спросил Свердлов у собравшихся в его кабинете. — А так, что всю ВЧК надо пересажать, а даму выпустить. И на весь мир покаяться: мы, мол, дилетанты-с. Извините-с!

Между тем Петерс сумел установить с Фейгой Каплан доверительные отношения: она даже поплакала и рассказала ему о том, о чем не знали даже ее подружки-мальцевитянки, — о своей первой и единственной любви.

— Ранней весной 1917 года мы, десять политкаторжанок, выехали на телегах из Акатуя в Читу. Был мороз, ветер хлестал по щекам, все были больные, кашляли, и Маша Спиридонова отдала мне свою пуховую шаль. Потом, в Харькове, где я лечилась и стала гораздо лучше видеть, я так хотела в Москву, поскорей увидеть подруг, и часто сидела одна, закутавшись в эту шаль.

Там же, в Харькове, я встретила Мику. На самом деле его звали Виктор Гарский, но я звала его Микой. Мы с ним в 1906-м работали в одной группе, готовили взрыв. Он тогда сумел скрыться, а я загремела на каторгу. И вдруг эта встреча, через столько лет! Он как был, так и остался анархистом, а я давным-давно с ними порвала. Поэтому он меня опасался и даже сказал, что побаивается моей истеричности и моего прошлого. А я — как будто воскресла, как будто заново начала жить! Мика сверкнул как ослепительный луч надежды, как счастье, которого у меня не было, но которое может быть.

— Вы его любили?

— В тот день и в ту ночь — да! Если раньше я была им увлечена как девчонка, то теперь любила как женщина. И знаете, что я ради него сделала? Я предала своих подруг, и прежде всего Машу Спиридонову.

— Как это? — поперхнулся Петерс. — Вы что, на них донесли?

— Хуже, — загадочно улыбнулась Фейга. — Я пошла на базар, продала шаль и на эти деньги купила... мыла. Хорошего французского мыла. После того как перед свиданием я им помылась, бедному Мике просто некуда было деваться... Утром все мои мечты развеялись как дым. Мика с непреклонной прямоотой заявил, что никогда меня не любил, что не любит и сейчас, и во всем, что между нами произошло, виноваты духи: дескать, с ума его свел запах, а не я. Дурачок, он даже не сумел отличить запах духов от запаха мыла!

— Вот гад! — невольно вырвалось у Петерса.

— Что мне оставалось делать? — не замечая его реплики, продолжала Фейга. — Вернулась в больницу, где тогда жила, конечно же, поплакала и вдруг вспомнила шаль, в которую всегда куталась, когда на душе было тошно. А шали-то и нет. Вместо нее было мыло, будь оно проклято! Никогда этого себе не прощу. Никогда! — сузила она свои серые лучистые глаза.

Надо ли говорить, что после такого разговора, став своеобразным исповедником Фейги Каплан, Петерс, набравшись терпения, смог бы выведать у нее все тайны, если они, конечно, были. Но обстоятельства сложились иначе...

А когда настало утро и к нему зашел Луначарский, Петерс показал ему этот необычный протокол допроса и спросил, что он об этом думает.

— Что думаю я, это не так уж важно, — ушел от ответа Луначарский. — А вот что думаете вы?

— Я ее слушал, — вздохнул Петерс, — и как чекист, и как мужчина. Как мужчине мне ее переживания понятны. Но как чекист я надеялся выявить ее связь со Спиридоновой. В итоге же в деле будет фигурировать одна шаль, которую теперь носит какая-то продавщица мыла. Но хоть одно мне теперь понятно.

— Что именно? — вскинулся Луначарский.

— Почему Каплан такая.

— Какая «такая»?

— То ли сумасшедшая, то ли экзальтированная.

— И почему же?

— Сначала полная слепота, потом — несчастная любовь... Не каждая женщина может пережить это без душевных потерь.

— Немножко жаль ее? — полуутверждающе спросил Луначарский.

Яков Христофорович Петерс тяжело вздохнул, махнул рукой, но тут же спохватился, стукнул кулаком по столу, да так, чтобы было слышно в дальнем конце коридора, и закричал:

— Она мне омерзительна! Шла убивать Ленина, а в голове — мыло.

Этот разговор состоялся 1 сентября, а на следующий день Петерс ввязался в дискуссию, которая могла ему стоить головы. Свердлов срочно созвал Президиум ВЦИК, вызвал Петерса и потребовал отчета о расследовании дела. Петерс начал рассказывать об идее следственного эксперимента, о намерении провести дактилоскопическую экспертизу, о необходимости перепроверить противоречивые показания свидетелей покушения, но Свердлов прервал его на полуслове:

— Все это хорошо, и, чтобы выявить пособников покушения, следствие надо продолжать. Однако с Каплан придется решать сегодня. Такова политическая целесообразность.

— Но следствию еще многое неясно. Есть множество вопросов, на которые мы не получили ответа.

— И не надо. Получите потом.

— Доказательств, которыми мы располагаем, недостаточно для вынесения приговора. Суд даже дело к рассмотрению не примет.

— А никакого суда не будет. В деле ее признание есть? Есть. Что же вам еще нужно? Товарищи, я вношу предложение: гражданку Каплан за совершенное ею преступление расстрелять.

— Признание не может служить доказательством вины. Каплан нужно судить, причем открыто и гласно, чтобы в ходе судебного разбирательства выявить не только исполнителей, но и истинных организаторов покушения.

— Я вижу, товарищ Петерс не понимает остроты момента и сути политической целесообразности. Нам объ-

вили войну, мы тоже ответим войною. И чем жестче будет ее начало, тем ближе станет ее конец. С расстрелом Каплан мы начнем осуществлять на всей территории республики красный террор против врагов рабоче-крестьянской власти. Само собой разумеется, мы напечатаем в газетах, что это ответ на белый террор, началом которого было подлое убийство Володарского и Урицкого и покушение на жизнь товарища Ленина. Теперь вам все понятно? — впился он ледяным взглядом в Петерса.

— Так точно, — по-военному ответил Петерс. — Разрешите идти?

— Идите. А Каплан мы у вас заберем. Сегодня же!

Через несколько дней, когда уже ничего нельзя было исправить, потрясенный Петерс поделился своими переживаниями с одним из близких друзей.

— У меня была минута, — рассказывал он, — когда я до смешного не знал, что мне делать: самому застрелить эту женщину, которую я ненавидел не меньше, чем мои товарищи, отстреливаться от них, если они станут забирать ее силой, или же... застрелиться самому.

В тот же день, 2 сентября 1918 года, Петерсу пришлось отчитаться еще об одной акции, проведенной накануне. Ему напомнили о воззвании ВЦИК, опубликованном сразу же после выстрелов в Ленина, в котором выражалась уверенность в том, что будут найдены «следы наймитов англичан и французов». Чтобы выполнить указание Свердлова и найти эти следы, в ночь на 1 сентября 1918 года чекисты арестовали британского посланника Роберта Локкарта.

Эта история настолько интересна и настолько мало известна, в ней столько любопытных фактов, что рассказать о ней следует подробней.

## ЭПИЗОД № 7

Дело Локкарта, или так называемый заговор послов, вошло в официальную историографию как подлейшая акция, организованная официальными представителями Антанты с целью свержения советской власти. На самом

деле все было далеко не так, как описано в утвержденных цензурой учебниках.

Если помните, на первых страницах книги я упоминал высокопоставленного английского дипломата, который оказался свидетелем патриотического угара, охватившего Петербург в связи с началом войны. Этим дипломатом был Роберт Гамильтон Брюс Локкарт. В Россию он приехал в 1912 году. Его миссия состояла в том, чтобы поддерживать стремление России победить Германию и завязывать дружеские отношения с людьми, которые это стремление разделяют. Среди таких людей были не только правительственные чиновники, банкиры и предприниматели, но и всем известные деятели культуры.

Локкарту тогда не было и тридцати, человеком он слыл открытым, обаятельным и контактным, к тому же хорошо говорил по-русски, был заядлым футболистом и, бывало, отчаянно сражался за одну из иваново-вознесенских команд. Тогда эта английская игра в России только начинала приживаться, но болельщиков уже было предостаточно. Среди них были Максим Горький и Федор Шалапин, которые произвели на молодого англичанина неизгладимое впечатление. Они подружились, часто встречались, а Локкарт, который был не только дипломатом, но и журналистом, придя домой, садился за письменный стол и торопливо записывал свои впечатления от встреч с этими людьми.

Вот что он, например, записал после одной из встреч с Горьким:

«Максим Горький произвел на меня сильное впечатление как своей скромностью, так и своим талантом. У него необыкновенно выразительные глаза, и в них сразу можно прочесть сочувствие человеческим страданиям, которое является преобладающей чертой его характера и которое, в конце концов, после длительного периода оппозиции привело его в объятия большевиков.

Ни один человек, когда-либо видевший Горького с детьми, животными или с молодыми писателями, не поверит, что он может причинить зло или страдания хоть одному человеку».

А буквально через день, после встречи с Шляпиным, Локкарт снова садится за стол:

«Впервые я встретился с Шляпиным в «Летучей мыши» — это был своего рода клуб Московского Художественного театра, считавшийся излюбленным местом литературной и артистической Москвы. За час до появления Шляпина в «Летучей мыши» я видел его в опере «Борис Годунов», где он являл собой королевское величие с манерами крупного аристократа и с руками, как у венценосного дожа.

Однако все это было театральным трюком, поразительным примером того драматического таланта, по поводу которого Станиславский всегда говорил, что Шляпин был бы величайшим актером мира, если бы он решил оставить пение и перейти в драму. Вне сцены он был мужиком, с мужицким аппетитом и большими крепкими руками сына земли.

А однажды мне довелось услышать забавную историю, которую Горький рассказал о своем друге. В молодости они оба бродили по Поволжью в поисках работы. В Казани местный импресарио искал молодые таланты для пополнения хора. Ему нужны были тенор и бас. Два бедно одетых кандидата вошли в его контору. Им сделали экзамен. Импресарио выбрал тенора, но забраковал баса. Тенором был Горький, а басом Шляпин.

Всемирно известный бас Федор Шляпин оглушительно хохотал, когда слушал этот рассказ, но не опровергал ни одного слова».

Значительно позже, когда к власти пришло Временное правительство, Локкарту пришлось общаться и с кадетами, и с эсерами, и с меньшевиками, и с большевиками. Но наиболее яркое впечатление на него произвел Борис Савинков.

«Больше, чем другие русские, Савинков был теоретиком, — писал Локкарт в своем дневнике, — человеком, который мог просидеть всю ночь за водкой, обсуждая, что он сделает завтра, а когда это завтра приходило, он предоставлял действовать другим. Нельзя отрицать его талантов: он написал несколько прекрасных романов, он

понимал революционный темперамент лучше кого-либо и знал, как сыграть на нем для собственной выгоды.

Как и большинство русских, он был одаренным оратором и производил впечатление на слушателя. Как-то раз он совсем покориł мистера Черчилля, увидевшего в нем русского Бонапарта.

Однако у него были роковые недостатки. Он любил пышность, несмотря на честолюбие, не хотел пожертвовать своими слабостями ради этого честолюбия. Его главная слабость была и моей слабостью — склонность к коротким приступам лихорадочной работы, и вслед за ними — длинные периоды безделья. Он был трагической фигурой, к которой нельзя было не чувствовать глубочайшей симпатии».

Все эти наблюдения очень ценны, так как они объективны и беспристрастны, и позволяют увидеть известнейших людей того времени в другом ракурсе и другими, незашоренными глазами.

А потом Локкарт крупно погорел. Как генеральному консулу в Москве ему было строжайше запрещено вступать в интимные отношения с русскими женщинами: англичане считали, что такими женщинами могут быть только сотрудницы контрразведки, которые в постели выведывают все английские тайны. И хотя Локкарт увлекся не русской, а еврейкой, этого было достаточно, чтобы его вызвал посол, как следует отчитал, предложил взять отпуск по болезни и отправиться на родину. Как позже писал Локкарт: «Я знал, что мой вынужденный отпуск по болезни на самом деле был отзывом, что никогда сюда не вернусь, и улизнул из Москвы в первых числах сентября 1917 года скорее как преступник, нежели как мученик».

Но так случилось, что после Октября Локкарта вызвали в министерство иностранных дел и сказали, что он должен немедленно отправиться в Россию во главе специальной миссии, чтобы завязать неофициальные отношения с большевиками, которые стремятся заключить сепаратный мир с Германией. Главная сложность и неприкрытая двусмысленность положения состояла в том, что британское правительство советскую власть не при-

знавало, а какую-то миссию в Петроград отправляло: по всем дипломатическим канонам эта миссия не могла говорить от имени правительства, а ее сотрудники не обладали правом дипломатической неприкосновенности.

Выход из положения нашли совершенно неожиданно. Как раз в это время большевики назначили своим посланником в Англии Максима Литвинова (он же Валлах), который тоже не обладал никакими дипломатическими привилегиями и в Лондоне жил на птичьих правах. Решили так: британское правительство предоставит соответствующие права Литвинову, если Советское правительство предоставит такие же права Локкарту.

Народным комиссаром по иностранным делам тогда был Троцкий, поэтому Литвинов своеобразное рекомендательное письмо адресовал ему — и передать его Локкарт должен был из рук в руки.

«Дорогой товарищ! Податель сего м-р Локкарт едет в Россию с официальным поручением, точный смысл которого мне неизвестен. Я знаю его лично как вполне честного человека, разбирающегося в нашем положении и относящегося к нам с симпатией. Я считаю его пребывание в России полезным с точки зрения наших интересов.

Мое положение здесь остается неопределенным. Хотя прием, оказанный мне здешней прессой, вполне удовлетворителен. Я завязал знакомства с представителями лейбористского движения. Даже буржуазная пресса предоставляет мне свои страницы для того, чтобы я мог объяснить, что происходит в России.

Привет Ленину и всем друзьям. Крепко жму руку.

Ваш М. Литвинов.

11 января 1918 г.»

До Петрограда Локкарт добирался сперва морем, а потом через охваченную беспорядками Финляндию, где едва не погиб от рук взбунтовавшихся матросов. Явившись в Наркомат иностранных дел, Локкарт пошел было к Троцкому, но оказалось, что тот уехал в Брест-Литовск и его замещает Георгий Чичерин.



Несколько позже именно он подпишет Брестский мир, станет руководителем советских делегаций на Генуэзской и Лозаннской конференциях и вплоть до 1930-го будет возглавлять Наркомат иностранных дел, поэтому небезынтересно знать, какое впечатление произвел будущий нарком на главу английской миссии.

«Чичерин — высококультурный человек. Он русский, из хорошей семьи, задолго до революции пожертвовавший своим состоянием во имя своих социалистических убеждений. Чичерин свободно и правильно говорит на английском, французском и немецком языках. Он был одет в безобразный желтовато-коричневый костюм, привезенный им из Англии. За шесть месяцев наших почти ежедневных встреч я ни разу не видел его одетым иначе.

Борода и волосы песочного цвета и этот костюм придавали ему вид одной из тех гротескных фигур, которые дети делают на прибрежном песке. Только глаза, маленькие и окруженные красной каемкой, как у хорька, проявляли признаки жизни. Его узкие плечи склонялись над заваленным работой письменным столом. Среди людей, работавших по 16 часов в сутки, он был самым неутомимым и внимательным к своим обязанностям.

Позднее, когда я познакомился с Чичериным ближе, я узнал, что он никогда не принимал решения, не посоветовавшись предварительно с Лениным. В данном случае он, по-видимому, получил инструкцию относиться к нам дружелюбно. Действительно, большевики, стремившиеся натравить немцев на союзников и союзников на немцев, были довольны моим приездом».

Мы почти ничего не знаем о Троцком, кроме того, что он был одним из создателей Красной Армии, инициатором жестоких репрессий по отношению к казакам, последовательным недругом Сталина, за что и поплатился, получив ледорубом по голове. На самом деле это была по-настоящему незаурядная личность, которой большевики обязаны очень многим. Локкарту пришлось встречаться с Троцким неоднократно, и вот какую запись он сделал в своем дневнике после двухчасового разговора с ним 15 февраля 1918 года:

«У Троцкого, настоящая фамилия которого Бронштейн, изумительно живой ум и густой, глубокий голос. Широкогрудый, с огромным лбом, над которым возвышается масса черных вьющихся волос, с большими горящими глазами и толстыми выпяченными губами, он выглядит как воплощение революционера с буржуазной карикатуры. Одевается он хорошо. Носит чистый мягкий воротничок, и его ногти тщательно наманикюрены.

Он производит впечатление человека, который охотно умер бы, сражаясь за Россию, однако при том условии, чтобы при его смерти присутствовала достаточно большая аудитория.

К несчастью, он полон озлобления по адресу англичан. И понять Троцкого можно: в свое время мы не сумели подойти к нему должным образом. Весной 1917-го мы обращались с ним как с преступником. Мы разлучили его с женой и детьми и на четыре недели интернировали в концентрационный лагерь вместе с немецкими военнопленными. Мы даже сняли с его пальцев дактилоскопические отпечатки.

Его жгучая неприязнь по отношению к англичанам ощущалась даже во время нашей беседы, и мне стоило большого труда успокоить его и перейти к делам».

А через несколько дней Локкарта принял Ленин.

Нам придется довольно часто обращаться к дневникам, письмам и аналитическим справкам Роберта Локкарта. Они представляют огромный интерес, так как ни в России, ни тем более в Советском Союзе не издавались, а самого Локкарта во всякого рода энциклопедиях и справочниках представляли не иначе, как врагом и заговорщиком.

Вот что записал Локкарт сразу же после встречи с Лениным:

«Когда я шел в Смольный на свидание с вождем большевиков, мое настроение было подавленным — уж очень скверной была обстановка в советской России. Ленин принял меня в маленькой комнате, на том же этаже, где был кабинет Троцкого. Комната была грязноватая и лишенная всякой мебели, если не считать письменного стола и нескольких простых стульев.

Это была не только моя первая встреча. Я видел его вообще впервые. В его внешнем виде не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего сверхчеловека. Невысокий, довольно полный, с короткой толстой шеей, широкими плечами, круглым красным лицом, высоким умным лбом, слегка вздернутым носом, каштановыми усами и короткой щетинистой бородкой, он казался на первый взгляд похожим скорее на провинциального лавочника, чем на вождя человечества.

Что-то было, однако, в его стальных глазах, что привлекало внимание, было что-то в его насмешливом, наполовину презрительном, наполовину улыбающемся взгляде, что говорило о безграничной уверенности в себе и сознании собственного превосходства.

Позднее я проникся большим уважением к его умственным способностям, но в тот момент гораздо большее впечатление произвела на меня его потрясающая сила воли, непреклонная решимость и полное отсутствие эмоций. Ленин был безличен и почти бесчеловечен. Его тщеславие не поддавалось лести. Единственное, к чему можно было в нем апеллировать, был сардонический юмор, высоко развитый у него. В моральном отношении тот же Троцкий был не способен противостоять Ленину, как блоха не может противостоять слону. Не было комиссара, который не смотрел бы на Ленина как на полубога, решения которого принимаются без возражений. Ссоры, нередко происходившие между комиссарами, никогда не касались Ленина.

В своей вере в мировую революцию Ленин был беззастенчив и непреклонен, как иезуит. В его кодексе политической морали цель оправдывала все средства. Иногда, впрочем, он умел быть изумительно откровенным. Таким он был в беседе со мной. Он дал мне все сведения, которые я спрашивал. От него я узнал, что правительство скоро переедет в Москву, чтобы укрепить свои позиции. Если немцы вмешаются и захотят поставить буржуазное правительство, большевики будут бороться, даже если им придется отступить за Волгу или за Урал.

Англо-американский капитализм большевикам почти так же ненавистен, как германский милитаризм, но в

данный момент последний является непосредственной угрозой, поэтому он доволен, что я остался в России. Ленин сказал, что предоставит мне все возможности для работы, а также гарантии моей личной безопасности. Если я захочу покинуть Россию, то смогу это сделать в любой момент».

Несколько позже, уже в Москве, стало ясно, что все эти гарантии ничего не стоят и, когда понадобилось, о них тут же забыли. Летом 1918 года Локкарт ввязался в так называемый заговор трех послов. Одни историки уверяют, что никакого заговора французского, американского и английского послов не было и все они стали жертвой организованной чекистами операции, другие считают, что заговор все же был — ведь не зря по приговору трибунала двоих дипломатов расстреляли, восемь — на длительные сроки упекли за решетку, а Роберт Локкарт и генеральный консул Франции Гренар оказались на Лубянке.

Пребывание в этом мрачном учреждении оставило в душе Локкарта такой неизгладимый след, что много лет спустя, когда во время Второй мировой войны он стал руководителем политической разведки МИДа Великобритании и ему пришлось вступать в контакты с представителями советских спецслужб, он старался не оставаться с ними наедине. А когда его приглашали побывать в Москве и обещали показать Кремль, Локкарт односложно бросал: «Я же у вас вне закона. Да и в Кремле я бывал, правда не в Оружейной палате, а в подвале, из которого уводили на расстрел».

Вот что говорится об этом периоде жизни Локкарта в его дневниках:

«30 августа был убит глава петроградской ЧК Урицкий. В тот же вечер молодая еврейка Дора Каплан стреляла в Ленина. Лидер большевиков не был убит, но у него было мало шансов остаться в живых. Я узнал новости через полчаса после происшествия.

Спать лег поздно. В половине четвертого меня разбудил грубый голос, приказывающий немедленно встать.

Когда я открыл глаза, то увидел направленное на меня дуло револьвера. Я спросил, что это значит.

«Никаких вопросов!» — ответил человек с револьвером и приказал одеваться.

Пока я одевался, чекисты начали обыск квартиры, перевернув все вверх дном. Никаких компрометирующих документов они не нашли, но, несмотря на это, меня затолкали в автомобиль и куда-то повезли. Как позже оказалось — на Лубянку. Сначала меня поместили в маленькую квадратную комнату, а потом, в сопровождении охранников, повели по темному коридору. Около какой-то двери остановились и постучали. Раздался замогильный голос: «Войдите», и меня втолкнули в большую темную комнату, освещенную только лампой на письменном столе.

За столом сидел человек, одетый в черные брюки и белую русскую рубашку. Рядом с блокнотом лежал револьвер. Черные, вьющиеся, длинные, как у поэта, волосы были зачесаны назад над высоким лбом. На левой руке были надеты большие часы. В тусклом свете его лицо выглядело очень бледным. Губы были плотно сжаты.

Когда я вошел в комнату, он устремил на меня пристальный стальной взгляд. Вид его был мрачен и внушал опасения. Это был Петерс.

— Можете идти, — сказал он конвоирам.

Затем последовало долгое молчание. Наконец он открыл свой бювар и тем же замогильным голосом произнес бросившие меня в пот слова:

— Очень жаль, что вижу вас здесь. Дело очень серьезное.

— Но я не должен быть здесь! В Москве я нахожусь по приглашению Советского правительства, — стараясь не выдавать волнения, начал я. — Мне были обещаны дипломатические привилегии. Мою личную безопасность гарантировал Ленин. Я требую, чтобы о моем аресте сообщили Чичерину! И Ленину, — добавил я после паузы, надеясь сбить Петерса с толку своим незнанием о покушении.

— Какой же вы, однако! — скрежетнул зубами Петерс и, не закончив фразу, направил на меня свет лампы. — Неужели вам нисколько не стыдно? Вы же прекрасно знаете, что в Ленина стреляли, что он серьезно ранен, и требуете, чтобы ему сообщили о вашем аресте.

— Ну хотя бы Чичерину, — поняв, что веду себя по меньшей мере глупо и сгорая со стыда, попросил я.

— Он в курсе, — устало отмахнулся Петерс. — Давайте-ка лучше приступим к делу, — жестко продолжал он. — Вам знакома эта женщина? — спросил он и показал какую-то фотографию.

— Нет.

— Фамилия Каплан вам что-нибудь говорит?

— Первый раз слышу... И вообще, — набравшись мужества; заявил я, — допрашивать меня вы не имеете права, поэтому отвечать на ваши вопросы не буду.

— Будете, Локкарт, еще как будете! Здесь не такие поначалу молчали, а потом признавались в том, что рыли туннель под Ла-Маншем. Вы свой почерк узнать сможете?

— Конечно.

— Тогда прочтите вот эту бумагу. Ну, смелее. Читайте вслух!

Я уже знал, что бумага, которую он показал, написана и подписана мною, но прочитать ее все же пришлось.

— «Прошу пропустить через английские линии подателя сего, имеющего сообщить важные сведения генералу Пулю. Локкарт», — проямлил я, понимая, что ловушка захлопнулась.

— И что вы на это скажете?

— Что стал жертвой провокации, — мужественно отбивался я. — Ко мне пришли какие-то латыши, сказали, что хотят попасть в Архангельск, но так как там стоят англичане, в город им не пробиться.

— Ну да. А важные сведения, которые ждет генерал, это всего лишь цены на московских рынках, — недобро усмехнулся Петерс. — Не валяйте дурака, Локкарт, и не принимайте нас за наивных младенцев. Мы уже провели обыски и аресты ваших сподвижников — они разговорчивее вас и рассказали и о планах захвата Кремля, и о свержении советского правительства, и о подготовке покушений на наших вождей. Так что положение ваше серьезно. Очень серьезно! — жестко закончил он. — Спасти вас может только чистосердечное признание и искреннее раскаяние. Часовой! — громко крикнул он. — Отведите

его в камеру, где сидит Хикс. Пусть эти два англичанина посоветуются и подумают, как вести себя дальше.

Как вскоре выяснилось, эта камера была еще одной ловушкой. В шесть утра в камеру ввели женщину. Она была одета в черное платье. Черные волосы, неподвижно устремленные глаза, обведенные черными кругами. Бесцветное лицо с ясно выраженными еврейскими чертами было непривлекательно. Ей могло быть от 20 до 35 лет. Мы догадались, что это была Каплан. Несомненно, большевики надеялись, что она подаст нам какой-нибудь знак. Ее спокойствие было неестественно. Она подошла к окну и стала глядеть в него, облокотясь подбородком на руку. И так она оставалась без движения, не говоря ни слова, видимо, покоровшись судьбе, пока за ней не пришли часовые и не увели ее.

А в девять утра вошел Петерс, сказал, что мы можем отправляться домой и что своим освобождением мы обязаны Чичерину. Но 3 сентября я снова попал в тюрьму, и на этот раз — надолго».

На этом записи обрываются, и это понятно — ведь целый месяц, пока не стало ясно, что жизнь Ленина вне опасности, жизнь самого Локкарта висела на волоске. Получив запрет применять к английскому дипломату физические меры воздействия, Петерс пытался сломать его психологически. Сперва на глазах Локкарта избили до полусмерти какого-то уголовника, который сидел вместе с ним в камере. Потом чуть ли не на его глазах расстреляли Щегловитова, Хвостова и Белецкого, которых он хорошо знал как министров царского правительства. А когда подвальная камера Кавалерского корпуса Кремля, в которой держали Белецкого, освободилась, в нее незамедлительно перевели Локкарта, тем самым дав понять, какая его ждет участь.

Тем временем следователи собрали такой убийственный материал, что, когда с ним ознакомили Локкарта, он понял, что пули ему не избежать. Все началось с того, что чекисты обратили внимание на каких-то то ли нищих, то

ли босяков, которые шныряли около английского посольства. Босяк он и есть босяк, что с него возьмешь. Но один из наиболее опытных чекистов обратил внимание на выправку и походку бедно одетых людей: так держатся и так ходят только хорошо вымуштрованные офицеры. А что они делают около посольства? Зачем туда время от времени заходят? Да и вещмешки, которые они оттуда выносят, явно не пустые и заметно оттягивают плечи.

Поняв, что дело тут нечисто, люди с Лубянки решили организовать подставу, а проще говоря, провокацию. Однажды вечером к Локкарту пожаловали два представительных латыша. Одним из них был командир 1-го дивизиона латышской стрелковой бригады Берзин, другим — его адъютант. Берзин не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал, что его люди пребыванием в большевистской России недовольны, что хотят домой, что им осточертело сознание того, что на их штыках держится кровавый режим, и если есть люди, которые горят желанием его свергнуть, то латыши не прочь к ним присоединиться.

Странное дело, но Локкарт на эту незамысловатую наживку клюнул и сказал, что такие люди есть, что они готовы бороться, что средства на эту борьбу тоже есть, вот только их силы разрозненны, но если их объединят известные своим мужеством и своей организованностью латышские стрелки, дело пойдет на лад. После того как из обещанных пяти миллионов рублей Берзин получил на руки чуть больше одного миллиона, заинтересованные стороны приступили к разработке плана восстания. Два латышских полка должны были двинуться в сторону Вологды и помочь английскому десанту. Оставшимся в Москве предписывалось захватить Кремль и арестовать правительство во главе с Лениным. Кроме того, надо было взорвать мосты через Волхов, чтобы отрезать Петроград и организовать там голод.

Когда Берзин выявил всю сеть, когда ему стало известно, где хранится оружие и где живут заговорщики — а в заговор были вовлечены не только бывшие офицеры, но даже студенты, актрисы и журналисты, — к делу приступили чекисты. Так Локкарт оказался на Лубянке, а по-



том в подвале Кремля. Он прекрасно понимал, что улики против него так много, что если будет суд, то смертного приговора ему не избежать. И только когда в Англии арестовали и посадили в тюрьму Литвинова, когда правительства Англии и Франции прислали в Москву резкие ноты протеста, когда к ним присоединились нейтральные страны, большевики немного остыли. Но решающее слово было за Лениным. Когда ему стало лучше, когда он стал читать газеты и аналитические справки, которые приносили из Совнаркома, он вызвал Дзержинского и не терпящим возражений тоном приказал: «Прекратите террор!»

Этого было достаточно, чтобы Локкарта и других заговорщиков, которых не успели расстрелять, тут же освободили и через Финляндию отправили на родину. Локкарта провожал Петерс. Да-да, тот самый Петерс, который неоднократно допрашивал и чуть было не расстрелял английского дипломата. И провожал он его не как чекист, а как старый знакомый. И даже обратился ко вчерашнему арестанту с поразительной по своей простоте просьбой:

— Вы знаете, Локкарт, у меня ведь жена англичанка. Мы давно не виделись. А почта не работает. Не могли бы вы передать ей письмо? Я, конечно, понимаю, что после всего, что было, вернувшись домой, вы будете проклинать меня и называть злейшим врагом, но я выполнял свой долг.

— Да ладно вам, Петерс, — протянул руку Локкарт. — Давайте ваше письмо. Политика политикой, но люди должны оставаться людьми.

Локкарт свое слово сдержал и письмо жене Петерса передал. Но увиделись они не скоро, так как сыну латышского батрака было не до личной жизни. Бесконечные аресты, задержания, разоблачения, суды и расстрелы, расстрелы, расстрелы — вот чем не зная ни сна ни отдыха занимался Петерс. Став чрезвычайным комиссаром Петрограда, экономя время и подходя к работе творчески, Петерс приказал производить массовые аресты по... телефонным книгам.

— Телефон — предмет роскоши? — вопрошал он своих коллег, проводя экстренное совещание. — Предмет. Дорогостоящий? Дорогостоящий. Значит, тот, кто попал

в телефонный справочник, богач, эксплуататор и классовый враг. А раз он классовый враг, то где должен находиться? Правильно, у нас, на Гороховой, 2. Но недолго: камер мало, а врагов много, так что следствие должно быть коротким, а приговор расстрельным. Красный террор должен быть по-настоящему красным, так что буржуйскую кровь жалеть не будем!

И полились по питерским улицам такие реки крови, каких не было даже при Урицком. Хватали и ставили к стенке всех: вчерашних чиновников, офицеров, профессоров, предпринимателей и просто лиц непролетарского происхождения. Но иезуитский ум Петерса не мог находиться в простом, и он придумал новый ход.

— А что если, — шагая по кабинету, размышлял он вслух, — сыграть на благородных чувствах господ офицеров, воюющих на стороне белых? Они своих родителей, жен и детей любят? Любят. Ради них на жертвы пойти готовы? Готовы. Тогда мы делаем так: арестовываем выводы всех этих поручиков, капитанов и полковников, печатаем списки на листовках и разбрасываем их над позициями золотопогонников. Текст должен быть кратким: если не перейдете на сторону красных, ваши семьи будут расстреляны.

— Но они могут сослаться на присягу, — слабо возразил кто-то.

— Срок — три дня! — рубанул Петерс. — Если не забудут о дурацкой присяге и не станут служить трудовому народу, разбросать листовки с сообщением о расстреле членов их семей. Пусть эта кровь будет на их совести!

И снова в подвалах ЧК загремели выстрелы. Офицеров, перешедших на сторону красных, больше не становилось, а вот горы трупов росли. Эти же методы изобретательный Петерс применял в Киеве, а потом и в Туркестане, беспощадно уничтожая пособников белых и басмачей.

Но недолго музыка играла... То ли излишняя старательность Петерса стала смущать власть предержащую, то ли он поднял руку на людей, облеченных доверием Кремля, но в 1937-м его арестовали, а в 1938-м расстреляли как врага народа.

## **Глава 5**

### **Женская кровь на брусчатке Кремля**

Как и обещал Свердлов, Фейгу Каплан с Лубянки перевели в Кремль. Почему? Да потому, что несознательные чекисты, не понимающие, что такое политическая целесообразность и требующие открытого и гласного суда, могли совершить что-нибудь такое, что никак не входило в планы Свердлова. Не дай бог, суда захочет и Ленин, ведь хоть и недолго, но присяжным поверенным он служил и вкус к судебным разбирательствам имеет. А там может всплыть такое!

Нет, о суде не может быть и речи. И чекистам доверять Каплан нельзя! Благо кремлевская охрана подчиняется главе государства, и никому больше. Что касается коменданта Кремля Павла Малькова, то этот бывший матрос знает, что своей карьерой обязан Якову Михайловичу, и без лишних вопросов выполнит любой приказ Председателя ВЦИК.

Так оно и случилось. Несколько позже в своих воспоминаниях Мальков не без гордости рассказывал о самом ярком дне своей жизни.

«Утром меня вызвал секретарь ВЦИК Варлам Александрович Аванесов и приказал:

— Немедленно поезжай в ЧК и заberi Каплан. Поместишь ее здесь, в Кремле, под надежной охраной.

Я вызвал машину и поехал на Лубянку. Забрав Каплан, привез ее в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под Детской половиной Большого дворца. Комната была просторная, высокая. Забранное решеткой окно находилось метрах в трех-четырех от пола.

Возле двери и напротив окна я установил посты, строго наказав часовым не спускать глаз с заключенной. Часовых я отобрал лично, только коммунистов, и каждого сам лично проинструктировал. Мне и в голову не приходило, что латышские стрелки могут не усмотреть за Каплан, надо было опасаться другого: как бы кто из часовых не всадил в нее пулю из своего карабина.

Вскоре меня вновь вызвал Аванесов и предъявил постановление ВЧК: Каплан — расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля Малькову.

— Когда? — коротко спросил я Аванесова.

У Варлама Александровича, всегда такого доброго и отзывчивого, на лице не дрогнул ни один мускул.

— Сегодня. Немедленно.

— Есть!

— Где, ты думаешь, лучше?

Мгновенно поразмыслив, я ответил:

— Пожалуй, во дворе Автобоевого отряда. В тупике.

— Согласен.

После этого возник вопрос, где хоронить. Его разрешил Свердлов.

— Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа! — велел он.

Круто повернувшись, я вышел от Аванесова и отправился к себе в комендатуру. Вызвав несколько человек латышей-коммунистов, которых лично хорошо знал, я обстоятельно проинструктировал их, и мы отправились за Каплан.

Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота Павел Дмитриевич Мальков, — собственноручно».

Подробностей расстрела Мальков не сообщает, но ведь были свидетели и, исследуя их воспоминания, можно восстановить те давние события. А дело было так.

Получив соответствующую санкцию от самого Свердлова, изобретательный Мальков разработал до сих пор не применявшийся сценарий расстрела. Чтобы не привлекать внимания случайных посетителей и работников Совнаркома внезапной стрельбой, он приказал выкатить несколько грузовиков и запустить двигатели, а в тупик загнать легковушку, повернув ее радиатором к воротам. В воротах он поставил вооруженных латышей.

Потом Мальков отправился за Каплан, которая по-прежнему находилась в полуподвальной комнате. Ничего

не объясняя, Мальков вывел ее наружу. Было 4 часа дня, светило яркое сентябрьское солнце — и Фейга невольно зажмурилась. Потом ее серые лучистые глаза распахнулись навстречу солнцу. Она видела силуэты людей в кожанках и длинных шинелях, различала очертания автомобилей и нисколько не удивилась, когда услышала команду: «К машине!» — ее так часто перевозили, что она к этому привыкла. В этот миг раздалась еще какая-то команда, взревели моторы грузовиков, тонко завывла легковушка. Фейга шагнула к машине, и... загремели выстрелы. Их она уже не слышала, ведь доблестный комендант Кремля всадил в нее всю обойму.

По правилам во время приведения смертного приговора в исполнение должен присутствовать врач — именно он составляет акт о наступлении смерти. Большевики обошлись без врача, его заменил — никогда не догадаетесь кто — великий пролетарский писатель и популярный баснописец Демьян Бедный (он же Ефим Придворов). То ли потому, что по образованию он был фельдшером, то ли потому, что дружил с Мальковым, но, узнав о предстоящем расстреле, он напросился в свидетели. Отказать приятелю в такой безделице Мальков не мог, но сказал, что стрелять будет сам.

Пока гремели выстрелы, Демьян держался бодро. Не скис он и тогда, когда его попросили помочь засунуть в бочку еще теплый труп и облить его бензином. Молодцом он был и в тот момент, когда Мальков никак не мог зажечь отсыревшие спички, — поэт великодушно предложил свои. А вот когда вспыхнул костер и запахло горелой человечинной, певец революции шлепнулся в обморок.

— Интеллигенция, — усмехнулся Мальков.

Стоящие поблизости латыши дружно засмеялись, но Мальков вдруг на них прикрикнул.

— Тихо! Всем стоять смирно! Слышите? — поднял он перепачканный кровью и бензином палец. — Это же «Интернационал». Ай да Беренс! Ай да молодец!

— Действительно, «Интернационал». Но откуда эта музыка? — приложил ладонь к уху пришедший в себя Демьян.

— Мы починили часы Спасской башни, — радостно объявил Мальков. — И заставили их играть «Интернационал». Ильич просил об этом еще весной. И знаете, кто это сделал? Кремлевский водопроводчик Беренс. На все руки мастер! Между прочим, красное знамя, которое развевается над куполом, установил тоже он.

— Выходит, — кивнул поэт на догорающий труп Фейги Каплан, — мы все это сделали под красным знаменем и под «Интернационал»?

— Вот именно! — гордо вскинул голову вчерашний матрос, а ныне штатный палач Павел Мальков и отправился к Свердлову, чтобы доложить об образцовом выполнении задания.

Яков Михайлович поблагодарил старательного исполнителя и приказал напечатать в «Известиях ВЦИК» соответствующую информацию. 4 сентября газета шла нарасхват! И все из-за двух скупых строчек:

«Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эсерка Фанни Ройд (она же Каплан)».

Нельзя не отметить, что 3 сентября была расстреляна не одна Каплан, к стенке было поставлено 90 человек. Компания, в которой Каплан — единственная женщина и идет под № 33, весьма своеобразна. Здесь есть бывшие студенты, прапорщики, присяжные поверенные, а вот под № 12 идет протоиерей Восторгов, под № 79 — бывший министр внутренних дел Хвостов, под № 83 — министр юстиции Щегловитов. Это был первый кровавый список, знаменующий начало красного террора.

А что же наш добровольный свидетель, как сложилась его судьба?

Поначалу все шло более чем прекрасно. Демьян жил в Кремле, много печатался, его поддерживал Ленин, хотя не раз говорил: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». В годы Гражданской войны его слово порой стоило не меньше, чем удар кавалерийского полка. Листовки с его воззваниями были доходчивы и, что особенно важно, результативны — солдаты хранили их как своеобразный пропуск и гарантию безопасности.

Вот как, например, действовала листовка Демьяна на солдат одного из полков Добровольческой армии.

«Прочитав послание Демьяна Бедного, — писали они позже в газете, — мы, солдаты Добровольческой белой армии, присоединяемся к слову Демьяна и не желаем больше воевать против своих же братьев — рабочих и крестьян и постановляем: сдать красным войскам в плен и просить прощения как у рабочих, так и у крестьян. Свою вину мы желаем загладить и будем биться с офицерами и кадетами до последней капли крови под руководством вождя — товарища Троцкого».

То, что имя Демьяна еще не раз будет так или иначе ассоциироваться с Троцким, со временем ему припомнят. Ну как, в самом деле, можно пройти мимо такого документа:

### ПРИКАЗ

Председателя Реввоенсовета Республики

№ 279

Демьян Бедный, меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награждается ВЦИК — по постановлению РВС — орденом Красного Знамени.

За все время Гражданской войны Демьян Бедный не покидал рядов Красной Армии. Он участник ее борьбы и ее побед. Ныне Демьян в бессрочном отпуску. Пробьет час — и армия позовет его снова.

Узнав о награждении своего поэта, каждый Красный Воин скажет: «Спасибо Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету. Награда — по заслугам!»

Председатель Реввоенсовета Республики

Л. Троцкий.

Надо сказать, что белогвардейцы прекрасно понимали цену слова Демьяна Бедного и активно за ним охотились. Они не раз сообщали в своих газетах, что Демьян схвачен и повешен, а от его имени пишет кто-то другой. На самом деле Демьян был жив, здоров, а несколько человек,

которые были на него похожи, ни за что ни про что действительно были повешены.

Политиком Демьян был никаким, но был по-крестьянски хитер и сметлив. Когда из Кремля на Троцкого посыпались удары, Демьян быстро сообразил, на чьей стороне сила, и тут же напечатал в «Правде» стихи под названием «Всему бывает конец». Он начал с того, что назвал Троцкого «красноперым Мюратом, который гарцует на старом коньке, блистая измятым опереньем», и закончил недвусмысленным призывом:

Довольно партии нашей служить  
Мишенью политиканству отпетому!  
Пора, наконец, предел положить  
Безобразию этому!

Сталину это стихи понравились, и он передал Демьяну личную благодарность за «верные, партийные стихи о Троцком». А на заседании Политбюро, отмечая значение выступления Демьяна Бедного, сказал:

— Наши речи против Троцкого прочитает меньшее количество людей, чем эти стихи.

Взбодренный такой похвалой, Демьян начал позволять себе больше, чем это было принято. Например, свои частушки, стихи и басни он отдавал сразу в несколько редакций, естественно, везде получая гонорары. Когда его предупреждали, что так нельзя, он только отмахивался и говорил, что по этому поводу в Кремле ему замечаний не делают. А когда Демьяну пытались платить как всем — по два рубля за строку, он дико возмущался и требовал, чтобы платили по пять рублей.

Лучшие поэты той поры к Демьяну Бедному относились довольно скептически, а Маяковский и Есенин называли его не иначе, как Бедным Демьяном, делая ударение на первом слове. Когда это дошло до самого Демьяна, он ухмыльнулся и победно проронил: «Но мне-то платят по пять, а им, за их гениальность, по два с полтиной!»

Так продолжалось до тех пор, пока Демьян не опубликовал в «Правде» стихотворный фельетон «Слезай с печки», в котором обличал «русскую лень, стремление русского человека, ничего не делая, сидеть на печке», а



также утверждал, что «обломовщина — национальная болезнь русского народа».

Удивительное дело: за русских заступился грузин! Сталин не только добился специального решения ЦК, осуждающего этот и ряд других фельетонов Демьяна Бедного, но и, в ответ на жалобу Демьяна, написал ему письмо:

«Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас от нападок, а вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики? Не находите ли, что Вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой «зазнайством»? Побольше скромности, товарищ Демьян!»

Как это ни странно, но отеческое увещевание вождя на товарища Демьяна не подействовало, и он продолжал куражиться, пока не оказался на краю пропасти. В 1936-м Демьян написал либретто комической оперы «Богатыри», в котором вошедших в народные сказания богатырей Древней Руси превратил в разбойников с большой дороги, бандитов, грабителей и налетчиков.

Оперу ставили в Камерном театре, и на генеральную репетицию обещал приехать Сталин. Демьян надулся от важности и в предвкушении похвал обещал заткатить грандиозный банкет. Но так случилось, что Сталин приехать не смог и вместо себя прислал Молотова. От увиденного и услышанного Вячеслав Михайлович был в полном шоке, назвал оперу «стыдным спектаклем» и о своих впечатлениях рассказал Сталину.

На этот раз терпение вождя лопнуло, он срочно собрал заседание ЦК, на котором было принято постановление «О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного». В постановлении резко осуждалась идеологическая концепция автора и его клевета на русский народ и прошлое России. Этого было достаточно, чтобы на ближайшем партийном собрании Демьяна Бедного, вернее Ефима Придворова, исключили из рядов ВКП(б), а заодно и из Союза писателей.

Обычно после этого следовал арест, затем — скорый суд и встреча с Шигалевым, Маго или другим исполнителем смертных приговоров. Но Демьяну несказанно повезло — его оставили в покое, правда, перестав печатать. Лишь в годы войны, когда Сталин немного поостыл и у него появились другие заботы, он, припомнив былые заслуги Демьяна, дал добро на публикацию новых стихов поэта.

Свое последнее стихотворение «Праздник Победы» Демьян Бедный напечатал в «Правде» 9 мая 1945 года. А 25 мая его не стало. Умер он за обеденным столом санатория «Барвиха»: ел, пил, шутил — и вдруг упал. Прибежавшие врачи помочь ему уже не могли — остановилось сердце.

Если бы Демьян мог встать и прочитать посвященный ему панегирический некролог, напечатанный в той же «Правде», это было бы ему большим утешением. Там перечислялись практически все его заслуги, кроме той, о которой мало кто знал, а кто знал, тот молчал, — косвенное участие в расстреле Фейги Каплан и прямое участие в сожжении ее трупа.

## Глава 6

### Инквизиторы и их жертвы

Известие о расстреле подлой террористки, покушавшейся на вождя, прогрессивным пролетариатом и трудовым крестьянством было встречено с большим энтузиазмом. А вот старые революционеры и бывшие политка торжане увидели в этом акте нарушение высочайших принципов, ради которых они гнили в казематах, а то и шли на эшафот. Наиболее ярко эти настроения выразила Мария Спиридонова, пославшая Ленину открытое письмо:

«И неужели, неужели Вы, Владимир Ильич, с Вашим огромным умом и личной безэгоистичностью и добротой, не могли догадаться не убивать Каплан? Как это было бы не только красиво и благородно и не по царскому шаблону, как это было бы нужно нашей революции в это

время нашей всеобщей оголтелости и остервенения, когда раздается только шелканье зубами, вой боли, злобы или страха и... ни одного звука, ни одного аккорда любви».

А что же Ленин, как он реагировал на расстрел покушавшейся на него террористки? По свидетельству хорошо знавшей семью вождя Анжелики Балабановой, в кремлевской квартире Ленина царило неподдельное смятение.

«Когда мы говорили о Доре Каплан, — пишет она, — молодой женщине, которая стреляла в него и которая была расстреляна, Крупская была очень расстроена. Я могла видеть, что она глубоко потрясена мыслью о революционерах, осужденных на смерть революционной властью. Позже, когда мы были одни, она горько плакала, когда говорила об этом. Сам Ленин не хотел преувеличивать эпизод. У меня сложилось впечатление, что он был особенно потрясен казнью Доры Каплан».

Вот так-то! Ленин потрясен, но ничего не может сделать для спасения Доры. Крупская плачет, но тоже абсолютно бессильна. Так кто же тогда вождь? Кто решает судьбы страны и живущих в ней людей? Имя этого человека хорошо известно, оно так часто повторяется в связи с делом о покушении на Ленина, что многие историки считают — без него здесь не обошлось.

Сопоставим уже известные факты и попробуем в них разобраться... Кто подписал первое воззвание ВЦИК о покушении на Ленина, как мы уже выяснили, то ли в момент покушения, то ли вообще до него? Яков Свердлов. Кто еще до допроса странным образом задержанной Каплан и до выяснения каких бы то ни было фактов указал адрес, по которому надо искать организаторов покушения, то есть правых эсеров, а также наймитов англичан и французов? Свердлов. Кто в разгар следствия, когда Петерсу удалось установить доверительный контакт с подозреваемой, приказал ее расстрелять и поручил это не чекистам, которым это было привычно, а своему выдвиженцу коменданту Кремля Малькову? Глава государства Свердлов. Кто велел без следа уничтожить останки Фейги Каплан? Снова Свердлов.

Вот что записал в своем дневнике Локкарт после первой встречи со Свердловым:

«Он — еврей, настолько смуглый, что в нем можно подозревать присутствие негритянской крови. Благодаря черной бороде и горящим черным глазам он похож на современное воплощение испанского инквизитора».

Насчет инквизитора — это он в самую точку! Время покажет, что Локкарт подметил в Свердлове самое главное: абсолютную безжалостность и умение добиваться цели без лишнего шума, оставаясь в тени.

Так почему же Свердлов торопился? Почему так старательно заметал следы? Одни считают, что убивать Ленина никто не собирался, а его кровь надо было пролить для того, чтобы организовать красный террор. Другие уверены в том, что Свердлову, в руках которого к лету 1918 года была сосредоточена вся партийная и советская власть, необходимо было стать еще и Председателем Совнаркома, то есть главой правительства, а эту должность занимал Ленин. Вот Свердлов с помощью преданных ему и недовольных Лениным лиц из чекистской верхушки и организовал Ильичу, как тогда говорили, «почетный уход из жизни смертью Марата».

Подчеркиваю, это — версии, правда, никак не опровергнутые, но всего лишь версии. Я ни в одну из них не верил, пока не обнаружил в одном из архивов уникальный по своей мерзости документ. Оказывается, еще в 1935 году, то есть через шестнадцать лет после довольно странной смерти Свердлова от «испанки», тогдашний нарком внутренних дел Генрих Григорьевич Ягода (он же Енох Гершеневич Иегуда) решил вскрыть личный сейф Свердлова. То, что Ягода в нем увидел, повергло его в шок, и он немедленно отправил Сталину секретную записку, в которой сообщал, что в сейфе обнаружено:

«Золотых монет царской чеканки на 108 525 рублей. 705 золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями. Чистые бланки паспортов царского образца, семь заполненных паспортов, в том числе на имя

Я. М. Свердлова и его родственников. Кроме того, царских денег на сумму 750 тысяч рублей».

А теперь вспомним сообщение германского посольства об обитателях Кремля, просящих заграничные паспорта и переводящих в швейцарские банки значительные денежные средства, и тогда станет ясно, что это были за обитатели.

Так что дыма без огня не бывает. Один из большевистских вождей по фамилии Свердлов на поверку оказался то ли взяточником, то ли коррупционером — ведь все эти монеты, деньги и драгоценности откуда-то взялись и как-то попали в личный сейф главы государства. Не говоря уже о паспортах: одно это является верным признаком того, что Свердлову было наплевать и на пролетариат, и на трудовое крестьянство, как, впрочем, и на своих соратников.

Нет никаких сомнений, что как только у стен Москвы показался бы первый казачий разъезд, человек с партийной кличкой Макс, он же Малыш, Андрей и Махровый, открыл бы свой неприметный сейф, побросал бы его содержимое в чемодан и рванул бы туда, где не требуют партийных характеристик, а интересуются лишь суммой банковского счета.

А ведь как все начиналось... В далеко не бедной еврейской семье нижегородского гравера, проживавшей не за чертой оседлости, а в прекрасном русском городе, появился на свет мальчик, отчество которого было не Михайлович, а Мовшович, и звали его не Яков, а Ешуа Соломон. Положение семьи было настолько прочным, что без каких-либо проблем мальчика приняли в гимназию. Вот только учился он скверно и вместо Пушкина или Толстого читал запрещенные брошюры про братство, равенство и свободу.

Затем гимназист примкнул к нижегородским марксистам, начал распространять запрещенные брошюры среди рабочих, что тут же стало известно начальству — и из гимназии его вышибли. Получил он нагоняй и от отца, да такой серьезный, что из дома пришлось уйти. Мечты о братстве и равенстве на неопределенное время отодвига-

лись: надо было на что-то жить. Пойти на завод, стать токарем, слесарем или сталеваром, то есть одним из тех, за чье светлое будущее он собирался бороться, юному марксисту и в голову не приходило: стоять у станка или у доменной печи — это же тяжело, это невыносимо трудно. После десятичасовой смены — не до книжек, брошюр и листовок.

Выручил Якова давний друг семьи, предложивший работу в своей аптеке. Эта работа позволяла ему ходить на демонстрации, участвовать в митингах, распространять листовки, и в конце концов он на две недели угодил в кутузку. Потом арестов, ссылок и побегов будет много, пока он вместе со Сталиным не окажется в Туруханском крае. Сбежать оттуда было невозможно, и освободила их Февральская революция.

Председателем ВЦИК, или, говоря современным языком, президентом России, Свердлов стал через несколько дней после победы Октября, причем по предложению Ленина. Эта должность позволяла ему практически бесконтрольно проявлять так точно подмеченные Локкартом инквизиторские качества. Его рука видна и в акции расстрела царской семьи, и в бесчеловечном рассказывании, когда на Дону расстреливали всех подряд — от героев Шипки, священников и Георгиевских кавалеров до молоденьких учительниц. А чего стоило его программное заявление по национальному вопросу, которое он, к счастью, не успел реализовать:

«Нашей целью является денационализация, сплошная гибридизация всех других народов, снижение расового уровня «наивысших», а также покорение этого расового месива путем истребления народной интеллигенции и замены ее представителями собственного народа».

Как известно, «наивысшими» в России являются русские, значит, уровень, а проще говоря, количество русских надо снижать. Как? Способ только один: путем истребления. А «гибридизация всех других народов» на практике означает, что для того, чтобы бескровно уничтожить, например, татар или черкесов, надо женить их на якутках или мордовках — через два-три поколения не бу-

дет ни первых, ни вторых, ни третьих. До такого решения расовой проблемы не додумались даже в Берлине! Комментировать садистский призыв истреблять народную интеллигенцию язык не поворачивается: такое могло прийти в голову или серьезно больному человеку, или вурдалаку, который ни дня не может прожить без крови.

Надо сказать, что России крупно повезло: тогда еще не приступили к массовому разрушению церквей, народу было где молиться, вот он и вымолил небесную кару Ешуа Мовшовичу Свердлову. По одним источникам, возвращаясь в Москву, Свердлов остановился в Орле, чтобы выступить на митинге железнодорожных рабочих. И хотя речь была короткой, не более десяти минут, он успел простудиться. В Москву он приехал с высокой температурой и через неделю умер от «испанки» — так тогда назывался грипп.

Этот грипп был даже не эпидемией, а пандемией, косившей людей по всему миру: по официальным данным, «испанка» унесла несколько миллионов человек. Не обошла она и Кремль: в течение одной недели от «испанки» умерли три женщины, в том числе жена Бонч-Бруевича. А тут еще и Свердлов!

Все знали, что «испанка» чрезвычайно заразна и смертельно опасна. Тем не менее за полчаса до смерти Свердлова его навещил Ленин. Он даже пожал его руку. Как ему это позволили? Ведь не прошло и полугода со дня покушения, и вождь еще недостаточно окреп. Не дай бог, Ильич подцепит «испанку» — его ослабленный организм этой болезни не выдержит. Но то ли ранение было не таким уж серьезным, то ли никакой «испанки» у Свердлова не было и умер он от чего-то другого.

Тут-то и всплывает на свет другая версия смерти Свердлова. Сохранилась киноплёнка похорон тогдашнего главы государства. Вырезать неожиданно скандальные кадры почему-то никто не додумался, а на них хорошо видно, что голова лежащего в гробу Свердлова забинтована. Почему? Что за травмы скрывают бинты? Ответ на этот вопрос есть. По свидетельству современников, по Москве ходили упорные слухи, что голову Свердлову раз-

били рабочие железнодорожных мастерских. Выступая в Орле, вместо того чтобы сказать им, когда будет хлеб и работа, Свердлов начал читать лекцию о III Интернационале. Но Интернационал рабочих не интересовал — и в Свердлова полетели камни.

Если это действительно так, то становится понятно, почему Ленин без всякого страха заразиться смертельно опасной болезнью навестил умиравшего Свердлова.

Похоронили Свердлова у Кремлевской стены, поставили ему памятники, назвали его именем города и поселки. Семьдесят лет спустя памятники снесли, а городам и поселкам вернули их старые названия. И правильно сделали! Уж слишком много мрачного в деятельности этого большевика с наклонностями инквизитора. Историкам и юристам еще предстоит пролить свет и на то, что он успел совершить, и на то, что ему не удалось — в том числе и на темную историю с покушением на Ленина и скоропалительный расстрел Фейги Каплан.

## ЭПИЗОД № 8

Помните письмо Марии Спиридоновой, в котором она удивлялась, как это Ленин «не догадался» не убивать Каплан? Кто-кто, а она-то задать такой вопрос имела право. Ведь за убийство вице-губернатора Тамбовской губернии Луженовского она была приговорена к смертной казни через повешение, но Николай II «догадался» не лишать жизни юную террористку и заменил смертную казнь каторгой.

То, что пули вице-губернатор заслуживал, ни у кого не вызвало сомнений. Он с такой звериной жестокостью подавлял крестьянские волнения, что возмущалась вся Россия. Возглавляемые им карательные отряды запарывали насмерть женщин и детей, стариков и старух, молодых парней и степенных мужиков. Бывало, что грудных детей подбрасывали вверх и насаживали на пики, а несовершеннолетних девушек отдавали на потеху солдатам. «Так их! — одобрительно потирал руки Луженовский. — Я заставлю их реветь коровами, это проклятое мужичье! Я покажу им, как отнимать землю у помещиков!»



Под горячую руку разгулявшихся карателей попадали конторщики, телеграфисты, извозчики, паровозные машинисты — словом, все, кто посмели даже не возмущаться, а лишь сочувственно вздохнуть при виде массовых экзекуций.

Зная, как люто его ненавидят, Луженовский никуда не ходил без охраны, а помощник полицейского пристава Жданов и казачий есаул Аврамов были его личными телохранителями и ни на шаг не отходили от главного карателя. Когда поезд прибыл в Борисоглебск и Луженовский вышел на перрон, казаки принялись разгонять встречающих и провожающих. Они отшвыривали мужчин, отталкивали женщин, но никто не обратил внимания на маленькую хорошенькую гимназистку, которая стояла на площадке соседнего вагона. Как только с ней поравнялся энергично шагавший Луженовский, гимназистка подняла муфту, в которой был спрятан револьвер, и начала стрелять.

Первая же пуля буквально подбросила тучного вице-губернатора, и он грохнулся наземь. А гимназиста прыгнула с площадки, отбежала на несколько шагов и снова выстрелила. Потом — с другой позиции и с третьей. Четыре пули всадила она в грузное тело карателя, пока охрана не спохватилась и не прикрыла его собой.

Никто не понял, кто стрелял и откуда. Тут бы Марусе и исчезнуть, но теракт был организован так плохо, что ни прикрытия, ни путей отступления предусмотрено не было. Бедной Марусе ничего не оставалось, как покончить с собой. Но сделать это она решила красиво и со словами: «Стреляйте в меня!» поднесла к виску свой револьвер. Нажми она на спуск сразу, ее история на этом бы и закончилась, но она ждала, когда на нее обратят внимание. А вот стоявший неподалеку казак ждать не стал и ударил ее прикладом по голове. Маруся рухнула на платформу, а револьвер отлетел в сторону.

Тут же подлетел Аврамов, намотал на руку ее косу, вскинул девушку в воздух, ударил нагайкой по голове и швырнул под ноги казакам.

— Бейте ее! — закричал есаул. — Сильнее! Без пощады!

Здоровенные, увешанные оружием мужики со свистом и гиканьем набросились на маленькую, беспомощную гимназистку. Мелькали приклады, свистели нагайки, хрустели каблуки сапог. А возглавлял это истязание воспетый в стихах и прозе благородный русский офицер с погонами есаула, то есть ротмистра кавалерии.

— Еще! Еще! — вытирая выступивший от усердия пот, подбадривал он казаков. — Сильнее! Топчи ее, бей до смерти!

И вдруг он поднял голову и увидел онемевшую от ужаса толпу.

— А вы чего вылупили свои поганые зенки? Жалко ее, да? Жалко? А ну-ка, братцы, в нагайки всех! — приказал он казакам. — Бей их, гадов! Не жалей! Они тут все либо жида, либо социалисты!

И такое тут началось побоище, такой безжалостный мордобой, такие потекли реки крови, что опьяневшие от ее вида казаки на какое-то время забыли о превращенном в тряпку теле гимназистки. Но пришедший в себя Жданов (все-таки полицейский, он понимал, что без сообщников тут не обошлось и гимназистку надо допросить) подхватил легонькое тельце, забросил его в пролетку и помчался в участок.

То, что пришлось пережить Марии в последующие дни и ночи, не поддается описанию. Ее держали в холодном карцере, били так сильно и так изощренно, что от тела отслаивалась кожа, выбили зубы, разбили глаз, прижигали грудь папиросами, вырывали волосы и даже такую — полуживую и обезображенную — насиловали.

А потом был суд, на котором Мария держалась не просто молодцом, а так, что вызвала всеобщее сочувствие. В последнем слове она сказала:

— Господа судьи, я ухожу из этой жизни. Смерти я не боюсь. Вы можете меня убить, можете изобрести самые ужасные наказания, но прибавить к тому, что я вынесла, ничего нового не сможете. Меня убить можно, но нельзя убить мою веру в то, что придет пора народного счастья и народной свободы. За это не жалко отдать свою жизнь!

Приговор был беспощаден и ожидаем: смертная казнь через повешение. Но, как уже говорилось, понимая, какую волну общественного негодования вызовет казнь юной гимназистки, Николай II заменил смертную казнь каторгой. Резонанс общественности был именно таким, на какой рассчитывал царь: все газеты восхищались его добросердечием, отзывчивостью и мудростью. А популярнейший в те годы Максимилиан Волошин посвятил Марии стихотворение «Чайка», которое перепечатали все газеты России:

На чистом теле след нагайки,  
И кровь на мраморном челе...  
И крылья вольной белой чайки  
Едва влачатся по земле.

В последующих строфах Волошин воспеваает чистоту сердца, святость духа этой чайки и уверяет, что распята она на кресте «за меньших братьев, за свободу».

Но был один человек, который не разделял этих восторгов и категорически возражал против помилования. Трудно поверить, но этим человеком была сама Мария Спиридонова. Из тюрьмы она отправила на волю возмущенное письмо:

«Моя смерть представлялась мне настолько общественно ценною, и я ее так ждала, что отмена приговора и замена его вечной каторгой подействовала на меня очень плохо. Мне нехорошо. Скажу более — мне тяжело! Я так ненавижу самодержавие, что не хочу от него никаких милостей».

То, о чем мечтала Мария, произошло гораздо позже, когда к власти пришли большевики. Пытаясь пробудить в Ленине совершенно не свойственные ему чувства сострадания и добросердечности, убеждая действовать «не по царскому шаблону» — хотя сама осталась жива именно благодаря этому шаблону, — она так и не поняла, зачем надо было убивать, а потом сжигать Фейгу Каплан. Несколькими позже ей все объяснят, посадив сначала в «психушку», а потом — в печально известную внутреннюю тюрьму НКВД.

Эту тюрьму в быту называли «нутрянкой». Назвали ее

так потому, что она была расположена во внутреннем дворе дома № 2 на Лубянской площади. Когда-то два первых этажа этого дома были гостиницей страхового общества «Россия», после революции надстроили еще четыре этажа, а на крыше соорудили шесть прогулочных дворишков. В тюрьме было 118 камер на 350 человек. Камеры были и одиночные, и общие — на 6—8 человек. В тюрьме была своя кухня, душевая, а вот комнаты свиданий не было.

Сохранилась инструкция Особого отдела ВЧК по управлению внутренней (тогда ее называли секретной) тюрьмой:

«Внутренняя (секретная) тюрьма имеет своим назначением содержание под стражей наиболее важных контрреволюционеров и шпионов на то время, пока ведется по их делам следствие, или тогда, когда в силу известных причин необходимо арестованного совершенно отрезать от внешнего мира, скрыть его местопребывание, абсолютно лишить его возможности каким-либо путем сноситься с волей, бежать и т. п.»

Режим «нутрянки» был очень строгим. Не разрешалась переписка с родственниками, не давали свежих газет, не принимали передач. По именам подсудимых не называли: каждому присваивался порядковый номер, и под этим номером он уходил в небытие.

В сохранившемся журнале регистрации заключенных, кроме всякого рода установочных данных, против фамилии и номера узника обязательно стоит дата убытия из тюрьмы. Куда? Как правило, в Бутырку или Лефортово. В этом есть своя хитрость или, если хотите, тонкость: по окончании следствия арестованный поступал в ведение судебных органов, а они к внутренней тюрьме не имели никакого отношения. Поэтому допрашивали арестантов в «нутрянке», а перед судом держали в Лефортове или Бутырке.

После вынесения приговора и приведения его в исполнение возникала проблема захоронения трупа. Когда расстрелы были не столь массовыми, расстрелянных хоронили на Ваганьковском, Рогожском, Калитниковском и некоторых других кладбищах. Когда был построен Дон-

ской крематорий, трупы стали сжигать. Но когда конвейер смерти заработал на полную мощность, крематорий не справлялся, кладбищ стало не хватать, и тогда родилась идея создать на принадлежащих НКВД землях в поселке Бутово и совхозе «Коммунарка» так называемые «зоны». Самые массовые захоронения находятся именно там.

Что касается Марии Спиридоновой, то, прошедшая все круги ада в царские времена, в 1937-м она писала из одиночной камеры «нутрянки»:

«Надо отдать справедливость и тюремно-царскому режиму, и советской тюрьме. Все годы долголетних заключений я была неприкосновенна, и мое личное достоинство в особо больных точках не задевалось никогда. Старые большевики щадили меня, принимались меры, чтобы ни тени измывательства не было мне причинено.

1937-й принес мне именно в этом отношении полную перемену, и поэтому бывали дни, когда меня обыскивали по 10 раз в один день. Чтобы избавиться от шупанья, я орала во все горло, вырывалась и сопротивлялась, а надзиратель зажимал мне потной рукой рот, другой притискивал к надзирательнице, которая щупала меня и мои трусы. Чтобы избавиться от этого безобразия и ряда других, мне пришлось голодать. От этой голодовки я чуть не умерла».

Цинга, ишиас, начинающаяся слепота — вот неполный перечень болезней, которыми страдала Мария Спиридонова. Но она держалась. Держалась, сколько могла. И только бумаге доверяла свою неумную боль. После того как ее перевели в печально известный Орловский централ, в ее записях появились еще более трагические мотивы:

«Я всегда думаю о психологии целых тысяч людей — технических исполнителей, палачей, расстрельщиков, о тех, кто провожает на смерть осужденных, о взводе, стреляющем в полутьме ночи в связанного, обезоруженного, обезумевшего человека.

Самое страшное, что есть в тюремном заключении, — это превращение человека в вещь. Применение 25 или 10 лет изоляции в моих глазах равноценно смертной казни, причем последнюю лично для себя считаю более гуманной мерой. Проявите на этот раз гуманность и убейте сразу!»

11 сентября 1941 года «гуманность» была проявлена, и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Мария Спиридонова, которой исполнилось 56 лет, была расстреляна... Расстреляна, но не так, как она воображала. Не было ни «взвода», ни «полутьмы ночи», и уж конечно никто не связывал ей руки. Все было гораздо проще и примитивнее: ее вывезли на окраину Медведевского леса, поставили на краю заранее вырытой ямы, и какой-то мужик в форме НКВД выстрелил ей в затылок. Им мог быть один из братьев Шигалевых, а если они были заняты, то кто-то из их старательных учеников.

## Глава 7

### Вторая жизнь Фейги Каплан

Трудно сказать, кому это понадобилось, но в 1922-м дело Фейги Каплан было извлечено на белый свет и началось новое расследование обстоятельств покушения на Ленина. При более детальном изучении сохранившихся документов невольно приходишь к выводу, что задачей расследования были не поиски истинных организаторов и исполнителей террористического акта и тем более не реабилитация Фейги Каплан, а подтверждение заведенного Свердловым постулата, что все это — дело рук правых эсеров. Если бы удалось это доказать, то руководителей эсеров можно было бы объявить вне закона и арестовать, а партию назвать преступной и разогнать.

Подготовительная работа по ликвидации этой партии началась еще в 1921 году. Занимался этим секретный отдел ВЧК во главе с известным в те годы мастером политического сыска Яковом Аграновым. Имея четырехклассное образование, Янкель Шмаевич (это его подлинное имя и отчество) начал с должности уполномоченного Особого отдела ВЧК и дорос до заместителя наркома внутренних дел СССР. В 1938-м, правда, был расстрелян и, что характерно, так и не реабилитирован.

Агранов работал филигранно и довел дело до судебного процесса, который в течение 48 дней проходил в Ко-

лонном зале Дома союзов. В основе обвинений представшим перед судом 34 руководителям партии лежала брошюра некоего Семенова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 годы».

Григорий Семенов был типичным перебежчиком, а проще говоря, предателем, завербованным большевиками. Будучи руководителем боевой группы партии эсеров, он был арестован чекистами. Понимая, что его могут расстрелять, Семенов не стал особенно упираться, когда ему предложили, оставаясь эсером, работать на ВЧК. Письменных обязательств с него брать не стали, достаточно было его устного заявления, правда, при весьма высокопоставленных свидетелях. «Мои политические взгляды коренным образом изменились, — сказал он. — Я пришел к признанию необходимости диктатуры пролетариата».

Правила были таковы, что кто-то должен был за него поручиться. И это сделал Абель Енукидзе, который в те годы был секретарем Президиума ВЦИК. По его же рекомендации через некоторое время Семенова приняли в партию большевиков: само собой разумеется, это было сделано тайно, так как новоиспеченный агент ВЧК официально оставался эсером.

Выполняя задания чекистов, Семенов частенько ездил за границу и там познакомился с набирающим силу писателем и литературоведом Виктором Шкловским. Тот вел дневник и вот что написал о Семенове:

«Это человек небольшого роста, в гимнастерке и шароварах, но как-то в них не вложенный, со лбом довольно покатым, с очками на небольшом носу. Верхняя губа коротка. Говорит дискантом и рассудительно. Тупой и пригодный для политики человек».

Как раз в эти дни у Агранова созрела идея публичного разоблачения эсеровской партии одним из активнейших, а теперь раскаявшихся ее членов. Семенов получает задание письменно «разоблачить партию социалистов-революционеров перед лицом трудящихся, открыв темные страницы ее жизни, неизвестные ни коммунистам, ни большинству рядовых членов эсеровской партии».

В январе 1922 года рукопись была готова. Ознакомившись с ней, члены Политбюро для пущей важности решили издать ее за границей, а потом переиздать в России. Заместитель председателя ГПУ Иосиф Уншлихт (ВЧК в феврале 1922 года было упразднено и создано Государственное политическое управление — ГПУ) не придумал ничего лучшего, как напечатать эту брошюру в своей типографии, указав тираж и место издания в выходных данных.

В принципе для начала процесса все было готово, но, еще раз обдумав ситуацию, Агранов решил, что одного свидетеля мало, и подключил к этому делу Лидию Коноплеву. Тот же Шкловский описывал ее как «блондинку с розовыми щеками и вологодским говором». Будучи секретарем эсеровской газеты, а потом членом боевой группы, Коноплева с 1918 года работала на ЧК. В партию большевиков, как и Семенов, она вступила тайно, а рекомендацию ей дал не кто иной, как Николай Бухарин. Через шестнадцать лет среди других прегрешений ему припомнят и это.

А что же с покушением на Ленина, которое, по словам Семенова и Коноплевой, было организовано и осуществлено ими, к этому времени лишь формально состоявшими в партии эсеров, а на самом деле правоверными чекистами? Вот как описывал эту акцию Семенов в своей брошюре:

«Охота на Ленина началась с того, что город разбили на четыре части и были назначены четыре исполнителя. В часы, когда идут митинги, районный исполнитель дежурит в условленном месте, на каждом крупном митинге присутствовал кто-нибудь из боевиков. Как только Ленин приезжал на тот или другой митинг, дежуривший на митинге боевик сообщал об этом районному исполнителю, и тот немедленно должен был явиться на митинг для выполнения акта. Среди исполнителей были: Каплан, Коноплева, Федоров и Усов.

В тот день, когда Ленин выступал на заводе Михельсона, туда были посланы Каплан и хороший боевик, старый эсер, рабочий Новиков. Окончив говорить, Ленин



направился к выходу. Каплан и Новиков пошли следом. Каплан вышла вместе с Лениным и несколькими сопровождавшими его рабочими. Новиков нарочно споткнулся и застрял в выходной двери, задерживая выходящую публику. На минуту между входной дверью и автомобилем, к которому направлялся Ленин, образовалось пустое пространство.

Каплан вынула из сумочки револьвер и, выстрелив три раза, тяжело ранила Ленина. Бросилась бежать. Через несколько минут она остановилась и, обернувшись лицом к бегущим за нею, ждала, пока ее арестуют. На Новикова никто не обратил внимания».

Брошюра брошюрой, но когда на процессе Семенову предоставили слово, он сделал сенсационное признание, заявив, что пули были отравлены ядом кураре.

— Почему же яд не подействовал? — спросил у него председательствующий.

— Видимо, потому, что при высокой температуре он теряет свои свойства.

— Высокая — это какая?

— Ну, градусов сто. Мы, конечно, не измеряли, но до ста градусов пуля разогревается. Или нет?

— Спросим у эксперта. Пригласите профессора Щербачева, — попросил председательствующий.

Когда к барьеру подошел солидный седобородый профессор, судья начал издаലെка:

— Вы биолог?

— Да, я биолог.

— Специалист по ядам?

— И по ядам тоже.

— Что это за яд — кураре?

— Это очень сильный яд. При попадании в кровь он оказывает нервно-паралитическое действие.

— Из чего его делают?

— Из чилибухи и других растений семейства логаниевых.

— У нас эта чилибуха растет?

— Ну что вы, — усмехнулся профессор. — Растет она только в Южной Америке. И яд умеют делать только местные туземцы. Они его используют для отравления стрел, и только при охоте на крупных животных.

— А если пропитать ядом пулю?

— Как это — пропитать? Она же свинцовая. Яд в свинец не впитается.

— Ну, как-нибудь намазать... Хотя какое-то количество яда на пулю нанести можно?

— Теоретически можно. Но ведь яд жидкий, и на пуле его может быть такое минимальное количество, что никакого вреда он причинить не сможет.

— А высокой температуры, скажем, градусов в сто он боится?

— Чего ему бояться? — снова усмехнулся профессор.

— Я хотел сказать, не теряет ли он при такой температуре свои качества?

— Ни ста, ни двухсот градусов кураре не боится. К тому же, насколько мне известно, пуля до такой температуры не раскаляется. И вообще, гражданин судья, я первый раз слышу, чтобы кто-то начинял пули ядом кураре. Это невозможно. Иначе охотники на слонов, бизонов и носорогов не таскали бы с собой крупнокалиберные ружья, а обходились бы мелкашками.

— Резонное замечание, — уныло процедил судья, а им был Георгий Пятаков, которого после успешного выполнения задания партии назначили заместителем наркома тяжелой промышленности, дали квартиру в престижном доме на улице Грановского, а в 1936-м расстреляли.

Тогда же, на процессе, он обладал такой властью, что любого свидетеля мог превратить в обвиняемого, а обвиняемого либо отпустить домой, либо приговорить к расстрелу. Все это знали, поэтому от одного взгляда, который он бросил на Семенова и соавтора басни об использовании яда Агранова, им стало не по себе.

Так рассыпалась версия следствия о применении эсерами отравленных пуль. Но суд продолжался, и, забыв об одной небылице, Пятаков и его помощники начали исследовать другие. Одним из главных обвиняемых был

член ЦК партии эсеров, депутат Учредительного собрания, военный врач Дмитрий Донской. Если бы удалось доказать, что он, член ЦК, встречался с Каплан и если и не поручил ей выполнение теракта, то хотя бы не отговорил от преступного намерения, это было бы победой и партию эсеров можно было бы объявить преступной организацией, подлежащей немедленному роспуску.

— Вы знали Каплан? — спросил Пятаков у Донского.

— Знал.

— Как часто вы с ней встречались?

— Один раз.

— Где?

— На Тверском бульваре.

— О чем вы с ней говорили?

— Она поделилась со мной своими террористическими замыслами, а я ее от этого отговаривал. Я ей даже пригрозил, что если она не оставит своих намерений, то может серьезно за это поплатиться.

— Какое она на вас произвела впечатление?

— Женщина она довольно красивая, но, несомненно, ненормальная, да еще с разными дефектами: глухая, полуслепая, экзальтированная. Словно юродивая! Меньше всего мне приходило в голову отнести к ее словам серьезно. Я ведь, в конце концов, не психиатр, а терапевт. Уверен был — блажь на бабенку напала. Похлопал я ее тогда по плечу и сказал ей: пойди-ка пропись, милая! Ленин — не Марат, а ты не Шарлотта Корде. А главное, наш ЦК никогда на это не пойдет. Ты попала не по адресу. Даю добрый совет: выкинь все это из головы и больше никому об этом не рассказывай.

— Она последовала вашему совету?

— Судя по тому, что случилось, нет. Но я еще и еще раз подчеркиваю: если она и стреляла, то делала это как частное лицо. Ни наша партия, ни ее ЦК не имеют к этому никакого отношения.

— А как быть со свидетельскими показаниями о том, что вы бывали на квартире, где жила Каплан, и там встречались с представителями французской военной миссии?

— Выбросить! — взорвался Донской. — Это не просто ложь, а ложь в квадрате.

Удивительное дело, но то ли у большевиков еще не было опыта проведения такого рода процессов, то ли в глазах общественности они хотели выглядеть демократами, но эсерам была предоставлена такая мощная адвокатская защита, что все только руками разводили. От партии большевиков в качестве защитников на процессе выступили такие известные люди, как Бухарин, Томский и Покровский, а от деятелей культуры — Максим Горький и Анатолий Франс. Другое дело, что в своих речах они не столько защищали, сколько обвиняли как партию, так и ее руководителей, но хорошая мина при плохой игре была соблюдена.

И все же серьезных оснований для вынесения нужного приговора у Пятакова не было, так как доказать членство Каплан в эсеровской партии не удавалось. Он часами изводил своими въедливыми вопросами таких известных эсеров, как Тимофеев, Гоц, Ратнер, Ставская, и многих других, но те в один голос твердили, что Фейга Каплан в эсеровской партии не состояла. Зато всплыли жуткие факты, которые народу лучше было бы не знать.

Оказывается, после принятого 5 сентября 1918 года постановления Совнаркома «О красном терроре» в стране началась невиданная по своей бессмысленности и жестокости вакханалия арестов и расстрелов. Только за два месяца было арестовано около 32 тысяч человек, в том числе в тюрьмы и лагеря брошено более 20 тысяч ни в чем не повинных людей, а 6185 человек расстреляны. Таким был ответ большевиков на выстрелы Каплан.

Между тем процесс близился к завершению. Версия Семенова была признана основополагающей и доказанной. Партия правых эсеров была распущена, а Донской, Гоц, Тимофеев, Гендельман и некоторые другие члены ЦК приговорены к расстрелу. Правда, исполнение приговора было приостановлено и заменено ссылкой.

На некоторое время о ссыльных эсерах забыли. Но в 1937-м к ним добавили тех, кто оставался на воле, и всех расстреляли. Добавили к ним и «хорошего боевика» Новикова, который перед расстрелом успел запустить «утку» о том, что якобы еще в 1932-м, будучи в пересыльной тюрьме Свердловска, встретился с Каплан, которая числилась там как Ройд Фаня. Не забыли и о защитниках, в том числе о Бухарине. Уже будучи в камере, он написал в ЦК ВКП(б) возмущенное письмо:

«Нельзя пройти против чудовищного обвинения меня в том, что я якобы давал Семенову террористические директивы. Здесь умолчано о том, что Семенов был коммунистом, членом партии. Семенова я защищал по постановлению ЦК партии. Наша партия считала, что Семенов оказал ей большие услуги, приняла его в число своих членов. Семенов фактически выдал советской власти и партии боевые эсеровские группы. У всех эсеров, оставшихся эсерами, он считался большевистским провокатором. Роль разоблачителя эсеров он играл и на суде. Эсеры его ненавидели и сторонились его как чумы».

Не помогло — Николай Бухарин был расстрелян. А в газетах было опубликовано обоснование столь жесткого приговора:

«Неопровержимо доказано, что в подготовке убийства великого Ленина участвовали и гнусные троцкистско-бухаринские изменники. Больше того, омерзительный негодяй Бухарин выступил в роли активного организатора злодейского покушение на Ленина, подготовлявшегося правыми эсерами и осуществленного 30 августа 1918 года. В этот день Ленин выступал на собрании рабочих завода быв. Михельсона. При выходе с завода он был тяжело ранен белоэсеровской террористкой Каплан. Две отравленные пули попали в Ленина. Жизнь его находилась в опасности».

А что же с главными обвинителями? Какое решение было принято в отношении Семенова и Коноплевой? Ведь по ставшей отныне официальной версии, именно они являлись непосредственными организаторами подло-

го покушения на Ленина, дали оружие Фейге Каплан и пропитали пули ядом кураре. Уж кто-кто, а они-то должны понести самое суровое наказание. А вот и нет! Своим предательством и тем, что «оказали большие услуги партии», свою вину они искупили.

Формально их осудили, но тут же амнистировали. Чуть было не испортил дело Борис Савинков, который несколько позже совершенно неожиданно коренным образом изменил акценты всей этой истории с покушениями и обвинениями в них эсеров.

— Не мы, русские, подняли руку на Ленина, а еврейка Каплан. Не мы, русские, убили Урицкого, а еврей Канегиссер. Не следует забывать об этом, — заявил он.

А никто и не забывал. В многотомном деле о расследовании покушения на Ленина сохранилась эсеровская газета «Народ» от 3 сентября 1918 года, в которой напечатано интервью с лидером этой партии Виктором Черновым. Рассказывая о своей поездке по поволжским селам, он, в частности, сказал:

— В некоторых местах в среде крестьян вместе с недовольством большевиками просачивается антисемитская агитация, особенно в связи с нападениями большевиков на церкви и монастыри. Однако, когда мужики узнали, что стрелявшими в Ленина и Урицкого являются евреи Ройд-Каплан и Канегиссер, они свою ненависть к большевикам уже не стали относить к евреям. Относительно покушения на Ленина крестьяне, в массе своей, не выражают ни радости, ни печали, а лишь равнодушное любопытство.

Единственным откликом на это событие были вопросы: «Что же, теперь чуточку получше будет или кто-нибудь еще злее найдется?»

Вот ведь какая странная вырисовывается картина! Выходит, что крестьяне, хорошо зная, что почти вся кремлевская верхушка состоит из евреев, ненавидели их и как евреев, и как большевиков, но как только прослышали, что евреи убивают большевиков, ненавидеть евреев перестали, а всю свою ненависть перенесли на большевиков, кем бы они ни были — латышами, русскими, чувашами или татарами.

Лучше всех эти настроения выразил все тот же Савинков, который после напоминания о том, что в Ленина и Урицкого стреляли пожертвовавшие своей жизнью евреи Каплан и Канегиссер, выдержав паузу, патетически воскликнул: «Вечная им память!»

Что касается Григория Семенова, то после амнистии он много лет работал в Разведуправлении РККА, которое лишь формально подчинялось Генштабу, а на самом деле без ОГПУ или НКВД не могло ступить и шагу. Да и все руководители, как, впрочем, и большинство сотрудников, были вчерашними чекистами, не терявшими связей с Лубянкой. Поэтому нет ничего странного в том, что доказавший свою верность партии и ЧК Семенов стал военным разведчиком.

Вплоть до 1937 года Семенов успешно продвигался по службе. Он даже побывал на секретной работе в Китае и получил довольно высокое звание бригадного комиссара. А потом, когда взялись за Бухарина, Семенова обвинили в связях с ним, в том, что по поручению Бухарина он создал несколько террористических групп и подготавливал ряд терактов против руководителей партии и правительства. О покушении на Ленина — опять ни слова.

Довольно долго Семенов все отрицал, но, когда за дело взялись заплечных дел мастера, свою вину в создании террористических групп признал. Тут же состоялся суд, который вынес смертный приговор, и 8 октября 1937 года Григория Семенова расстреляли.

Довольно долго не трогали и Лидию Коноплеву. Сначала она работала в штабе РККА, потом в Московском отделе народного образования, а также в различных издательствах. Но в 1937-м черед дошел и до нее.

Вчерашнюю чекистку арестовали, обвинили в связях с Бухариным и Семеновым, а также в хранении какого-то мифического архива правых эсеров — и в июле того же года расстреляли. Какого-либо упоминания в организации покушения на Ленина в ее деле нет.

И вот что интересно: в 1960 году Коноплева была реабилитирована «за отсутствием состава преступления». А как же ее показания, данные на процессе 1922 года?

А никак, их во внимание не принимали. Неужто непосредственного организатора покушения на Ленина простили? Выходит, что простили. А может быть, задним числом отблагодарили за прекрасно выполненное задание?

Такой же вопрос возникает и в отношении Семенова, которого в 1961-м тоже реабилитировали, а дело прекратили «за недоказанностью предъявленных ему обвинений».

«Хорошего боевика» Василия Новикова, автора легенды о помилованной Каплан, которую он якобы встречал в пересыльной тюрьме Свердловска, в 1937-м тоже расстреляли. Так как все это время Новиков находился в заключении и обвинить его в преступных связях с тем же Бухариным было невозможно, припомнили участие в покушении на Ленина. Он подтвердил, что был членом боевой группы Семенова и что хорошо знал Каплан.

— Она же ни черта не видела, — добавил Новиков. — И не имела представления, какой он из себя, Ленин-то. А тут еще стемнело. Чтобы она не стала палить в кого-то другого, я показал ей Ленина и ушел со двора завода. Как она стреляла, я не видел, но выстрелы слышал. После этого я сел на извозчика и уехал в Томилино, где меня ждал Семенов. Я ему сказал, что дело сделано, а он почему-то не обрадовался и интересовался только тем, видел ли я, как арестовали Каплан. Я ответил, что видел. Он пожал мне руку и велел отдыхать.

Так что же было главным для чекиста Семенова — смерть Ленина или задержание Каплан, которую следствию можно было представить как активную эсерку? А может быть, одинаково важно и то и другое? Но ведь две пули в Ленина попали, и, как мы уже знаем, одна из них, «уклонись на один миллиметр в ту или другую сторону», могла бы Ильича отправить на тот свет.

Выходит, что и Ленина надо было убрать, и партию эсеров разогнать, и красный террор объявить. Но кому все это было нужно? И зачем?

Как ни много удалось найти неизвестных ранее документов, есть все же за стальными дверями архивов такие



секретные бумаги, которые до сих пор никому не показывают, и они ждут своего часа, чтобы предстать не только перед историками, но, прежде всего, перед следователями, которые смогут дать ответ на поставленные выше вопросы.

Именно с этой целью Генеральная прокуратура России в 1992 году приняла постановление о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Приведу этот документ полностью:

«Прокурор по реабилитации жертв политических репрессий Генеральной прокуратуры Российской Федерации старший советник юстиции Ю. И. Седов, рассмотрев материалы уголовного дела № Н-200 по обвинению Ф. Е. Каплан, установил:

По настоящему делу за покушение на террористический акт в отношении Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова (Ленина) привлечена к ответственности и в последующем расстреляна Ф. Е. Каплан (Ройдман).

Из материалов дела усматривается, что следствие проведено поверхностно. Не были проведены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы; не допрошены свидетели и потерпевшие; не произведены другие следственные действия, необходимые для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 384 и 386 УПК РСФСР, постановил:

Возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам».

Что ж, как говорится, флаг вам в руки, господа прокуроры! Мы же будем ждать, когда прольется свет на одну из самых непроницаемых, запретных, темных и зловещих тайн нашей горемычной, умытой кровью России.

---

### ЧАСТЬ III

## ПОЩЕЧИНА ЛУБЯНКЕ ОТ РУССКОГО БАНДИТА

### Глава 1

#### «Черт с тобой, что ты Левин»

Одна буква! Всего одна буква «в» вместо буквы «н». Но если бы Ильич произнес ее более четко, судьба революции, страны да и всей истории могла быть совсем иной. Если бы Ленин был убит, то Сталин, Троцкий и Зиновьев наверняка бы перессорились и перестреляли друг друга. Деникин и Колчак вошли бы в Москву, Юденич — в Петроград, и Россия пошла бы другим путем.

Вот он, истинный парадокс истории: судьба России находилась в руках отпетого бандита. Но — недолго. Он свой шанс упустил и заплатил за это своей жизнью.

А все началось с того, что у Надежды Константиновны Крупской обострилась тяжелая форма базедовой болезни. Ильич заметно помрачнел, стал грустным и понурым. Первым на это обратил внимание Бонч-Бруевич. Он заметил, что Ленин часами сидит над одной и той же бумагой, как будто ее изучая, а на самом деле не видя ни одной буквы. Он не пил свой любимый чай, почти ничего не ел, перестал следить за своей внешностью, запустил бороду и не подравнивал усы.

Ленин любил и умел красиво завязывать галстук, следил за тем, чтобы воротничок был чистым и свежим, а тут вдруг стал появляться с какой-то селедкой вместо галстука, не говоря уже о воротничке, при взгляде на который хотелось отвести глаза.

— Что с вами? — преодолевая чувство неловкости, на правах не столько ближайшего сотрудника, сколько старого товарища спросил Владимир Дмитриевич. — Вы не больны? Не дает ли себя знать пуля, которую отказались извлекать врачи?

— Да ну ее к черту, эту пулю, — отмахнулся Ленин. — Если бы дело было в ней, а значит, во мне, я бы терпел. А тут! Самое ужасное, что я ничем не могу помочь! — стукнул он кулаком по столу. — Нет ничего хуже, чем видеть, как страдает близкий человек, а ты — дурак дураком, только вздыхаешь да просишь держать себя в руках. Надя плоха, — пряча повлажневшие глаза, вздохнул он. — Ей все хуже и хуже...

— А что говорят врачи?

— Что они могут сказать?! Необходим длительный отдых и квалифицированное лечение, желательно за границей. Надо же, за границей! — возмущенно вскинул он руки. — За какой границей? Они хоть на карту смотрели? С юга — Деникин, с востока — Колчак, с севера — Юденич, с запада — Петлюра... М-да-а, прижали нас основательно, — подбежал он к карте и начал переставлять флажки.

— И все же Надежде Константиновне необходим отдых, — решил поддержать врачей Бонч-Бруевич. — Лекарства лекарствами, что сможем — достанем. А вот отдых не заменить ничем. К морю бы ее или в горы, — сочувственно вздохнул он, — но туда не пробиться. А что, если организовать что-то вроде санатория где-нибудь в Подмоскowie?

— О чем вы говорите? Какой санаторий? — досадливо отмахнулся Ленин. — Ни о каком отдыхе она и слышать не хочет. Я пытался уговорить ее просто прогуляться в каком-нибудь парке, вроде Нескучного сада или Сокольников, так она обозвала меня моционистом — слово-то какое придумала — дескать, делать тебе нечего, не знаешь, чем себя занять, кроме как моционом на свежем воздухе.

— А что! — восторженно воскликнул Бонч-Бруевич. — Хорошая идея!

— Какая идея? О чем вы?

— О Сокольниках. И близко, и место хорошее, и администрация там надежная. Я вот о чем, — торопливо продолжал он. — В Сокольниках есть так называемая лесная школа: детишки там и учатся, и живут. Столовая есть, спальни теплые, охрану организуем. Там даже есть телефон! — в качестве последнего довода воскликнул

он. — Всегда можно позвонить и справиться о самочувствии Надежды Константиновны.

— Да? — начал сдаваться Ильич. — Это действительно близко?

— Полчаса на машине. Навещать можно хоть каждый день.

— А что, — азартно потер руки Ленин, — и близко, и телефон, и свежий воздух. Он там взаправду свежий? — придиричиво уточнил он. — Ни заводов, ни фабрик поблизости нет?

— Какие заводы? Помилуйте, Владимир Ильич, там же лесопарковая зона. Трамвай, правда, поблизости ходит, но от него никакого вреда.

— Да? Ко всем прочим удобствам еще и трамвай? Считайте, что трамваем вы меня доконали, — заметно повеселел Ильич. — Теперь дело за малым: идите и уговорите Надежду Константиновну.

— Я? — чуть не уронил очки Бонч-Бруевич. — Почему я? Я не смогу.

— Но меня же вы уговорили, — плутовато улыбнулся Ленин.

— Нет, Владимир Ильич. Нет, нет и нет, — замахал руками Бонч-Бруевич. — Женщин я уговаривать не умею.

— Так уж и не умеете? — лукаво прищурился Ильич. — А как же?..

— Прошу вас не продолжать, — густо покраснел многолетний товарищ Ленина.

— Хорошо, Владимир Дмитриевич. Хорошо, — резко изменил тему Ленин. — Давайте сделаем так: я попробую поговорить с Надеждой Константиновной, а вы поезжайте на разведку. Загляните по какому-нибудь поводу в эту школу, хорошенько все посмотрите, разузнайте, что и как, поинтересуйтесь, как там организовано питание, есть ли врач или хотя бы медсестра, каковы условия проживания, достаточно ли дров и все такое прочее. Но никому ни слова, почему вы этим интересуетесь! Вы поняли? Никому! Директор там человек надежный?

— Вполне. Фанни Лазаревну я знаю много лет.

— Так вот ни одна живая душа, кроме нее, не должна

знать о нашем плане. И еще! — хлопнул Ленин себя по лбу. — Дороги. Тщательно разведайте дороги, которые ведут к этой школе. Это на тот случай, чтобы в случае необходимости мы могли по одной дороге приехать, а по другой уехать.

— Понял, Владимир Ильич. Все понял. Сейчас же и поеду, — поднялся Бонч-Бруевич.

— Очень хорошо. Когда вернетесь, тотчас же ко мне, — поднялся и Ленин. — А я тем временем попробую поговорить с Надеждой Константиновной.

Не зря, ох не зря Владимир Ильич просил обратить особое внимание на дороги: дело в том, что их просто не было. Зима тогда выдалась снежная, и снег ни с дорог, ни с тротуаров не счищали. С крыш свисали огромные сосульки и время от времени с грохотом обрушивались на тротуары. Люди шарахались на проезжую часть и увязали в высоченных сугробах.

Еще хуже приходилось автомобилям — пробиться через эти сугробы не было никакой возможности, поэтому водители старались попасть на трамвайные пути, которые тщательно расчищались. По этим же путям шествовали и пешеходы. Если же учесть, что улицы совсем не освещались, трамваи носились как грохочущие метеоры, а редкие автомобили, не имея возможности затормозить на рельсах, с визгом и ревом мчались до ближайшего сугроба, то нетрудно представить, что творилось на тогдашних московских улицах.

Худо-бедно, но до Сокольников Бонч-Бруевич добрался, разыскал лесную школу, провел приватную беседу с директрисой, осмотрел маленькую комнатку на втором этаже, которую выделили Крупской, и, еще раз наказав Фанни Лазаревне никому не говорить ни слова, пустился в обратный путь.

— Ну что? — нетерпеливо привстал Ленин, когда запаренный Бонч-Бруевич вошел в его кабинет. — Как там школа, как дороги, как дрова?

— Школа на месте, дров достаточно, комнатку я подобрал, с питанием проблем не будет — так что можно ехать, — устало улыбнулся Бонч-Бруевич.

— А дороги? Судя по тому, что вы сделали вид, будто не расслышали вопроса о дорогах, с ними есть проблемы? — прищурился Ильич.

— От вас ничего не скроешь, — обреченно вздохнул Бонч-Бруевич. — Дороги действительно ни к черту! Вся Москва завалена снегом. По тротуарам не пройти, по улицам не проехать — вся надежда на трамвайные пути, по ним и ходят, и ездят.

— Вот так-так! — удивленно воскликнул Ленин. — Значит, по городу ни проехать ни пройти, а люди толпами бродят по трамвайным путям?! И нет никакого выхода? Эх вы, горемыки несчастные, не можете решить простейшей задачи. А что если этим людям дать лопаты, мобилизовать подводы и вывезти снег за город? Такой вариант возможен?

— Так ведь как их заставишь? Народ-то все рабочий, едва бредет после смены.

— А буржуазия на что! Надо послать по домам людей из Моссовета, пусть пройдутся по квартирам и выгонят на улицы бывших фабрикантов, купцов, офицеров и прочих лиц непролетарского происхождения. Пусть помашут лопатами, физический труд им не повредит.

— Отличная идея, — оживился Бонч-Бруевич. — Тем более что улицы они будут чистить не для какого-то дяди, а для самих себя: в их ботиночках и штиблетиках гулять по расчищенному тротуару куда сподручнее. А что Надежда Константиновна, — сменил он тему, — вы с ней говорили?

— Говорил. Пока что Надя не говорит ни «да», ни «нет». Но, судя по тому, что подробно расспрашивала и о парке, и о школе, думаю, она склонна согласиться. Договорились так: окончательный ответ я получу завтра утром.

На том и расстались. Ленин занялся текущими делами, а Бонч-Бруевич побежал звонить в Моссовет, чтобы мобилизовать на уборку снега нетрудовое население города.

Чуть свет Бонч-Бруевич явился в кабинет Ленина с очередным докладом о положении на фронтах. Выслушав

доклад и передвинув флажки на карте, Ильич улыбнулся, характерным жестом заложил большие пальцы рук за прорези жилетки, что свидетельствовало о хорошем настроении, заговорщически подмигнул и нарочито громко прошептал:

— Наше дело правое. Мы победили. — И, выдержав паузу, добавил: — Надя согласна. Она уже укладывается.

— Ура! — так же шепотом воскликнул Владимир Дмитриевич. — Пойду заказывать машину.

— Успеется... На дворе еще темновато. При дневном-то свете ехать лучше, да? И все же я беспокоюсь, — вздохнул Ленин. — Пойдет ли ей этот отдых на пользу? Уж очень она плоха. По ночам еле дышит, да и говорит с большим трудом. Поправится ли? И вот ведь характер: чуть жива, а бумаг с собой берет полный чемодан, буду, говорит, работать без отрыва от отдыха.

В тот же день Бонч-Бруевич отвез Надежду Константиновну в Сокольники. По дороге он с удовлетворением поглядывал на бывших господ, которые, неумело тюкая ломami и с трудом поднимая лопаты, разгребали огромные сугробы.

«Так они будут работать до самого лета, пока снег не растает сам собой, — подумал он. — Нет, буржуи нас не спасут, надо придумать что-то другое: скажем, какой-то выходной объявить днем чистой Москвы и попросить выйти с лопатами все население города. В конце-то концов ходить по этим улицам не заморскому дяде, а им самим. Надо будет посоветоваться с Ильичом», — подвел он итог своим размышлениям и попросил шофера прибавить газу.

Прошел день, другой, минула неделя... Надежда Константиновна пошла на поправку, и Владимир Ильич заметно повеселел. Он чуть ли не каждый день ездил в Сокольники, при этом соблюдая вошедшие в привычку правила конспирации. Если он отправлялся в лесную школу, то знал об этом только Бонч-Бруевич. А если кому-то из членов правительства позарез нужно было посоветоваться с Ильичом, Бонч-Бруевич говорил, что он уехал не в Сокольники, а в Хамовники или в район Рогожской заставы и часа через два вернется.

Так продолжалось довольно долго... И вот однажды в конце декабря Ленин вызвал Бонч-Бруевича, попросил поплотнее закрыть дверь и, пристально глядя ему в глаза, спросил:

— Вы сможете выполнить сверхсекретное и архиважное задание?

— Я постараюсь, — понизив голос, ответил Бонч-Бруевич.

— Если вы за него возьметесь, то напрячься придется очень серьезно.

— Раз надо, значит, напрягусь.

— Вы сможете достать то, чего нигде нет?

— Как это? — не понял Бонч-Бруевич. — Как можно достать то, чего нигде нет?

— То-то и оно! — лукаво прищурясь, но строгим голосом продолжал Ленин. — И это еще не все. О том, что вы будете это нечто искать, не должна знать ни одна живая душа.

— Сдаюсь, — умоляюще поднял руки Бонч-Бруевич. — У нас сейчас много чего нет, но если то, что вы имеете в виду, искать под большим секретом, то как же его найдешь?!

— Ага, сдаетесь! — захохотал Ленин. — А еще управделами Совнаркома! Я-то думал, что для вас нет ничего невозможного, а вы спасовали. Ладно, батенька, не буду вас больше мучить. Речь идет о детском празднике, который я хочу устроить в лесной школе. Елка там есть, но нет ни игрушек, ни хлопушек, ни гирлянд, ни конфетти. Я уж не говорю о подарках! Так вот надо раздобыть костюмы для Снегурочки и Деда Мороза, а также хлопушки, игрушки, гирлянды, маски и, конечно же, побольше конфет, пряников, печенья и других сладостей. Сможете?

— Да-а-а, это действительно то, чего нигде нет, — задумчиво поскреб бороду Бонч-Бруевич. — Бронепоезд или десяток пулеметов — это я достать могу, но игрушки и хлопушки... Что ж, придется напрягаться, и, как вы правильно заметили, очень серьезно.

— Судя по всему, расходы предстоят немалые, а так как это наша частная инициатива, то давайте рассматри-



вать это как складчину. Вот вам моя доля, — протянул Ленин несколько банкнот. — А что касается секретности операции, то прошу отнестись к этому с полной серьезностью: никто не должен знать, куда вы будете отправлять все эти игрушки, пряники и хлопушки.

— Понимаю, — кивнул Бонч-Бруевич. — Взять след я никому не позволю, и никто не будет знать, где этот праздник встречаете вы.

— Вот и прекрасно. О дате и времени выезда я сообщу дополнительно.

— Я пошел, — двинулся к выходу Бонч-Бруевич, потом вдруг остановился, покрутил головой, досадливо поскреб бороду и, держась за ручку двери, обернулся к Ленину. — Вы меня извините, но самого главного я так и не понял: какой праздник мы будем отмечать. Если Новый год, то опоздали — мы же в феврале этого года перешли на григорианский календарь. Если Рождество — то в самый раз, но мы неоднократно заявляли, что являемся атеистами, и отмечать поповский праздник большевикам вроде бы не с руки.

— Вы правы, с Новым годом мы опоздали — на дворе уже 1919-й, — успокаивающе приобнял своего давнего друга Ленин. — Если вы помните свое беззаботное детство, то вся православная Русь вначале отмечала Рождество, которое плавно переходило во встречу Нового года. И это было логично. С переходом на григорианский календарь эта традиция разрушилась и сложилась противоестественная ситуация: сначала наступает Новый год, а потом рождается Христос. Из-за этой путаницы Новый год мы еще не научились встречать, а Рождество — разучились. Но дети-то тут при чем? Им-то какое дело до этой неразберихи с календарями? Вот я и подумал: раз встречу Нового года мы проворонили, надо устроить им елку неделей позже. А то, что это будет в канун Рождества, то это случайное совпадение. Вы понимаете: сов-па-де-ни-е, — произнес он по слогам. — И пусть ваша атеистическая совесть спит спокойно, — улыбнулся он и подтолкнул Бонч-Бруевича к двери.

Бурная деятельность, которую развил Владимир Дми-

триевич по добыванию игрушек и хлопушек, не осталась незамеченной, но он отчаянно отбивался от объяснений, уверяя, что речь идет о создании музея народных ремесел, куда со временем должны попасть не только елочные украшения, но и ложки, матрешки, прялки, самовары и прочая избяная утварь. Как бы то ни было, но все добытое добро было отвезено в Сокольники, и там полным ходом шла подготовка к празднику.

И вот настал день, когда радостно возбужденный Ленин вызвал Бонч-Бруевича и, понизив голос, спросил:

— Как там, все готово?

— Готово, Владимир Ильич. Там все готово, и вас с нетерпением ждут.

— Очень хорошо! — азартно потер он руки. — Едем двумя машинами. Сперва — вы, а через часик — мы: я решил захватить с собой Марию Ильиничну. Не возражаете?

— Я-то не возражаю. А вот как на это посмотрит Дзержинский?

— Дзержинский? При чем здесь Дзержинский? — недоуменно вскинул брови Ленин.

— Насколько мне известно, еще после августовского покушения чекисты начали разрабатывать инструкцию, в соответствии с которой в целях безопасности категорически запрещается ездить в одной машине более чем одному члену правительства. Это правило распространяется и на членов семей руководителей партии и правительства.

— А мы ему ничего не скажем! — махнул рукой Ленин. — Мы вообще никому ничего не скажем. Никто не должен знать, куда, когда и зачем мы едем!

— Хорошо, — словно что-то предчувствуя, вздохнул Бонч-Бруевич. — Тогда я пошел, вернее, поехал.

— Ждите нас к вечеру... И поаккуратнее на дороге! А то я вас знаю: как только оказываетесь в автомобиле, воображаете его птицей-тройкой, а себя тем самым русским, который никак не может без быстрой езды.

На том и порешили... В начале четвертого Бонч-Бруевич позвонил своему неизменному шоферу, бывшему матросу Рябову, и велел подавать машину. От охраны он отказался, но револьвер на всякий случай взял.

До Красных ворот доехали без приключений, а вот у трех вокзалов началась какая-то чертовщина. Более или менее расчищенные тротуары были заполнены праздношатающейся публикой, среди которой легко угадывались так называемые «бывшие», и невесть откуда взявшимися молодыми парнями в матросских клешах и с длинными чубами, выбивающимися из-под фасонистых фуражек.

«Они же должны быть в армии, — недоумевал Бонч-Бруевич. — На фронтах на учете каждый штык, каждая шашка, мы призываем пятидесятилетних рабочих, а эти бугаи фланируют по улицам, и у каждого в кармане кроме кастета есть кое-что посущественнее. Нет, с этой воровской братвой надо что-то делать! Одна милиция с ней не справится. Без чекистов здесь не обойтись. Ну вот, опять свистят!»

И Бонч-Бруевич, и Рябов давно обратили внимание на то, что как только машина успевала поравняться с группой таких парней, раздавался пронзительный свист. Метров через сто — снова такая же группа и снова — свист. Создавалось впечатление, что эти люди следят за автомобилем и передают его от заставы к заставе или от поста к посту, выбирая наиболее удобное время для нападения.

— Не нравится мне этот свист, ох не нравится, — процедил сквозь зубы Бонч-Бруевич, сжимая рукоятку нагана. — Надо предупредить Гиля, чтобы вез Ильича другим путем.

Добравшись до лесной школы, Бонч-Бруевич тут же кинулся к телефону и стал названивать в кремлевский гараж. Когда ему сказали, что машина с Лениным выехала за пределы Кремля полчаса назад, он прилип к окну, вглядываясь в темноту и ожидая вспышки автомобильных фар.

Прошло полчаса, потом час, а машины все не было.

«Что же могло случиться? — не находил себе места Бонч-Бруевич. — Может, что-то с машиной? Лопнула шина или что-нибудь с мотором? Нет, это исключено, Степан Казимирович очень аккуратный и предусмотрительный шофер, на неисправной машине он не поедет. Попали в сугроб? Столкнулись с трамваем? Господи, что

это я, — остановил он сам себя. — Что за дурацкие мысли! А вот свист в ушах не проходит...

И тут раздался стук в дверь.

— Владимир Дмитриевич, к вам можно? — возникла на пороге Крупская.

— Да-да, конечно, — засуетился Бонч-Бруевич. — Прошу вас, проходите, присаживайтесь, — предложил он стул.

— Ну что там? — кивнула она на телефон. — Что говорят в гараже?

— Говорят, что выехали. Ждем с минуты на минуту. Хотя дороги никуда не годятся, тащиться приходится по трамвайным рельсам, так что возможны задержки.

— Думаете, ненадолго? А то детишки водить хороводы без Владимира Ильича не хотят. Я им предложила поиграть или попеть, а они отказываются, говорят: «Подождем дядю».

— Подождем, конечно подождем. Дядя, то есть, извините, Владимир Ильич, скоро приедет, — смутился Бонч-Бруевич. — Так им и скажите.

Между тем обстоятельства сложились так, что Владимир Ильич Ленин мог никогда и никуда не приехать — в эти минуты он стоял под дулами двух приставленных к вискам револьверов, а в грудь ему упирался маузер. Револьверы держали Заяц и Лягушка, а маузер — Яшка Кошельков. Этих бандитов знала вся Москва, а Яшка был настолько знаменит, что носил совершенно официальный титул короля бандитов.

Так случилось, что недалеко от Сокольников пересеклись пути вождя мирового пролетариата и короля бандитов. Судьба Ленина, а стало быть, и судьба страны неожиданно-негаданно оказалась в руках Яшки Кошелькова.

Этот парень не был ни сиротой, ни беспризорником, ни сыном батрака — он был сыном профессионального бандита, и очень этим гордился. И начальную школу, и высшее бандитско-воровское образование он получил под чутким руководством отца, который терпеливо обучал

сына навыкам своей замечательной профессии. А когда отца поймали и после суда повесили, Яшка поклялся, что продолжит дело отца и сколотит такую банду, которая всем покажет, кто истинный хозяин города.

Так оно и случилось. Уже в 1913 году он был зарегистрирован в полицейских справочниках как опытный вор-домушник. Но потрошить особняки и квартиры всяких там купчишек Яшке вскоре надоело, и он принялся за крупные магазины, склады и банки. С началом войны его дерзкие налеты стали еще масштабнее, агрессивнее и безжалостнее.

Любое сопротивление, будь то дворник, охранник или полицейский, подавлялось силой, то есть человека убивали. Потом стали убивать свидетелей, в том числе и случайных.

Сохранилась любопытная справка, составленная чекистами на основании изучения «подвигов» Кошелькова. Приведу ее без какой-либо правки:

«Этот смуглый, бритый, черноволосый человек с тяжелыми глазами отличался настоящей смелостью, исключительным присутствием духа и находчивостью. Вначале его деятельность жестокостью не отличалась и сравнительно мало выпячивала в нем: он убивал только в целях самозащиты. Но со временем развинченная психика дала о себе знать и он стал жестоким садистом, начав убивать ради убийства.

Его шайка рядом вооруженных нападений среди бела наводила панику на жителей Москвы и ее окрестностей. Свои разбойничьи налеты бандиты производили с неслыханной дерзостью и не считаясь с количеством жертв. Вот что они совершили в течение нескольких месяцев 1918 года.

1. Вооруженное ограбление Управления Виндаво-Рыбинской железной дороги. 2. Вооруженное ограбление типографии Сытина. 3. Нападение на 9-е почтовое отделение. 4. Ограбление двух заводов, кассира водокачки, кассирши Марковой и Замоскворецкого Совдепа. 5. Убийство и ограбление прохожих на Воздвиженке. 6. Убийство и ограбление артельщиков на Лосиноостровской.

За этой же бандой числится еще несколько убийств, ограблений и изнасилований, в том числе 12-летней девочки.

Чтобы навести ужас и панику, бандиты расстреляли на улицах Москвы 22 милиционера. Они же убили несколько сотрудников МЧК и Уголовного розыска. Забрав документы убитых сотрудников, бандиты использовали их в своих интересах: выдавая себя за сотрудников МЧК, произвели ряд обысков-ограблений в частных квартирах.

Наглость бандитов дошла до такой степени, что, предъявив документы сотрудников МЧК, они произвели обыски на заводах в присутствии значительного числа рабочих и представителей заводского комитета. Так было на Аффинажном заводе, где бандиты забрали около трех фунтов золота в слитках, три с половиной фунта платиновой проволоки и двадцать пять тысяч рублей деньгами.

Чувствуя, что его похождения рано или поздно закончатся, Кошельков ходил вооруженным до зубов, имея наготове два-три револьвера и несколько ручных бомб. В последнее время он стал настолько подозрителен, что, проходя по улицам и чувствуя на себе чей-нибудь пристальный взгляд, немедленно убивал случайного прохожего».

Вот с таким чудовищем и нравственным уродом судьба свела Ленина. Но перед этим та же судьба вырвала Кошелькова из рук чекистов, а стало быть, из рук правосудия и, в этом нет никаких сомнений, из лап смерти.

Дело было так. Один бандитский авторитет, который ходил под Кошельковым, надумал жениться. Так как Сенька контролировал Вязьму и ее окрестности, свадьбу решили справлять в Вязьме. Самым почетным гостем был, конечно же, Яшка. Шампанское, водка, коньяк и самогон лились рекой. Икру ели из тазов и ведер. Всяких там поросят, балыков и прочей снеди на столах стояло немерено. Наяривали оркестры, пели цыгане, отплясывали чечеточники.

И вдруг стрельба, пальба, крики «Руки вверх! Дом окружен! Выходить по одному!» Это местные чекисты, про-

слышав о бандитской свадьбе, решили накрыть всех преступников сразу. Надо же так случиться, что среди задержанных оказался и Яшка. Такая удача оперативникам и не снилась! Вяземских бандитов рассовали по местным тюрьмам, а Кошелькова в сопровождении трех чекистов решили доставить в Москву. Дождались ближайшего поезда, очистили от пассажиров целый вагон, втокнули туда связанного Яшку и помчались в Москву.

Яшка вел себя смирно, не грозился, не ругался, к тому же был под хмельком, поэтому руки ему развязали, но из купе не выпускали. А он и не рвался, так как знал, что в соседнем вагоне едут Конек и Лягушка — самые надежные его кореша, которые в беде его не оставят и что-нибудь да придумают.

И ведь придумали! На одной из станций Конек купил несколько караваев хлеба, выбрал из одного мякоть, вложил туда револьвер и искусно заделал отверстие. Когда приехали в Москву, Конек переоделся продавцом и пошел по перрону, продавая вяземские караваи. Поравнявшись с чекистами, которые вели снова связанного Яшку, Конек жалостливо спросил, нельзя ли продать хлебца арестанту. Чекисты разрешили и даже развязали Яшке руки, чтобы он мог достать из кармана деньги и расплатиться.

Полагая, что в столице Яшка от них никуда не денется, руки ему связывать не стали, а так как транспорта у них не было, на Лубянку его повели пешком. И вдруг на одном из самых людных перекрестков Мясницкой улицы Яшка разломил каравай, выхватил револьвер и начал стрелять. Двоих конвойных он убил на месте, третьего тяжело ранил. Откуда-то подлетел автомобиль, Яшка прыгнул на подножку и, стреляя в воздух и распугивая прохожих, умчался в неведомую даль.

В тот день, когда Владимир Ильич собирался в Сокольники, там же, в Сокольниках, в доме сапожника Демидова пьянствовала банда Кошелькова. Собрались почти все, но пятерым Яшка пить запретил. Они поняли, что предстоит серьезное дело, и на вожака не обижались. Эти пятеро были по уши в крови, они понимали, что в руки

милиции, а тем более ЧК им попадать нельзя, и потому безропотно шли за Яшкой, убивая направо и налево.

Встав из-за стола, Яшка поманил их в другую комнату. За ним пошли: Иван Волков (по кличке Конек), Василий Зайцев (он же Васька Заяц), Алексей Кириллов (Ленька-сапожник), Федор Алексеев (Лягушка) и Василий Михайлов (Васька Черный).

— По рюмашке я вам все же налью, — ухмыльнулся Яшка. — Давайте-ка за мое освобождение! С хлебом — это ты здорово придумал, — похлопал он по плечу Конька. — Молоток! А теперь о деле. Есть наводка на фартовый особнячок на Новинском бульваре. Придем туда с обыском как сотрудники угрозыска. Вещички, картины и антиквариат возьмем в качестве вещественных доказательств: у нас, мол, есть подозрение, что они ворованные. Будут возникать — мочить всех до одного. Свидетели нам не нужны.

— Отличная наколка, — потер руки Лягушка. — Я знаю одного барыгу, который за картины даст хорошие деньги.

— Но это не все, — перебил его Яшка. — В том же районе, на Плющихе, есть кооператив. Хороший кооператив, богатый. Оборот у них знатный. Сегодня утром получили деньги за какую-то сделку. Эти деньги должны попасть не в банк, а к нам.

— Сделаем, — ухмыльнулся Заяц. — Привычное дело.

— Значит, после особняка — напрямик в кооператив, — подвел итог Яшка. — Но есть одно «но», — досадливо крикнул он. — Трамваи туда не ходят, да и нам с мешками и чемоданами садиться в них нельзя, а концы, как видите, неблизкие. Топать пешком — сапоги жалко. Короче говоря, нужна машина. Своей у нас нет, значит...

— Значит, остановим первую попавшуюся, — подскочил Заяц. — Водителя и пассажиров вытряхнем к чертовой матери, я — за руль и айда на Новинку.

— Кто «за»? — осклабил Яшка. — Все? Надо же, какой дружный у нас коллектив. Васька! — совсем другим, командирским тоном обратился он к Михайлову. — Проверь оружие. У каждого. Чтобы не было осечек. Захвати



бомбы. По две на каждого. Что еще? — потер он лоб. — Да, йод, бинты. Но лучше, чтобы они не понадобились. Все, по коням! — резко встал он.

Машин тогда было мало, так что, пока увидели свет фар, бандиты успели изрядно продрогнуть. Но вот на трамвайных путях показались огни автомобиля. Бандиты выхватили револьверы и бросились наперерез. Первым их заметил шофер Ленина — Степан Гиль. Вот что он рассказывал несколько дней спустя:

«Мы ехали со скоростью 40—45 верст в час. Как только пересекли Садовую, я заметил троих, шедших по одному направлению с нами. Едва мы с ними поравнялись, как один подбежал сбоку и закричал: «Стойте!» В руке у него был револьвер. Я сразу сообразил, что это не патруль: человек хоть и в шинели, а винтовки нет. Патрульные всегда с винтовками и револьверов не вынимают. Ясно, что это были бандиты, — и я прибавил ходу.

Владимир Ильич тут же постучал в окно и спросил:

— Что случилось? Нам что-то кричали.

— Пьяные, — ответил я.

Тем временем мы миновали Николаевский вокзал. Едем по улице, которая ведет в Сокольники. Тьма — хоть глаз коли, но по рельсам я ехал довольно быстро. Вдруг, немного не доезжая пивного завода, бывшего Калинкина, на рельсы выскочили трое вооруженных маузерами людей и закричали: «Стой!»

На этот раз я немного замедлил ход. Посмотрел по сторонам — народу порядочно. Многие стали останавливаться, заинтересовавшись нашей встречей. Я решил не тормозить и проскочить между бандитами: в том, что это не патрульные, а бандиты, я не сомневался. Когда до них оставалось несколько шагов, я мгновенно увеличил скорость и бросил машину на них. Бандиты успели отскочить и стали кричать вслед: «Стой! Стрелять будем!»

.. Дорога в этом месте идет под уклон, и я успел взять разгон. Но Владимир Ильич постучал в окно и сказал:

— Товарищ Гиль, надо остановиться и узнать, что им надо. Может быть, это патруль?

А сзади бегут и кричат: «Стой! Стрелять будем!»

— Ну, вот видите, — сказал Ильич, — надо остановиться.

Я нехотя стал тормозить. К машине тут же подбежало несколько человек. Резко открывают дверцы и кричат:

— Выходи!

— В чем дело, товарищи? — спросил Ильич

— Не разговаривать. Выходи, тебе говорят!

Один из них, громадный, выше всех ростом, схватил Ильича за рукав и выдернул его из кабины. Мария Ильинична вышла из кабины сама.

— Что вы делаете? — гневно воскликнула она. — Как вы смеее так обращаться?

Но бандиты не обратили на нее никакого внимания. Моего помощника Ивана Чубарова тоже выдернули из машины и заставили стоять смирно.

Я смотрю на Владимира Ильича. Он стоит, держа в руках пропуск, а по бокам два бандита и оба, целясь в его голову, говорят:

— Не шевелись!

А напротив Ильича стоит тот громадный, как я понял, их главарь, с маузером в руке, направленным в грудь Ильича.

— Что вы делаете? — произнес Владимир Ильич. — Я — Ленин. Вот мой документ.

Как сказал он это, так у меня сердце и замерло. Все, думаю, погиб Владимир Ильич. Но то ли из-за шума работающего мотора, то ли из-за тугоухости бандит фамилию не расслышал — и это нас спасло.

— Черт с тобой, что ты Левин! — рявкнул он. — А я Кошельков — хозяин города ночью.

С этими словами он выхватил из рук Ильича пропуск, а потом, рванув за лацканы пальто, залез в боковой карман и вынул оттуда браунинг, бумажник, что-то еще — и все это засунул в свой карман.

Мария Ильинична продолжает протестовать, но на нее так цыкнули, что она замолчала. Чубаров, не шевелясь, стоит под дулом. А про меня как будто забыли. Сажу за рулем, держу наган и из-под левой руки целюсь в

главаря — он от меня буквально в двух шагах, так что промаха не будет. Но... Владимир Ильич стоит под дулами двух револьверов. И мне делается страшно: ведь после моего выстрела его уложат первым.

Через мгновение я получил удар в висок, и мне приказали выметаться из машины:

— Выходи! Чего сидишь?

Не успел я стать на подножку, как на мое место ловко вскочил бандит, остальные навели на нас револьверы и приказали не шевелиться. Потом они сели в машину и с большой скоростью понеслись к Сокольникам. Мы стояли как вкопанные. Прошла минута, две, а может быть, и пять... Первым пришел в себя Ильич.

— Да, ловко, — прошептал он. — Вооруженные люди и отдали машину. Стыдно!

Конечно же стыдно, о чем тут говорить! Но я думал о другом. Черт с ней, с машиной, решил я, надо спасать Ленина. Вокруг шастают какие-то темные личности, и одному богу ведомо, что у них на уме.

— Об этом поговорим после, — сказал я Ильичу. — А сейчас надо поскорей идти в Совет. Он тут неподалеку.

— Оружие у вас отобрали? — поинтересовался Ленин.

— У меня — нет, — ответил Чубаров.

— И мой браунинг на месте, — похлопал я себя по карману.

— Тогда остановите любую встречную машину и отправляйтесь догонять бандитов, — приказал Ленин. — А мы с Марией Ильиничной пойдем в Совет.

Я так и сделал. Но «санитарка», которую мы остановили, была такая ветхая, к тому же работала на газолине, что ни о какой погоне не могло быть и речи. Я так и сказал Ленину:

— Моя машина в три раза сильнее. И горючее там хорошее. Резина здесь вообще ни к черту. Мы их никогда не догоним.

— Так что же делать? Подарим машину бандитам? — с ехидцей спросил Ленин.

— Ни за что! — скрежетнул я зубами. — Через день-другой мы ее найдем.

— Почему вы так уверенно говорите?

— Потому, что дороги совершенно непроезжие. За город им не уехать, а в Москве можно ездить только по трамвайным путям. Выставим патрули и этих голубчиков схватим. К тому же моя машина слишком заметная, таких в Москве больше нет. Ни есть, ни пить, ни спать не буду, пока не найду машину! — поклялся я. — Я же там каждый винтик, каждую гаечку своими руками... А-а, да что там говорить!

— Ну-ну, — усмехнулся Ильич. — Дай-то бог... Тогда пошли в Совет».

Но на этом злоключения Ленина и его спутников не закончились. Время было позднее, сотрудники разошлись по домам, а стоящий у дверей часовой оказался простым деревенским парнем, который не то что живого Ленина, а даже портрета его не видел. Он взял винтовку наизготовку, передернул затвор, закричал, что народу здесь шляется много, а раз у этого старика нет мандата, на порог Совета он его не пустит.

— Да Ленин я, Ленин, — устало убеждал Ильич. — Хотя доказать этого не могу, — обреченно добавил он. — С нами случилась беда: какие-то люди остановили машину, выбросили нас вон и забрали все документы.

— Что ты мне поешь, дедуля? — расхохотался часовой. — Чтобы Ленина выбросили из машины?! А где же охрана? Где Дзержинский? Да наш вождь, поди, и спит-то рядом с чекистом, особенно после того, как его ранили.

— Да нет, — несколько опешил Ленин, — спит он, то есть я сплю не рядом с чекистом. А вот насчет охраны вы правы, — покосился он на Гиля и Чубарова, — она оказалась не на высоте.

— А я что говорю, — продолжал гнуть свою линию часовой. — Куда смотрели эти два бугая? — кивнул он на Гиля и Чубарова. — Карманы-то оттопырены, и там, скорее всего, не картошка.

— Не картошка, — согласно кивнул Ленин. — Но слу-

чилось то, что случилось. Так что же нам все-таки делать? В здание Совета вы нас решительно не пустите?

— Не пушу!

— Слушай, парень, — решил вмешаться Гиль. — Телефон тут у вас есть?

— А как же, — важно ответил он. — И телефон есть, и дежурный телефонист.

— Позови его, а? Скажи, что его требуют из Совнаркома. Илипусти меня. Я сделаю всего два звонка: в гараж и на Лубянку.

— Пустить не могу, а телефониста, так и быть, вызову.

Пока часовой ходил за телефонистом, Гиль нервно поглядывал на часы. Он прикидывал, как далеко за эти минуты могли угнать его машину, между тем как машина не удалялась, а с ужасающей скоростью приближалась. В эти минуты в самом прямом смысле слова решалась судьба Ленина: чем дольше он стоял у двери Совета, тем ближе он был к той роковой черте, за которой уже ничего нет.

Как только появился телефонист, Гиль потрянул его за воротник и потребовал, чтобы, во-первых, всю группу немедленно пропустили внутрь, во-вторых, проводили его к телефону и, в-третьих, немедленно нашли председателя Совета.

— Дайте ВЧК, — потребовал Гиль у телефонной барышни.

— ВЧК слушает.

— Говорит Гиль. Соедините с Петерсом.

— Петерс у телефона.

— Товарищ Петерс, говорит Гиль — шофер Владимира Ильича. На нас совершено нападение. Нет-нет, он жив. Все в порядке. Но машину у нас забрали. Кто? Какие-то бандиты. Мы в Сокольниках, в помещении Совета. Здесь всего один часовой, так что необходима помощь. Вы хотите убедиться, что с Лениным ничего не произошло? Хорошо, передаю ему трубку.

Пока Ленин говорил с Петерсом, Гиль связался с гаражом и попросил выслать три машины с латышскими стрелками. И на Лубянке, и в Кремле поднялась невооб-

разимая суматоха: по тревоге поднимали целые батальоны, которые перекрывали все выезды из Москвы и патрулировали улицы и переулки.

А тем временем к зданию Совета на бешеной скорости неслась машина Гиль. Дело в том, что после захвата автомобиля и ограбления пассажиров Заяц притормозил и Конек начал рассматривать трофеи.

— В бумажнике одна мелочь, — хмыкнул он. — А вот документы... Мать твою так! — заорал он. — Да это никакой не Левин. Это Ле-нин, — произнес он по слогам.

— Как так — Ленин? — не поверил Кошельков. — Однофамилец, что ли?

— Какой там однофамилец?! Написано же: Председатель Совета Народных Комиссаров.

— Не может быть! Неужели я держал за фалды самого Ленина?! Ну и балда же я! Ну и дубина! — сокрушался Кошельков. — Если бы мы его взяли, нам бы столько деньжищ отвалили! За такого-то заложника, а? И всю Бутырку — на волю! Такими будут наши условия. Поворачивай! — ткнул он в плечо Зайца. — Ленина надо найти. Такой фарт упускать нельзя. Он где-то тут, близко. Далеко уйти они не могли.

Прыгая по сугробам и визжа на рельсах, машина понеслась назад. У пивного завода — ни души.

— Они в Совете, — догадался Кошельков. — Больше им деваться некуда. Гони к Совету! — приказал он Зайцу.

— А не опасно? — усомнился Лягушка. — Там охрана.

— Перебьем! — многообещающе осклабился Кошельков. — Не впервой. Приготовить бомбы!

Тем временем, будто предчувствуя что-то недоброе, Гиль попросил наглухо закрыть дверь Совета. Часовой наконец понял, с кем имеет дело, пошел было извиняться, но прибежавший председатель Совета приказал ему стоять на посту и не спускать глаз с дороги. А Гиль, которого не покидало чувство вины, решил объясниться с Лениным.

— Владимир Ильич, — начал он издали, — полчаса назад вы сказали, что мы, вооруженные люди, ни за что ни про что отдали машину. Так?

— Так. И это стыдно!

— Но ведь у нас не было другого выхода! — в отчаянии воскликнул Гиль. — Вы стояли под дулами двух револьверов и одного маузера. Я мог стрелять и их главаря уложил бы наповал. Но после моего выстрела начали бы палить те двое, что держали револьверы у вашей головы. И чего бы мы добились? Прикончив вас, чтобы не оставлять свидетелей, они убили бы и Марию Ильиничну, и нас с Иваном. Вот почему я не стрелял. К тому же я понимал, что им нужны не мы, а наша машина. Черт с ней, с машиной, рано или поздно мы ее найдем. Главное, что никто не пострадал и все живы-здоровы.

Ленин подошел вплотную к Гилю, пытливо посмотрел ему в глаза, постоял минуту-другую, покачиваясь с носков на пятки, и решительно заявил:

— А вы молодец, товарищ Гиль. Умеете мыслить стратегически. Это хорошо. Это очень хорошо! Вы правы: силой мы бы ничего не добились, она была не на нашей стороне. Мы уцелели только потому, что не сопротивлялись. Дайте-ка я пожму вашу руку.

Смущенный Гиль протянул руку, но тут раздался такой заполошный стук в дверь, что он выхватил револьвер и побежал к замершему от страха часовому. Увидев знакомые лица, Гиль облегченно вздохнул и распахнул дверь.

А тем временем с противоположной стороны подлетел автомобиль с бандитами.

— Он наш! — обрадовался Кошельков. — Даже дверь открыта.

Но Заяц, вместо того чтобы тормозить, прибавил газу.

— Ты что, очумел? — заорал Кошельков.

— Опоздали, — односложно бросил Заяц и вильнул в сторону.

Кошельков инстинктивно вжался в сиденье: в свете фар мелькнули три автомобиля, из которых выпрыгивали чекисты и вооруженные карабинами латыши.

— Да, карта пошла не та, — как-то сразу успокоился Кошельков. — Ну ничего, пусть не сам Ленин, так хоть его браунинг у меня есть. Постреляем от имени вождя мировой революции. Гони на Плющиху! Будем брать кооператив.

Удивительное дело, но, побывав на волосок от смерти, Ленин не вернулся в Кремль, не вызвал Дзержинского и Петерса, не приказал им любой ценой найти и наказать бандитов, а поехал в лесную школу, где его ждали взволнованные предстоящим праздником дети.

Тем временем не находивший себе места Бонч-Бруевич решил ехать навстречу Ленину.

«Дорога тут одна, — думал он, — если что-то с машиной, пересажу Ильича в нашу, а Гиль пусть занимается ремонтом. Но чуется мое сердце, ох чуется, что дело тут не в машине. И дернула же меня нелегкая сказать Ильичу об этой школе! Сидел бы он сейчас в Кремле, я — в соседнем кабинете, и не было бы никаких забот. Все, больше я ждать не могу!»

Но у двери он, можно сказать, нос к носу столкнулся с Лениным и его сестрой.

— Слава тебе господи, — машинально перекрестился Бонч-Бруевич. — Что случилось? Где вы пропадали?

— Потом, — отмахнулся Ленин. — Я понимаю, вы тут переволновались... Где Надя? Как она?

— Наверху. В своей комнате. Волнуется, как и все.

— Ты иди к ней, — попросил он Марию Ильиничну. — Успокой. Но ничего не рассказывай. Я поднимусь позже и все расскажу сам.

— Так, значит, что-то все-таки случилось? — полутвердительно спросил Бонч-Бруевич.

— Случилось, Владимир Дмитриевич, еще как случилось! — бесшабашно ответил Ленин. — Нас остановили вооруженные бандиты, наставили на нас револьверы, отняли машину, отобрали документы и бросили нас на дороге.

— Где, где это случилось? — похолодел Бонч-Бруевич.

— Недалеко отсюда, где-то возле Совета. Но мы-то хороши! — улыбаясь, продолжал он. — Трое взрослых мужчин, у всех есть оружие — и отдали машину без всякого сопротивления. А у меня и браунинг забрали, — развел он руками. — Так-то вот. А вы говорите...

— Н-н-ничего я не говорю, — почему-то заикаясь, вымолвил Бонч-Бруевич, представив эту картину. — Там



было очень темно? Они вас не узнали? — радуясь тому, что это были бандиты, а не эсеры или белогвардейцы, которые, конечно же, в живых Ленина ни за что бы не оставили.

— Мало того, что не узнали, — смеясь, продолжал Ленин. — Когда я им представился, их главарь почему-то назвал меня Левиным, а себя хозяином Москвы ночью.

— Кем-кем? — проснулся в Бонч-Бруевиче руководитель 75 кабинета.

— Ни много ни мало — хозяином Москвы ночью.

— Ну мы этого хозяина прищучим! — стукнул по столу Бонч-Бруевич. — Ну он у нас попляшет!

— Думаете, что сможете его поймать? — недоверчиво уточнил Ленин.

— Уверен! Они крутятся где-то в Москве. Сейчас же пошлем патрули, выставим заставы, организуем засады. Мы их поймаем! А не поймаем, так расстреляем, — добавил он после паузы.

— Что ж, действуйте, Владимир Дмитриевич, а я пойду к Наде. Да и детишки заждались: пора открывать праздник.

И тут на пороге вырос заиндеветший Гиль.

— Владимир Ильич, — виновато сказал он, — разрешите мне присоединиться к отряду, который будет заниматься поиском машины. А то как-то неловко получается: сотни людей ищут мою машину, а я сижу без дела.

— Да-да, товарищ Гиль, немедленно отправляйтесь на розыски автомобиля. И без машины домой не являйтесь! — полушутя-полусерьезно распорядился Ленин и отправился в зал, где сверкала огнями красиво убранная новогодняя елка.

Потом были хороводы, песни, шутки, вручения подарков, веселое чаепитие — и только в десять вечера, когда дети начали клевать носами, решили закругляться и ехать в Кремль. На этот раз Ленин сел в машину Бонч-Бруевича, а прибывшая охрана ехала сзади. И надо же так случиться, что, когда кортеж не проехал и километра, сзади раздался сухой выстрел! Шофер ударил по газам.

Бонч-Бруевич схватился за револьвер. А Ленин иронически рассмеялся:

— Да не выстрел это. Даже я понял, что у машины охраны лопнула шина. Эх вы, защитнички!

Через полчаса Ленин был в Кремле. А Гиль мотался по городу в поисках своей машины. Он мотался по трамвайным путям, колесил по центру города, заглядывал в глухие переулки, но машина как в воду канула. И она действительно чуть было не канула в воду Москвы-реки. Вот что Гиль докладывал об этой операции, когда все было позади:

«Проводив Владимира Ильича, я дождался нашего автобоевого отряда, который на двух машинах прибыл мне на помощь. Мы нашли след моего автомобиля и бросились вперед. Но на Сокольническом кругу след потеряли. Куда ехать дальше? Решили разделиться: две машины должны были прочесать парк, а мы двинулись в сторону Бахрушинской больницы. Там встретили патрульную машину с красноармейцами, которые сказали, что обследовали весь этот район и ни автомобиля, ни чего другого подозрительного не обнаружили, так что ехать дальше не имеет смысла.

Тогда мы решили ехать в центр, причем по разным дорогам. Нас часто останавливали патрули, мы видели, что повсюду выставлены конные и пешие заставы, и это радовало, это сводило шансы бандитов к нулю.

И вдруг около Крымского моста послышалась стрельба! Мы тут же бросились туда. Подъезжаем и видим: накренившись на левый бок, стоит моя машина. Колеса зарылись в снег. А сзади, у бензинового бака, лежит убитый милиционер. Спереди, в свете фар, лежал убитый курсант-артиллерист. Шинель расстегнута. Ремни амуниции разорваны, и револьвера нет. Ясно, что это дело рук бандитов. Были и раненые, которые пострадали от отстреливавшихся бандитов.

Мы стали вырывать машину. Наши ребята из боевого отряда принялись ее откапывать и с помощью красноармейцев выкатили на твердую дорогу. Машина оказалась в порядке. Мы тщательно ее осмотрели и нашли корзину с

вещами: оказывается, пока мы искали бандитов, они успели совершить несколько ограблений.

Вещи мы передали подоспевшим представителям ВЧК. А я сел в машину и поехал в гараж. Оттуда позвонил Владимиру Ильичу и сообщил, что машина дома. Он еще пошутил и сказал, что раз машина дома, то и я могу возвращаться домой».

## *Глава 2*

### **«Мне ненавистно счастье людей»**

И чекисты, и работники угрозыска очень болезненно переживали историю с ограблением Ленина. Одно дело, когда покушения на жизнь вождя организуют представители международного империализма, когда в это замешаны Париж или Лондон, и совсем другое — не уберечь Ленина от российских бандитов. Это было такой громкой пощечиной, что, едва придя в себя, чекисты поклялись не есть, не пить и не спать, пока не поймают Яшку Кошелькова.

Первым на тропу войны вышел начальник Особой ударной группы МЧК и Уголовного розыска по борьбе с бандитизмом Федор Мартынов.

Как ни трудно в это поверить, но в революцию он пришел в 12-летнем возрасте. В 1905-м, когда гремели бои на Красной Пресне, только что выгнанный из школы за распространение листовок сын рабочего-текстильщика стал самым настоящим московским Гаврошем. Юркий, смелый и вездесущий Федька то клянчил денежку у казаков, то шнырял возле артиллеристов, то ел солдатскую кашу вместе с пехотинцами, а потом пробирался в штаб Краснопресненской боевой дружины и как настоящий разведчик докладывал, где и какие силы стоят против восставших рабочих. Ценность этой информации была так велика, что во время перестрелок юного разведчика всячески оберегали, а как только смолкала стрельба, снова отправляли в тыл противника.

Когда восстание было подавлено и начались массо-

вые аресты, московского Гавроша никто не выдал и он благополучно дожил до начала Первой мировой войны. Потом были окопы, наступления, отступления, участие в Февральской, а потом и в Октябрьской революции, вступление в партию большевиков и приглашение в ВЧК. Федор думал, что будет бороться с эсерами, анархистами или с белогвардейскими разведчиками, а его бросили на борьбу с ворами, спекулянтами и отпетыми бандитами.

Много позже, когда его именем будут пугать не только московских, но и ростовских, крымских, одесских, киевских, бакинских, брянских и николаевских грабителей, воров и налетчиков, когда Федор Мартынов будет награжден двумя орденами Красного Знамени и станет признанным авторитетом в деле борьбы с бандитизмом, он всегда будет говорить, что самым главным и самым значимым делом своей жизни считает работу в составе Особой ударной группы МЧК, и прежде всего операцию по разгрому банды Кошелькова и уничтожению самого Яшки.

Работы у этой группы было невпроворот — в эти годы Москва стала негласной столицей грабителей и головорезов и была буквально наводнена всякого рода бандитскими шайками. Виновато в этом было, прежде всего, Временное правительство, которое после Февральской революции объявило всеобщую амнистию, в результате которой на воле оказались не только «политические», но и отпетые бандиты. Они никого и ничего не боялись, вели себя нагло и оружие пускали в ход не только в случае необходимости, но и ради забавы.

Например, некто Сафонов, по кличке Сабан, сколотил группу из тридцати четырех человек, в состав которой входили высококвалифицированные преступники с богатым уголовным прошлым и имевшие приговоры по несколько десятков лет каторжных работ. Мало того, что они грабили банки, фабрики и заводы, убивая при этом кассиров, охранников и случайных прохожих, эти громилы забавы ради могли себе позволить и такое: вышвырнув из проезжавшего автомобиля водителя и пассажиров,

сажали своего шофера, а сами, похохатывая, дефилировали по Воздвиженке, по пути останавливая прохожих, отнимая все более или менее ценное и раздевая их чуть ли не догола. Одежду складывали в машину, двигавшуюся следом, и бандиты, скаля зубы, предлагали своим жертвам выкупить брюки или платье. Когда у Моховой их попытались остановить милиционеры, бандиты хладнокровно их убили и двинулись дальше.

Несколько позже, когда в перестрелке с милиционерами погиб один из членов его банды, Сабан объявил московской милиции самую настоящую войну: в течение одного дня убил шестнадцать постовых милиционеров. Причем делал это подло и цинично: подъезжал на машине к постовому, спрашивал, как проехать на ту или иную улицу, и, пока тот объяснял, стрелял ему в голову.

Так продолжалось довольно долго, пока за Сабана не взялась Особая ударная группа Мартынова. Банда была уничтожена, но Сабан прорвался сквозь оцепление и бежал в небольшой городок Лебедянь, где скрывался у родной сестры. Но его достали и там. Уходя от преследования, этот вурдалак зачем-то вырезал всю семью сестры — восемь человек, отчаянно отстреливался, но был схвачен и после быстрого суда расстрелян.

Только-только покончили с Сабаном, как пришлось заниматься Кошельковым. Что собой представляет банда Кошелькова, Федор Мартынов установил довольно быстро: в ней восемнадцать человек, все отпетые бандиты, ни во что не ставящие человеческую жизнь. Действуют они нагло, но не так вызывающе открыто, как Сабан. Светиться не любят, поэтому гулянки закатывают не в ресторанах и кабаках, а на квартирах, где живут их доверенные лица, — перекупщики, барыги и спекулянты.

Значит, надо искать эти квартиры, решил Мартынов. Взяв с собой Лебедева, одного из самых толковых сотрудников, и должным образом одевшись, Мартынов пошел в разведку по кабакам и притонам столицы. В одном из трактиров в Сокольниках чекисты обратили внимание на

группу франтовато одетых парней. Приблатненный вид, воровской жаргон — все ясно, карманные вору.

Мартынов и Лебедев заняли соседний столик, заказали выпивку и начали разговаривать на воровском жаргоне. Причем говорили нарочито громко, и все время о больших деньгах, которые держат при себе и которые надо побыстрее отдать, а за ними почему-то не пришли.

Воры насторожились.

— Ну, Конек! Ну, падлан! — горячился между тем изображавший блатного парня Мартынов. — Бабки стоят столбом, все в банковской упаковке. Не приведи бог, нагрянут менты и начнут шмонать. Тогда нам хана. Всем хана!

— Да ладно тебе, — успокаивал Лебедев. — Сказал, что придет, значит, придет. Мало ли что... Конек — братан надежный.

— И кого это вы, парни, ищите? — клянул, наконец, один из воров.

— А ты что, всех знаешь?

— Ну, всех не всех, а кое с кем иногда кирую.

— Тогда помоги... Слушай, — понизил голос Мартынов, — тут такое дело — Конек позарез нужен. Знаешь его?

— Да кто ж его не знает?! А что случилось?

— Деньги мы ему должны передать. Должок вернуть.

— И много денег?

— Много... Но на выпивку останется.

— Заказывай! — одобрительно загудели воры и придвинули свой столик.

Часа через два изрядно захмелевшие карманники заявили, что теперь самое время идти в баню.

— В какую баню? — не сразу сообразил Мартынов. — Зачем в баню?

— Ты кого хотел видеть — Конька? Так он сейчас в бане. На Пресне самая клевая баня. Конек ходит только туда.

О том, что было дальше, Федор Мартынов изложил в составленной в тот же вечер докладной записке:

«До Пресни домчались на извозчике. С полчаса торчали около бани. Никого! А я-то, дурак, поверил, да еще

на всякий случай прихватил нашего сотрудника Каузова. И вдруг подъезжает лихач! В коляске — четверо хорошо одетых мужчин. В одном из них я узнал Конька. Размышлять было некогда: я тут же выхватил маузер, а коня схватил под уздцы. Лебедев и Каузов подскочили сбоку и под угрозой оружия приказали поднять руки вверх. Бандиты подчинились.

В их карманах мы нашли револьверы, а под сиденьем — бомбы и еще два нагана. Кроме Конька среди бандитов оказались: Лягушка, Васька Черный и Ахмед. В ЧК мы им популярно объяснили, что их подвиги нам хорошо известны и всех их ждет расстрел. Спасти может только помощь в поимке Кошелькова. Бандиты долго колебались, но в конце концов Васька дал адрес на Брестской улице.

Мы тут же организовали засаду. Но Кошельков нас перехитрил: прежде чем войти в дом, он послал на разведку Леньку-сапожника. Леньку мы, конечно, взяли, но, когда стали его выводить, сами напоролись на засаду, устроенную Кошельковым. Двое наших сотрудников ранены, а один убит. Ленька же ушел».

Судя по всему, Яшка не испугался Мартынова, больше того — он принял его вызов и перешел в наступление. Проведав каким-то образом, что сотрудник Особой ударной группы Ведерников сел ему на хвост, Кошельков явился к нему на квартиру, в присутствии всей его семьи устроил показательный суд, вынес смертный приговор и тут же Ведерникова расстрелял.

Осатаневшие от такой наглости чекисты усилили поиски и 10 мая напали на след Кошелькова: в окружении своей «гвардии» он сидел в кофейне у Пречистенских ворот. Решили его брать на месте. Но приказание «Руки вверх!» бандиты выполнять не собирались и открыли ураганный огонь из маузеров и револьверов. Кошельков швырнул бомбу, чекисты бросились на пол, а он выскочил за дверь, вскочил на поджидавшего лихача и скрылся в темных переулках.

Прошла неделя, и Мартынов снова вышел на след Кошелькова: на этот раз его застукали в притоне, расположенном в Конюшковском переулке. Квартиру окружили двойным кольцом, перекрыли все пути отступления и только после этого, сказав, что пришли с почты и принесли заказное письмо, постучали в дверь. Дверь тут же открылась — и полетел такой град пуль, что люди Мартынова вынуждены были залечь. Воспользовавшись заминкой, Кошельков выбил окно, выскочил во двор — и был таков.

Группа Мартынова несла потери, все больше было убитых и раненых, а неуловимый Кошельков продолжал водить их за нос. Весь город был в ловушках и засадах, чекисты сидели во всех притонах, кабаках и «малинах», казалось, вот-вот Кошельков будет в их руках, но каждый раз он оказывался изворотливее, удачливее, хитрее — и уходил.

Однажды на него напоролись совершенно случайно: пришли за крупным спекулянтom сахаром, а Кошельков был у него в гостях. Яшка заметил подходящих к дому чекистов и в тот момент, когда они входили в дом, через черный ход выбрался на улицу. Там он нос к носу столкнулся с находящимися в засаде молодыми сотрудниками. Когда перед ними внезапно появился представительный, одетый в добротную серую шинель и мерлушковую папаху начальственного вида человек, они так заробели, что не могли вымолвить ни слова. Кошельков мигом сообразил, что перед ним простые деревенские парни, скорее всего вчерашние солдаты, привыкшие тянуться в струнку перед начальством, и тут же воспользовался сложившейся ситуацией.

— Кто такие? — грозно накинулся он на молодых чекистов. — Кого ждете? От какого работаете отделения? Покажите документы!

— А вы... Вы кто? — робко поинтересовались растерявшиеся парни.

— Я? Вы что же, не знаете в лицо заместителя председателя ВЧК Дзержинского? Я — Петерс! — властно представился он.



Оперативники, ни разу не видевшие такого большого начальника, безропотно отдали документы. Кошельков внимательно их прочитал, положил в карман, а потом достал револьвер и хладнокровно пристрелил обоих чекистов.

Теперь, когда у Кошелькова были подлинные удостоверения сотрудников ЧК, он начал действовать еще более нагло. Представляясь сотрудником ЧК Караваевым и в случае необходимости предъявляя соответствующий мандат, он не моргнув глазом останавливал для проверки документов даже военных. Затем, уверяя, что их оружие ворованное, и обещая вернуть после проверки, отбирал у них маузеры и револьверы.

С этим же мандатом он начальственно входил в богатые квартиры и еще сохранившиеся особняки, заявляя, что имеет приказ произвести обыск и изъять добытые путем эксплуатации трудящихся ценности. Если хозяин или хозяйка просили предъявить ордер на обыск, Яшка доставал револьвер и хладнокровно убивал жертву.

Теперь, когда на Лубянку посыпались жалобы на чекистов, занимающихся убийствами и грабежами, Мартынова вызвали на ковер и потребовали принять самые решительные меры в отношении банды Кошелькова. Ведь бандит не только чуть не убил Ленина, но и, завладев документами сотрудника ЧК и совершая преступления от имени ЧК, в глазах народа компрометирует всю Всероссийскую чрезвычайную комиссию.

Получив чрезвычайные полномочия, Федор Мартынов снова занялся выслеживанием Кошелькова и организацией засад в «малинах» и притонах.

Результат — нулевой, схватить Яшку не было никакой возможности. Кто знает, сколько бы еще недель, месяцев или лет продолжалась эта история, если бы не неожиданная помощь со стороны начальника Активного отделения Особого отдела ВЧК Артура Христиановича Артузова.

Этот замечательный человек, проживший недолгую, но полную удивительных приключений, трагическую жизнь, заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее.

Артур, сын швейцарского сыровара Христиана Фраучи, прибывшего в Россию в середине XIX века, и латышки Августы Дидрикиль, родился в селе Устинове Тверской губернии. Блестяще окончив Новгородскую гимназию, он поступил в Петроградский политехнический институт и в 1917-м окончил его «со званием инженера-металлурга». По окончании института работал в Metallургическом бюро всемирно известного ученого Грум-Гржимайло сначала в Нижнем Тагиле, а потом в Петрограде.

И работать бы Артуру у этого профессора и дальше, но... Был в их семье злой гений, который сбил с истинного пути не только Артура, но и других близких и дальних родственников. Речь идет об известном революционере и большевике Михаиле Кедрове, который был мужем родной сестры матери Артура. Ее вторая сестра была замужем за другим не менее известным борцом и ниспровергателем Николаем Подвойским. Так что деваться Артуру было просто некуда — еще в студенческие годы оба родственника втянули его в революционное движение.

Особенно активным в этом отношении был Кедров, он дал племяннику рекомендацию в партию, а потом благословил и на работу в ЧК: будучи руководителем Особого отдела ВЧК, взял к себе Артура, который до этого побывал и командиром партизанского отряда подрывников, и начальником военно-осведомительного бюро, и секретарем комиссии по демобилизации старой армии. Именно в эти дни, как писал позже в анкете Артур, он «инострannую фамилию Фраучи, которую матросы и красноармейцы забывали и перевирали, заменил на русскую Артузов, которая легко запоминалась».

Поручиться-то Кедров за Артура поручился, но двадцать лет спустя с необычайной легкостью отрекся от любимого племянника и «сдал» его лефортовским костоломам. Такие тогда были времена, такие нравы: предательство и доноительство считались нормой жизни. «Оснований не доверять Артузову политически у меня было

достаточно, но разглядеть в нем предателя я все-таки не сумел», — написал Михаил Кедров недрогнувшей рукой. Что это, как не донос, не попытка ценой чужой жизни спасти свою? Не помогло. И Михаила Кедрова, и его сына расстреляли.

А знаете, кого Кедров называл предателем, а его коллеги с Лубянки шпионом четырех держав? Артузова, который разработал и блистательно провел операции «Трест» и «Синдикат»! Артузова, который заманил в пределы России таких асов разведки и террора, как Борис Савинков и Сидней Рейли! Артузова, который предложил вербовать агентов не среди английских коммунистов, а в среде золотого фонда Британской империи — выпускников Кембриджа!

Доверием Артур Христианович пользовался безграничным. Дзержинский называл его «честнейшим товарищем, которому я не могу не верить, как себе». В тридцатые годы Артузов руководил Иностранным отделом ОГПУ—НКВД и одновременно был заместителем начальника Разведуправления РККА. Но в 1937-м он впал в немилость, был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Англии, Франции, Германии и Польши одновременно и расстрелян.

А тогда, в 1919-м, Яшку Кошелькова ни за что бы не поймали, если бы не острый глаз и профессиональное чутье будущего аса разведки.

Как начинающему чекисту Артузову поручили дело по обвинению одиннадцати сотрудников Российского телеграфного агентства (РОСТА) в подделке документов и торговле кокаином. По всей России гремит война, в обеих столицах его товарищи разоблачают бесчисленные заговоры белогвардейцев, идут под пули террористов, а тут — какая-то интеллигентская шпана, подделывающая пропуска и торгующая кокаином!

С большой неохотой взялся Артузов за это дело. Бесконечные допросы смазливых девиц, художников и журналистов ничего, кроме отвращения, не вызывали. В соответствии с существовавшими тогда правилами допрос

начинался с банального вопроса: «Знаете ли вы, за что вас арестовали?» И вдруг, вместо того чтобы ответить, что понятия, мол, не имею или, извините, гражданин начальник, нечистый попутал, больше я кокаин нюхать не буду, молоденькая конторщица Ольга Федорова, гордо вскинув хорошенькую головку, заявила:

— Причиной моего ареста считаю мое знакомство с известным бандитом Яковом Кошельковым. Он приходил к нам домой пить чай, а четвертого июня остался у меня ночевать.

От такого неожиданного признания Артузов потерял дар речи. В бандитских, а через внедренную агентуру и в чекистских кругах хорошо знали, что Яшка без ума влюблен, что сияет как медный пятак, что объявил о предстоящей свадьбе и пишет невесте страстные письма. Но кто она, кого Кошельков удостоил своим восторженным вниманием, было большой тайной.

— А... а как вы с ним познакомились? — боясь спугнуть удачу, начал издалека Артузов.

— Я хорошо помню этот день, — томно закатила глаза конторщица. — Это случилось двадцать пятого мая на станции Владычно, что в девяти верстах от Москвы. Было тепло и солнечно. На соседней даче играл граммофон: пел, кажется, Вертинский. Я была в новом платье — знаете, такое с оборочками и с коротенькими рукавчиками.

«Да черт бы тебя побрал с этими оборочками и рукавчиками!» — кричала душа Артузова. Но он понимал, что девицу надо как-то к себе расположить, поэтому заинтересованно расспрашивал о фасоне платья и цвете туфель.

— Представляю, какое вы произвели впечатление на Кошелькова! — с притворным восхищением воскликнул Артузов. — Он что, подошел к вам сам?

— Ну что вы! За кого вы его принимаете? Он человек воспитанный и благородный, — обиделась за Яшку девица. — Нас познакомил мой брат Сергей. Я тогда страшно удивилась, что молодой представительный мужчина отрекомендовался комиссаром Караваевым и даже показал удостоверение.

— Караваевым? — дрогнувшим голосом уточнил Артузов, тут же вспомнив об одном из убитых Кошельковым чекистов. — А почему вы удивились?

— Не такой человек мой брат Сергей, чтобы водиться с комиссарами, — усмехнулась Ольга. — Чтобы не загреметь в кутузку, он держится от них подальше.

— Так-так, — взял на заметку криминального братца Артузов. — И что же Караваев? Что было дальше?

— Потом пошли к нам на дачу.

— Зачем?

— Как зачем? В гости. Пили чай, разговаривали...

— И все?

— Нет, не все, — игриво вскинула головку Ольга. — Он начал за мной ухаживать, и мы стали встречаться. А что? — заметив осуждение во взгляде Артузова, продолжала она. — Человек он очень практичный, вежливый и внимательный, в общении мягкий и заботливый. К тому же знает иностранные языки. Да-да! — ревниво повысила она голос. — Я сама слышала, как в ресторане он что-то заказывал по-французски, по-немецки и даже по-татарски. А еще он очень начитан: не раз декламировал что-то из Блока, Есенина и Маяковского.

— Значит, вам с ним было интересно?

— Очень интересно!

— А когда вы узнали, что он не Караваев, а Кошельков? — подобрался, наконец, к главному Артузов.

— Практически в день знакомства. Вернее, в ночь, — с вызовом уточнила она.

— То есть вы хотите сказать...

— Да, я хочу сказать, что в первую же ночь он остался у меня, — еще более вызывающе ответила Ольга. — И что?

— Ничего, — пожал плечами Артузов. — Меня интересует только одно: изменилось ли ваше отношение к нему после того, как вы узнали, что он не Караваев, а Кошельков.

— Нисколько! А если и изменилось, то в лучшую сторону. Тем более что он мне доверился, открыв одну страшную тайну.

— Какую? — встрепенулся Артузов.

— Он рассказал, — почему-то понизила голос Ольга, — про случай задержания Ленина. Как он его высадил из автомобиля, как обыскал и как забрал браунинг.

— Стоп! — прихлопнул папку Артузов. — Допрос окончен. Продолжим завтра.

Об Ольге Федоровой и ее сенсационных показаниях немедленно было доложено руководству ВЧК. В Бутырку, где она сидела, тут же примчался Федор Мартынов, имеющий полномочия обещать Ольге все что угодно, лишь бы она вывела на Кошелькова.

Мартынов не стал ходить вокруг да около, а вопрос поставил ребром: или Ольга помогает выйти на Кошелькова и отправляется на свободу, или получает десять лет лагерей.

— Десять лет... — вздохнула конторщица. — Сейчас мне двадцать, — загнула она наманикюренный пальчик, — значит, домой вернусь, когда мне стукнет тридцать. Старуха! Кому я буду нужна?! А вся моя молодость пройдет за решеткой? Нет, я на это не согласна!

— Вот и подумай, — гнул свою линию Мартынов. — Чего ради страдать из-за какого-то бандита?

— Он не какой-то, — обиделась Ольга. — Он меня любит.

— Сегодня — тебя, завтра — другую, — презрительно бросил Мартынов. — Мы-то его замашки знаем, мы знаем всех его марух. Думаешь, весь этот месяц он встречался только с тобой? — решил сыграть на ревности глупенькой девчонки Мартынов. — А кто подарил Верке-балерине каракулевую шубу? А откуда у Нинки-маникюрши новые туфли?

Мартынов знал, что с Веркой Ольга знакома, а к Нинке ходит делать маникюр, но вот есть ли у них туфли и шуба, понятия не имел, зато он хорошо знал, что ревнуют, как правило, не к неведомым красоткам, а к лучшим подругам. Расчет оказался верным.

— Что-о-о? — взвилась Ольга. — Верке — шубу? Этой лахудре с торчащими лопатками он подарил каракулевую

шубу? А я хожу в беличьей?! А Нинка, вот стерва, а! Со мной сю-сю, «моя дорогая подружка», а сама за какие-то туфли прыгнула в постель к бандиту. А что, — окончательно разозлилась она, — вы думаете, он эту шубу купил? Как бы не так! Он вообще ничего не покупает. Он просто приходит и берет что ему вздумается. А если человек возражает, он его убивает. И шубу он с кого-то снял, и туфли с чьих-то ног содрал. Хорошо, если не убил...

— Вот видишь, с кем ты имеешь дело. Сейчас ты проходишь по пустячной статье, а с ним вляпаешься в такое дело, что грозить тебе будет «вышка».

— Я должна подумать, — поникла Ольга. — Я боюсь. Если не он сам, так его дружки обязательно меня достанут.

— Это мы их достанем! — грохнул кулаком по столу Мартынов. — Так достанем, что от них не останется ни пепла, ни мокрого места. А ты, красавица, не бойся: за твоей спиной ЧК, так что если кто вздумает обидеть, дело будет иметь с нами.

— Я должна подумать, — снова сказала Ольга. — Отведите меня в камеру... Пожалуйста, — чуть не плача, закончила она.

Думала Ольга недолго. Уже через день она попросила бумагу и написала своим красивым почерком: «В Особый отдел ВЧК. Заявление. Настоящим прошу вызвать меня на допрос».

Ее тут же вызвали, и Ольга написала еще одну бумагу: «Я предлагаю Угрозыску свои услуги в поиске Кошелькова. Где он скрывается, я не знаю, но уверена, что если буду на свободе, он ко мне придет, так как очень в меня влюблен».

А Яшка, потеряв даму своего сердца, метался как затравленный зверь. Он стрелял, грабил, резал, убивал, но легче ему от этого не становилось. Самое странное — этот кровопийца вел дневник! Вот что он записал в этом дневнике, узнав об аресте Ольги:

«Ведь ты мое сердце, ты моя радость, ты все-все, ра-

ди чего стоит жить. Неужели все кончено? О, кажется, я не в состоянии выдержать и пережить это.

Боже, как я себя плохо чувствую — и физически, и нравственно! Мне ненавистно счастье людей. За мной охотятся, как за зверем: никого не щадят. Что же они хотят от меня, ведь я дал жизнь Ленину».

Счастье людей Кошелькову действительно было ненавистно — это стало для него своеобразной идеей-фикс. Не случайно, пограбив и постреляв, он снова берется за перо:

«Что за несчастный рок висит надо мной: никак не везет. Я буду мстить до конца. Я буду жить только для мести. Я, кажется, не в состоянии выдержать и пережить это. Я сейчас готов все бить и палить. Мне ненавистно счастье людей.

Детка, крепись. Плюнь на все и береги свое здоровье».

К счастью, эти откровения до «детки» не дошли, иначе под воздействием таких страстных признаний она могла бы передумать и не стала бы славать чекистам столь пылкого поклонника.

Одним из их постоянных мест свиданий был Екатерининский сквер. Туда и решили заманить Яшку. Не один день гуляла там разодетая в пух и прах Ольга. Чтобы не приставали пораженные ее видом парни, Ольгу сопровождала не менее расфранченная подруга, разумеется сотрудница ЧК. Но Яшка, будто что-то предчувствуя, на свидание так и не явился.

Между тем в сети, расставленные чекистами, один за другим попадали налетчики из банды Кошелькова. Попался Херувим, за ним — Цыган, потом — Петерсон, Дубов, Мосягин и многие другие. Долго с ними не цацкались, а по закону военного времени быстро судили и приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу.

Но один из бандитов выкупил свою жизнь, назвав адрес конспиративной квартиры Кошелькова в доме № 8 по Старому Божедомскому переулку.



О том, что было дальше, видно из докладной записки Федора Мартынова, которую он составил в тот же вечер:

«На Божедомке мы организовали исключительно сильную засаду. Ждали долго. Но вот, наконец, появился Кошельков. Он шел со своим сообщником Емельяновым по кличке Барин. Мы не старались взять их живыми и начали стрелять. Первая же пуля попала в голову Барина, и он был убит наповал.

А Яшка применил свою обычную систему: стреляя из двух револьверов, он буквально забросал окна пулями. Но выстрелом из карабина был смертельно ранен. В 18 часов 21 июня 1919 года он скончался.

В карманах Кошелькова мы нашли документы сотрудников МЧК Ведерникова и Караваева, которые он отобрал, когда изображал Петерса, а также два маузера и браунинг, отнятый 6 января у Ленина.

Была там и маленькая записная книжечка — своеобразный дневник, который вел Кошельков и куда записывал свои потаенные мысли. Была там одна запись, которая всех нас буквально потрясла: Яшка очень сожалел, что не убил Ленина.

А еще мы нашли пачку денег, в которой было 63 тысячи рублей и через которую прошла пуля, смертельно ранившая бандита. Так что, будь пачка потолще, Кошельков мог бы уйти».

К счастью, этого не произошло, и с бандой Кошелькова было покончено: главарь оказался в безымянной могиле, были расстреляны и все его сообщники. Что касается Ольги Федоровой, то чекисты свое слово сдержали и передали ее не в ревтрибунал, а в уголовный розыск. Далее ее следы теряются.

А вот Ленин из всей этой истории извлек немалую выгоду. Желая во что бы то ни стало обосновать необходимость заключения Брестского мира, в небезызвестной работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»

он вспоминает о компромиссе, который вынужден был заключить с бандитами, отдав им документы, браунинг и автомобиль, чтобы они дали ему возможность «уйти подобра-поздорову». И завершает эту мысль весьма изящным выводом: «Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу».

Так что пользу можно извлекать из всего, даже из больших неприятностей, связанных со смертельным риском. История, которая произошла с Лениным по дороге в Сокольники, убедительнейший тому пример.

# СОДЕРЖАНИЕ

## *Часть I*

### МИШЕНЬ — ЗАТЫЛОК ИЛЬИЧА

<i>Глава 1.</i>	Последняя война царской армии . . . . .	5
<i>Глава 2.</i>	Тень огромной фигуры Ленина . . . . .	16
<i>Глава 3.</i>	Вагон, решивший судьбу России . . . . .	33
<i>Глава 4.</i>	Дворец Кшесинской — шалаш в Разливе — Смольный . .	56
<i>Глава 5.</i>	Первое покушение . . . . .	75
<i>Глава 6.</i>	Шпион одного из иностранных государств . . . . .	94
<i>Глава 7.</i>	«Я Ваш душой и телом» . . . . .	133
<i>Глава 8.</i>	«Пусть Сталин сперва завоюет доверие» . . . . .	144
<i>Глава 9.</i>	Товарищ Инесса . . . . .	154
<i>Глава 10.</i>	Похвальное слово женщины . . . . .	177
<i>Глава 11.</i>	От Бреста до Стамбула . . . . .	183

## *Часть II*

### ЖЕНСКАЯ КРОВЬ НА БРУСЧАТКЕ КРЕМЛЯ

<i>Глава 1.</i>	Второе покушение . . . . .	189
<i>Глава 2.</i>	Кто стрелял в Ленина? . . . . .	213
<i>Глава 3.</i>	Сумасшедшая? Экзальтированная? . . . . .	231
<i>Глава 4.</i>	Прерванное следствие . . . . .	254
<i>Глава 5.</i>	Женская кровь на брусчатке Кремля . . . . .	273
<i>Глава 6.</i>	Инквизиторы и их жертвы . . . . .	280
<i>Глава 7.</i>	Вторая жизнь Фейги Каплан . . . . .	292

## *Часть III*

### ПОЩЕЧИНА ЛУБЯНКЕ ОТ РУССКОГО БАНДИТА

<i>Глава 1.</i>	«Черт с тобой, что ты Левин» . . . . .	304
<i>Глава 2.</i>	«Мне ненавистно счастье людей» . . . . .	329

**Сопельняк Б. Н.**

**С 64 Три покушения на Ленина. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 345[7] с.: ил. — (Дело №...).**

**ISBN 5-235-02852-X**

О жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина известно, казалось бы, все. Но некоторые факты его биографии отодвинуты на второй план. Например, история его поездки через Германию, кто ее финансировал, на каких условиях Ленину и его соратникам разрешалось пересечь воюющую с Россией Германию до недавнего времени было тайной за семью печатями. Человек, который организовал эту поездку, несколько позже спас Ленина от верной смерти во время первого покушения. Второе покушение на Ленина связано с именем Фейги Каплан. В третий раз Ленин едва не стал жертвой известного московского бандита. Об этих покушениях, о том, кто к ним причастен, о расследовании этих громких дел рассказывается в книге.

**УДК 94(47+57)“19”(093)  
ББК 63.3(2)61-8**

**Сопельняк Борис Николаевич  
ТРИ ПОКУШЕНИЯ НА ЛЕНИНА**

**Главный редактор А. В. Петров**

**Редактор Е. В. Смирнова**

**Художественный редактор И. И. Суслов**

**Технический редактор Н. И. Михайлова**

**Корректоры Л. М. Логунова, О. В. Никанорова**

**Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.**

**Сдано в набор 06.07.2005. Подписано в печать 06.09.2005. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 18,48+0,84 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 54029.**

**Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994 Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)**

**Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994 Москва, Сушевская ул., 21.**

**ISBN 5-235-02852-X**

**БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ**  
**БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ**

*Мемуары и эпистолярное наследие  
известных писателей, философов, художников,  
музыкантов, театральных деятелей,  
представителей творческой богемы*

**Готовятся к изданию и уже вышли в свет:**

Л. Бородин  
**«БЕЗ ВЫБОРА»**

Н. Чуковский  
**«О ТОМ, ЧТО ВИДЕЛ»**

Т. Маврина  
**«ЦВЕТ ЛИКУЮЩИЙ.  
ДНЕВНИКИ 1930—1990 гг.»**

Н. Молева  
**«БАЛАНС СТОЛЕТИЯ»**

Н. Кончаловская  
**«ВОЛШЕБСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ»**

Д. Лешков  
**«ПАРТЕР И КАРЦЕР»**

О. Высотский  
**«НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ  
ГЛАЗАМИ СЫНА»**



Телефоны для оптовых покупателей:  
787-62-92; 978-21-59; 787-63-75; 787-63-64  
<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)



Борис  
СОПЕЛЬНЯК

## Три ПОКУШЕНИЯ на Ленина

СЕНСАЦИИ МИНУВШИХ ЛЕТ

Д|Е|Л|О| № 10

Тайна покушений на Ленина — одна из самых темных страниц нашей истории. Кто организовал эти покушения, кто осуществлял, кто расследовал — однозначного ответа на эти вопросы до сих пор не могут дать ни историки, ни юристы. Автор предпринял попытку назвать вещи своими именами, разобравшись в многочисленных рассказах и воспоминаниях всевозможных свидетелей и очевидцев, а также в мифах, сочиненных по заказу Кремля.

ISBN 5-235-02852-X



9 785235 028524 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ